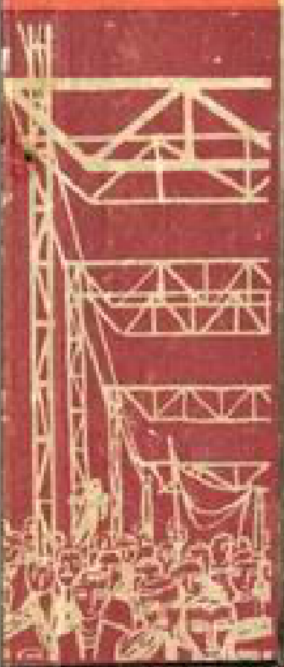
КИРОВ



С. Синельников

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

КИРОВ

С. Синельников

ЖЗЛ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга рассказывает про Сергея Мироновича Кирова, выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза.

- КИРОВ
  -
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. М. КИРОВА
  - БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
  - ОТ АВТОРА
  - ИЛЛЮСТРАЦИИ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3

КИРОВ
Синельников Семен Соломонович

С. Киров

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Вятская губерния имела некогда свой герб: лук с натянутой тетивой и стрелой. В гербе уездного Уржума к луку и стреле прибавили дикого гуся. Это было данью той минувшей стародавности, когда край славился дичью и зверем, а охота, излюбленное занятие населения, еще не уступила первенства земледелию.

Во времена, более близкие к нам, губерния обрела иную, печальную славу — в вятских далях томились в изгнании сотни передовых людей России. Среди них были Радищев, Герцен, Салтыков-Щедрин, Короленко. Были среди ссыльных пролетарские революционеры Дзержинский, Бауман, Дубровинский, Боровский, Стучка, а также Радин, автор неумирающей песни «Смело, товарищи, в ногу!».

Через Уржум или близ него по Вятско-Казанскому тракту в Сибирь на каторгу, на поселение жандармы гнали декабристов, польских повстанцев, участников морозовской стачки ткачей, несметное множество безыменных героев.

Ссылали и в Уржум, родной город Кирова.

Они-то, политические ссыльные, приобщили к революционным идеям юного Сергея, который был тогда Костриковым, а не Кировым: позднее придумал он свой псевдоним, ставший партийной фамилией.

Но прежде чем революционные идеи увлекли юношу, ему пришлось выстрадать безотрадное детство.

2

Приукрашивая биографию Кирова, нисколько не нуждающуюся в этом, в свое время выдумали, будто отец его, Мирон Иванович, уехав из Уржума на заработки, навсегда пропал без вести. На самом деле все было иначе.

Мирона привезли в Уржум ребенком. Его отец — дед Кирова — Иван Пантелеевич Костриков был крестьянином, выбившимся в конторщики. Умер Иван Пантелеевич рано, от лихорадки, отбывая солдатчину. Мать Мирона — бабушка Кирова — Меланья

Авдеевна служила в семье глазовского лесничего нянькой. Переведенный в Уржум, лесничий взял ее с собой. Там она и застряла. Бездомная вдова, вечная нянька, Меланья Авдеевна на склоне лет выхаживала детей у мелкого, малоимущего чиновника.

Ее единственный сын Мирон воспитывался при ней. Кое-как одолев грамоту, он служил писцом в лесничестве. Потом его повысили в должности, назначив лесником.

Жена Мирона, Екатерина Кузьминична, родом из деревни Витли, что близ Уржума, рано потеряла мать и единственного брата. Отец ее — второй дед Кирова — Кузьма Николаевич Казанцев, овдовев и переселившись в Уржум, крестьянствовал на арендуемой пригородной земле и вдобавок завел постоялый двор.

В Мироне и Екатерине видели хорошую супружескую пару. Деловой, исполнительный, Мирон и внешне был привлекателен — невысокий, коренастый, ладно скроенный здоровяк с открытым лицом, обрамленным окладистой бородой. Под стать ему была и жена, миловидная, худощавая, русоволосая, работящая, неизменно ровная, неприхотливая.

Но Мирона Кострикова семья не радовала.

Тестю, Кузьме Николаевичу, когда он расставался с родной Витлей, снились златые горы, а явь уржумская, обманув, повела счет на медяки. Ни с пашней, ни с постоялым двором не совладать было Кузьме Николаевичу без хозяйки. Он подыскал себе вторую жену, но вскоре похоронил ее. Болезни унесли и третью и четвертую жену. Не выживали и дети Мирона с Екатериной. Соборования, отпевания учащались, дом словно присватался к Митрофаниевскому кладбищу, до которого было рукой подать.

Мирона, горожанина, угнетал и деревенский уклад дома, где дрожали над каждой полушкой и дорожили даже навозом. Тесть, старясь, требовал, чтобы зять не давал чахнуть хозяйству, а оно было ненавистно Мирону. Перекочевав из крестьянского сословия в мещанское, он не желал ковыряться в худосочной земле.

Екатерина же никак не решалась бросить хозяйство, и после смерти Кузьмы Николаевича все заботы пали на ее некрепкие плечи. Она маялась с хворыми малышами, с заезжими крестьянами, гнула спину в поле, и там, во ржи, под телегой, родила кого-то из семерых своих ребят.

Жалел или не жалел Мирон жену, но страдал оттого, что ей приходится зарабатывать деньги, так как он застыл на неприбыльной службе, где ему не давали ходу.

Вытерпев годы и годы семейного разлада и недовольства собой, Мирон Иванович снялся с места уехал. При бесспорных

способностях не хватало у него ни оборотливости, ни знаний, ни связей. Пришлось вернуться несолоно хлебавши и проситься опять в лесники.

Новые попытки выбиться в люди на стороне были столь же оплошны. Невезение надломило Мирона Ивановича. Он, уже в средних годах, начал искать утешения в водке, благо в маленьком Уржуме насчитывалось десятка четыре кабаков и заезжих дворов «с продажей питей».

Мирону Ивановичу было за пятьдесят, когда его окончательно добили, уволив из лесничества. Ничего не оставалось, как пристраиваться к артелям отходников-лесорубов. Подолгу отсутствуя, Мирон Иванович возвращался с пустыми карманами. Никем не поддержанный, мрачный, нелюдимый, пил, проматывая домашний скарб. От прежнего, хотя и очень скромного благополучия только и уцелели, что дом, мебель и коза Шимка.

Не в силах выпрямиться, Мирон Костриков покинул родных. Вероятно, это было единственное, что он мог сделать, чтобы не разорять, не позорить их.

Семью он потерял, с женой его соединила только могила. Промаявшись в скитаниях четверть века, Мирон Иванович вернулся в Уржум глубоким стариком, непьющим, молчаливым, больным. Вскоре он умер. Его похоронили рядом с Екатериной Кузьминичной.

3

27 (15) марта 1886 года в трудной, еще не распавшейся тогда семье Костриковых родился предпоследний ребенок, Сергей.

Воспоминания уржумцев застают его светлорусым, кареглазым малышом, который почти всегда улыбается и всему удивляется. Мир его был не просторней того, что видно в нижние стекла окон, выходящих на немощеную Полстоваловскую улицу. А дома ему нисколько не мешали ни бедность, прущая из всех щелей, ни теснота, ни сырость, ни грязь, ни спертый воздух от прелых портянок, махорочного дыма и сивушных испарений, когда пускали на ночлег крестьян. Пока что донимало одно — пьяные ласки отца, пугающие ласки, от которых мать научила прятаться. Съежившись, Сережа забивался в дальний темный уголок на огромной русской печи или на полатях.

Непоседливый крепыш, он был резв и ловок. До самой осени пропадал целыми днями во дворе или за воротами. Возводил с

лучшим своим другом Саней запруды и крепости из песка и глины, играл в горелки, городки и лапту, бегал на Уржумку, на впадающую в нее Шинерку или к мельничному пруду. Научился плавать, ловить рыбу.

Саня Самарцев был года на два старше. Он пошел в школу. Сережа упрашивал, чтобы и его туда отдали. Не упросил. Зато не отходил от Сани, пока тот, делая уроки, сидел над букварем. Сережа наловчился писать несколько букв и, к огорчению матери, выводил их то углем на стенах, то гвоздем на печи.

Всё.

Беспечная пора детства оборвалась — тяжело захворала мать, Екатерина Кузьминична.

Ей одной трудно было управиться с домом и крестьянским хозяйством. Чтобы прокормить троих выживших детей — Анюту, Сережу и Лизу, мать, не возобновляя аренды на землю, нанималась в поденщицы к чиновникам и купцам. Шила у них, стирала, мыла полы.

Полоская белье на Уржумке, мать простудилась, слегла. Однако это была не обычная простуда, а вспышка давно подкравшейся чахотки.

Прикованной к постели Екатерине Кузьминичне — Кузьмовне, как звали ее окружающие, — помогали соседки. Кто обед приготовит, кто дров своих принесет и печь натопит, кто малышей выкупает. Потом в дом переселилась бабушка Меланья Авдеевна. Врач, Николай Васильевич Чемоданов наведывался почти каждый день и частенько присылал еду.

Когда мать слегла, Сережа стал неузнаваем. Лишь изредка, забывая обо всем, резвился на улице. А дома ни игр, ни суетливой возни, ни бессчетных расспросов о том, о сем, которыми прежде донимал стар ших. Замыкался, думал какую-то свою думу и, свернувшись калачиком, молча посматривал с печи на мать. Екатерина Кузьминична лежала в кухне за печью, в деревянной кровати.

Месяцев восемь спустя, зимним утром, соседка, хлопотавшая на кухне, вдруг закричала:

— Ребята, мать помирает!..

Все трое сорвались с полатей. Им велели стать на колени у божницы, перед иконой, освещенной мерцающей лампадкой.

К вечеру Екатерина Кузьминична скончалась.

Сереже было тогда семь лет.

Дома будто ничего не изменилось. В горнице, посредине и под окнами, стояли два стола, покрытые скатертями, и четыре тяжелых стула. В переднем углу, под образами, — треугольный столик. Летом на нем белели в стаканчике лилии. На подоконниках, в горшках, еще цветы. Шкаф для посуды с застекленными дверцами и тремя выдвижными ящиками. В тесной кухне кровать матери, залавок, где держали хлеб, соль, ложки, глиняные чашки. Возле печной топки на скамеечке блестели толстыми боками самовар и медная корчага для воды.

Ничего будто не изменилось, и все, все напоминало о матери. Сережа, хотя зима в том году выдалась суровая, часто уходил куда-то без Сани, один. Где бывал, трудно сказать. Его видели у знакомых матери, у одной, другой, третьей. С шапчонкой в руках молча посидит, прислушиваясь к разговорам взрослых, и молча же простится, кивнув головой. Дома при нем даже произнести имя матери было нельзя. Он удирал в чем был во двор, на мороз.

Горевала и бабушка Меланья Авдеевна. За мужа, солдата, она получала жалкую пенсию, трешку в месяц. Считанные рубли приносили квартиранты. Бабушку тревожило, как прожить вчетвером на такие крохи. Ее надоумили отдать внучат в приют, «дом призрения малолетних детей».

После гибели Кирова писали, будто Меланья Авдеевна обивала пороги благотворителей, а они, бездушные, не внимали ее мольбам. Неправда это.

Председателем совета Уржумского благотворительного общества был акцизный надзиратель Виктор Федорович Польнер. Вместе с женой Августой Густавовной, членом совета, они бескорыстно делали много добра, что неопровержимо подтверждают документы. В совет входили также помощник Польнера по службе в акцизе Николай Александрович Шляпников и делопроизводитель, чиновник из крестьян, Иван Яковлевич Перевозчиков.

Своим горем бабушка поделилась с женой Перевозчикова, Лидией Ивановной, у которой одно время служила в няньках. Лидия Ивановна и ее муж принялись ходатайствовать за бабушку. И нет решительно никакого повода думать, будто Польнер, его жена или попечитель приюта Шляпников и другие члены совета, вроде врача Чемоданова и учителя Раевского, были против этого ходатайства.

Они просто стояли перед трудным выбором. Незадолго до того эпидемия холеры и страшный голод два года подряд охватывали почти двадцать губерний. Не миновали беды и Уржум, оборвали много жизней. Родственники и опекуны

осиротевших детей дрались за каждое место в приюте, находившемся в старом бараке. И денег у благотворительного общества было в обрез: строился новый дом для приюта.

Уважив просьбу Меланьи Авдеевны, совет общества рисковал вызвать нарекания горожан. Ведь она как-никак получала пенсию, а у внучат был свой дом. Другие сироты и того не имели.

Взять в приют согласились одного ребенка, мальчика.

Сережу эта весть ошеломила. Когда Лидия Перевозчикова попыталась вместе с бабушкой отвести его в приют, он отказался идти. Разлучение его с родным домом пришлось отложить.

Он не спал всю ночь. Всю ночь он упрашивал старшую сестренку заступиться за него перед бабушкой. Он клялся, что пойдет работать. Жаловался:

— Один я тут лишний.

И все-таки его увели из дому.

5

Сереже говорили, будто, погостив у приютских ребят, он, если захочет, вернется к бабушке. Он понял, что его обманули и что домой возврата нет, хотя приют хуже всякого наказания.

Кругом чужие. Комната одна, все в ней спали, ели-пили, работали, готовили уроки. Потолок низкий, как' в сарае. Столы ничем не покрыты, скамейки некрашеные. Поднимали детей рано, заставляли долго молиться, прежде чем разрешали сесть за стол.

За малейшую шалость — становись на колени в углу. А то еще хуже — есть не дадут. Ребята постарше припрятывали в тайниках куски хлеба, чтобы не ходить голодными, если накажут. После обеда все работали. Когда девочки не поспевали в срок с заказами на рукоделия, шитье или штопку, звали мальчиков.

Вечером приходили длинные парни, приютские воспитанники, уже отданные в приказчики или подмастерья. Случалось, они бывали малость навеселе и тогда галдели, тренькали на балалайке, пугая детвору и мешая спать. Палладий, приютский работник, никак не мог угомонить их.

Мастер на все руки, Палладий Федотович Черевков служил в приюте вместе с женой и сестрой. У него самого было много детей, а ласки хватало и на сирот. К нему, первому среди чужих, потянулся Сережа, допытываясь, почему — или пошто, как он тогда говорил. — пошто его обхитрили да пошто нельзя все-таки жить дома, у бабушки.

Палладий растолковывал, что с бедными всякое бывает. Он, Палладий, к примеру, имел землицу в Нолинском уезде. Но в страшный недород все бросил и спасся от голодной смерти в Уржуме, где посчастливилось прибиться к месту в приюте.

Чтобы полюбившийся ему мальчик поменьше хмурился, Палладий брал его с собой, отправляясь за Уржумку пасти лошадь, и там, в приречных лугах, рассказывал о себе смешное. Кого ни спроси, все Иваны да Степаны, Алексеи да Сергеи, у него же, у Палладия, имя чудное. Оттого оно, что поп возжелал за крестины разжиться барашком, а отец, Федот Черевков, заупрямился. Поп отомстил, выбрав в святцах такое имя, каким ни одного младенца во всей деревне сроду не нарекали.

Сережа заливисто смеялся. Палладий продолжал: через несколько лет открыли церковноприходскую школу, а Федот Черевков не захотел отдавать туда своего мальчонку: некому было бы скотину пасти. Пришлось отцу откупиться. Вон и вышло, что поп все-таки разжился на Палладии барашком.

Сережа опять посмеялся, но вернулся к своему. У уржумского протоиерея Ипполита Мышкина квартировала зажиточная семья, и был в той семье мальчик, носивший нарядные костюмчики.

— Пошто Ипполитов малец в синем бархате ходит, а приютские одеты так? — Сережа показал на свою застиранную серую рубашку.

— Не все люди равны.

— А пошто не все люди равны?

— У тебя пальцы на руках тоже неравные, — терялся Палладий.

Сережа досадливо оглядывал растопыренные пальцы обветренных рук.

Он понемногу привыкал к деревянному бараку, к огороженному забором двору в самом начале Воскресенской улицы. Приютские мальчики и даже девочки часто играли в войну — поблизости находилась казарма, было кому подражать. Не отставал и Сережа. Шагал в строю по двору с палкой на плече. Лежа целился из палки в старые липы, отделявшие двор от чьего-то огорода.

Хотя Сережа и играл со всеми в войну, он ни с кем на первых порах не подружился и, кажется, завидовал ребятам, попавшим в приют маленькими. Для них барак был родным домом. Они никого из близких не знали или не помнили, ни о ком и ни о чем не тосковали.

По воскресеньям Сережу отпускали к бабушке. Едва она накормит чем-нибудь вкусным, он уносился к Сане. Самарцевы жили через дом от Костриковых.

Осенью Сережу повели в церковноприходскую школу. Он нетерпеливо ждал этого. Ему нравилось, что есть у него новенькая холщовая сумка с таким же, как у Сани, букварем «Родное слово» и такими же тетрадками. Нравилось, что и ему, как Сане, каждая страница букваря открывает свои тайны. Нравилось, что в классе он не Сережка, не Сережа, а Костриков Сергей. По утрам он торопился в школу. Учился он старательно. Учительница Ольга Николаевна Шубина ставила его в пример лентяям и шалунам. Когда ее заменил учитель Алексей Михайлович Костров, Сережа и при нем был очень прилежен.

Тем временем приют переселили из барака в добротный бревенчатый дом, построенный в том же дворе. Под частью дома был низ, где разместились столовая, кухня и кладовая.

У мальчиков появилась новая воспитательница — «надзирательница» — Юлия Константиновна Глушкова.

Она росла сиротой. Когда умер отец, приказчик деревенской лавки, Юлии было шесть лет, а ее сестренкам, Анне и Анастасии, еще меньше. Мать Мария Михайловна бедствовала. Однако соседи, знакомые и даже чужие поддерживали ее, и Юлия окончила прогимназию в уездном городе Яранске.

Образование не бог весть какое, но девушки и с таким образованием встречались тогда редко. Так что Юлии, хотя она была бесприданницей, сосватали бы, наверное, хорошего жениха. Свахи же в дом не шли — мать была против. Покоренная участливостью людей, спасших ее дочерей от голодной смерти, Мария Михайловна внушала всем троим, что за добро, сделанное им, они должны всю жизнь — платить добром, отдавать все силы несчастным и обездоленным. Поэтому лучше не иметь ни семьи своей, ни своих детей. Юлия, а вслед за ней и Анна с Анастасией поклялись матери, что никогда не выйдут замуж.

Постоянной службы Юлия Константиновна не находила, годами перебивалась с хлеба на квас, каким-то чудом умудряясь все-таки помогать вдовам и сиротам. В тридцать лет поиски заработка привели эту удивительную женщину в Уржум, где ее порекомендовали благотворителю Польнеру.

К девочкам тоже взяли новую воспитательницу, Серафиму Никитичну Беляеву. От воспитательниц не слишком много зависело, и не одни они заботились о приюте, но все же он преобразился. Глушко-ва и Беляева вместе с Августой Густавовной Польнер завели небывалые порядки. Великовозрастных парней, бывших воспитанников, удалили, для них сняли углы в домах степенных горожан. Наказания отменили. Каждый день ребята дежурили по очереди. В столовой сами делили еду на порции и следили, чтобы не было ни ошибки, ни

подвоха. Еда стала повкуснее, хотя на обед готовили порой одни репные паренки. Угощали и сладким киселем из пареной калины. Черного хлеба давали сколько съешь.

В рабочей комнате мальчиков направо от входа, у стены, стоял книжный шкаф. Напротив него — стенные часы с боем. Готовили уроки и мастерили всякую всячину за огромным столом, покрытым клеенкой. Стола такого никто не видывал, в нем было столько же выдвижных ящиков, сколько в приюте мальчиков, десятка полтора, если не больше. У себя в ящике каждый хранил свое «именьице» — разноцветные камешки и рыболовные крючки, насаженных на булавку жуков в спичечном коробке и свинцовые налитки для игры в бабки.

Юлия Константиновна придумала правило: ничего не жалей для товарища, а к его «именьицу» без позволенья не прикасайся. Во время работы, когда переплетали книги на заказ или вязали солому в «плетни» и делали из них на продажу шляпы, корзинки, саквояжи и сумочки, теперь не было скучно, потому что мальчики постарше громко читали что-нибудь интересное. Это тоже придумала Юлия Константиновна.

Не в неделю, не в месяц произошли перемены, да и не осчастливили они сирот, а новая воспитательница, Юлия Константиновна, была строга. Но пальцем она погрозит — нет зла в угрозе. В спальне медленно и тихо прикажет уснуть, не болтать — глаза сами слипаются. А слегка погладит невзначай по голове — рука теплая. Дети привязались к Юлии Константиновне, словно к матери.

Она была со всеми одинакова, но — такое бывает и с родной матерью — одного ребенка полюбила больше других, Сережу.

Конечно, не задатки выдающегося человека различила воспитательница в девятилетием мальчике. У других ее питомцев путь в приют не был столь сложен. Не у всех же случалось, что отец куда-то запропастился, мать умерла, а в родном доме жить нельзя. Естественно, Сережа переживал свое горе острее. От Юлии Константиновны не ускользнуло, что, непосредственный и живой в играх, он вдруг уединяется, по-взрослому, задумывается, озабоченный, даже угрюмый, но не плачет, не жалуется.

Впервые испытанным чувством, близким к материнской любви, Юлия Константиновна поделилась с сестрой Анастасией, когда та приехала на каникулы из соседнего Яранского уезда, где учительствовала в слободе Кукарке.

Анастасия Константиновна разыскала во дворе Сережу, загорелого, круглоголового, босого, в светло-серой рубашке и темно-серых штанишках пониже колен. Спросила, как его зовут. Обычно дети жались, мялись. Приютское житье-бытье научило их

— прежде чем вымолвить словечко, успей прикинуть, ждать ли от чужой тети гостинца или, наоборот, попреков за то, что пальцы в чернилах или носом шмыгаешь. А он глянул на улыбнувшуюся ему женщину в очках и протянул обветренную руку:

— Костриков Сергей Миронов.

В пору было расхохотаться. Ну, назвал бы себя по-школьному, а то отчество прибавил, да еще так, как оно писалось в казенных бумагах. Потешная несуразность, однако, не рассмешила Анастасию Константиновну. В тон мальчику она завела речь о его летних затеях, угадав, что он тянется к людям не за мятным монпансье и базарными леденцами-петушками, не за слезливым сочувствием «Кузьмовниному сиротке», а ищет взрослого друга. Ведь у всегда занятой воспитательницы Юлии Константиновны он не один.

Они стали друзьями, Сережа и учительница Анастасия Глушкова, очень молодая и тем не менее почти в три раза старше его. Юлии Константиновне и ей, обычно приезжавшей в Уржум на каникулы, поверял он то затаенное, что скопилось-спуталось в его пробуждающемся сознании. Почему мать в могиле? Когда мать умерла, полно было людей в доме. Почему же не спасли Кузьмовну, когда еще легко было ее спасти? Почему отец пил и пропал без вести и никто его не разыскал? И почему он, Сережа, ничей?

— Как же это?

Ответа не было.

Но возраст, обстоятельства, Юлия Константиновна и ее сестра, затем и учителя исподволь выводили Сережу из мирка, в котором он был поглощен самим собой, своим горем.

6

К счастью Сережи, Уржум отнюдь не был таким одержимым сонной одурью захолустьем, каким его изображают, забывая, что нигде, даже в самых маленьких и отдаленных городах, царский гнет и нужда не могли истребить в русских людях, в подавляющем большинстве их, ни доброты и отзывчивости, ни влечения к свету, ко всему, называемому ныне культурой.

Верно, что, оторванный от железной дороги, древний Уржум затерялся в лесных дебрях среди сел, деревень и починков обширного уезда, где вперемежку жили русские, татары, марийцы, удмурты.

Несколько длинных улиц тянулись из рощ и полей в поля и

рощи, перепрыгивая через норовистую Шинерку. Поперечные улицы, покороче, обрывались на высоком берегу Уржумки. Мелковатая, она подпускала к пристани только коломенки-барки да буксиры с баржами, а грузовые и пассажирские суда понуждала бросать якорь вдали, на реке Вятке. На единственной, по-настоящему вымощенной Воскресенской улице не отличить было тротуары от проезжей части — все булыжник и булыжник.

Каменных домов, одноэтажных и двухэтажных, меньше сотни. Это особняки богатеев и учреждения — присутствия по-тогдашнему. Над неказистой застройкой, прореженной огородами, и поросшими крапивой пустырями возвышались собор и три церкви, солдатская казарма и пожарная каланча.

Заводам, фабрикам в городе не везло. Когда-то нашли неподалеку медь и железо, поставили Шурминский и Буйский заводы, но запасы руды быстро иссякли. Затевали выработку кумача и пестряди, хрустального стекла и поташа — сколько-нибудь значительные производства глохли, не в силах соперничать с теми, что были на железной дороге. Крепко держались одни винокурни. Лесопильня, мельница, пекарня, пряничная фабричонка и прочая мелочь не в счет.

В торговле Уржум был размашистей. Лес, хлеб и льняное семя, воск и мед, кустарные поделки, даже мешковина и мочало — все скупалось, перепродавалось, сплавлялось и в ближние города, и в неблизкую Вятку, и еще дальше.

Лесопромышленники и купцы процветали. Остальные либо были сыты, либо нет. Кто крестьянствовал, подобно Сережиному деду, Кузьме Николаевичу Казанцеву, беря с торгов пашню в аренду. Кто, подобно отцу Сани, рано умершему Матвею Семеновичу Самарцеву, нанимался к торговцам в сидельцы, то есть в приказчики. Кто служил в присутствиях, а кого выручало ремесло. Иных подкармливал отхожий промысел; они шли в лесорубы и сплавщики леса на Урал и в Сибирь.

Но, страдая от удушающей власти мошны и казенных присутствий, церкви и суеверия, от лишений и пьянства, эпидемий и опустошительных пожаров, город не погряз в заурядности.

Это было время, когда, по определению Владимира Ильича Ленина, Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка, что вело к изменению облика населения.

Здесь хозяйственный строй обновлялся медленнее, чем в центре страны. Но на протяжении десятилетий политические ссыльные неутомимо трудились, и далеко за чертой того города,

куда их бросала полиция, давал всходы их просветительский посев. Уезд долго подчинялся Казани, и не оборвались прежние связи с ней, с ее сильным университетом. Университет выпускал хорошо подготовленных, нередко передовых по взглядам учителей, врачей да чиновников, видевших свой долг в служении народу. И то не грех причесть — лесопромышленники и купцы порой раскошеливались, желая из честолюбия или подражательства, чтобы Уржум приподнялся над уездностью.

Короче, зародилось здесь нечто свое, отрадное, давшееся не вдруг и не по царским указам. Пусть было оно лишь каплей в житейском море, но скрашивало обыденщину.

Известный советский поэт Николай Алексеевич Заболоцкий, учившийся до революции в Уржуме, оставил воспоминания, в которых, по канону, обозвал этот город захолустьем, но тут же сам себя опроверг:

«Оборудование школы было не только хорошо, но сделало бы честь любому столичному училищу. Впоследствии, будучи студентом, я давал пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в ста восьмидесяти километрах, от железной дороги. У нас были большие, чистые и светлые классы, отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где скамьи располагались амфитеатром, и нам отовсюду были видны те опыты, которые демонстрировал учитель. Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи — копии античных скульптур. Рисование вместе с математикой считались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас были свои мест-ные художники-знаменитости, и вообще живопись была предметом всеобщего увлечения. Хорош был также гимнастический зал с его оборудованием: турником, кожаной кобылой, параллельными брусьями, канатами и шестами. На праздниках «сокольской» гимнастики мы выступали в специальных рубашках с трехцветными поясами, и любоваться нашими выступлениями приходил весь город».

Учителя при участии старшеклассников поставили «Аиду». Шла она, правда, без оркестра, под аккомпанемент рояля, но полностью. А реальное училище не было островком. Заболоцкому врезалась в память влекущая к себе, не слишком богатая, но все более развивающаяся культурная жизнь города. Театр под названием «Аудитория», помещавшийся в длинном деревянном бараке, регулярно показывал любительские спектакли.

Если же вернуться к девяностым годам, то в длинном

деревянном бараке будущего театра «Аудитория» как раз и начиналась приютская жизнь Сережи Кострикова. Переселив сирот в новый дом, благотворители задумали превратить барак в аудиторию, в подобие клуба.

Барак перестроили, но он пустовал. Пустовал месяц, полгода, год: духовенство противилось открытию «Аудитории», узрев в ней еретическую угрозу. Чтобы оградить паству от «бесовских зрелищ», церковники ввели «народные чтения» поповского пошиба. Однако благотворительное общество во главе с вновь и вновь избираемым председателем совета Польнером упорствовало — доходы с «Аудитории» призваны взбадривать тощую приютскую кассу. Глухая распря продолжалась, пока не выплыла наружу. О ней рассказал петербургский журнал «Вестник Европы».

Клуб, к которому вскоре прилепилось название «Аудитория», раскрыл, наконец, свои двери.

Раскрылись они и для Сережи.

Благотворители держали при «Аудитории» буфет. Они и воспитательницы, возившиеся с буфетным хозяйством, брали себе в помощники приютских мальчиков и девочек понадежнее. Чаще других Сережу. Он все делал охотно и толково, ничего не уронит, не разобьет, ничем самовольно не полакомится. Помогал Сережа как подручный и декораторам, постановщикам спектаклей.

Юлия Константиновна щедро вознаграждала его, то усаживая в зале, то позволяя смотреть на сцену из-за кулис, когда шли хорошие спектакли и концерты. На лекциях с туманными картинами он тоже бывал.

Сережу захлестывали и герои пьес, и музыка, и туманные картины, плывущие из волшебного фонаря на белое полотно экрана, и смешные маски, и громкоголосые, как дьяконы, распорядители балов с бантами на груди, и танцующие пары, осыпанные разноцветными кружочками и змейками конфетти и серпантина, и цокот, топот каблуков. Такого не было ни в снах, ни в сказках.

Не успели улечься сбивчивые впечатления от «Аудитории», как их заслонили новые: после окончания церковноприходской школы одиннадцатилетний Сережа осенью 1897 года поступил в городское училище.

7

Впервые в жизни Сережа надел форму. Она ему нравилась.

Она была новая, плотная, и к ней выдали широкий ремень с медной бляхой.

Учиться было трудно. Приходилось тратить время и силы, делая в приюте всякую всячину на заказ или на продажу. Работал он больше, чем надо, потому что сам вызывался помогать и воспитательницам, и Палладию, и прачке, и поварихе. И всегда старался все делать на совесть. Уже тогда сложилось у Сережи присловье: «Двадцать раз переделаю, лишь бы было хорошо».

Сохранились географические карты, вычерченные им в городском училище. За первые он получил тройку, тройку с плюсом. А хотелось, чтобы работа была «как напечатанная». Следующие отметки — четыре, четыре с плюсом. За восьмую по счету карту поставили пятерку.

В его усердии, или, вернее, явно не наследственном умении напрягать свою волю, нет загадки. Только в первом классе церковноприходской школы вдобавок к безотчетной любознательности Сережу прельщали новизна обстановки, желание догнать в учении Саню Самарцева. Потом пришло иное.

Еще до окончания школы слышал Сережа от Анастасии Глушковой, сколько лиха перетерпела ее сестра Юлия, пока стала приютской воспитательницей.

Рассказывала Анастасия Константиновна и о себе. Как ребенком прошла пешком семьдесят верст в осеннюю непогоду из Кукарки в уездный Яранск, в школу. Как продрогшую и голодную девчонку, дав ей поесть и обогреться, повели в класс. Как, живя среди чужих, голодала. Зато теперь сама учительствует и копит рубль к рублю, чтобы купить дом и взять себе в дети маленьких сирот. В представлении Сережи сестры Глушковы были людьми образованными и благодаря образованию способными добиться исполнения всех своих желаний. Равняясь на воспитательницу и ее сестру, Сережа говорил:

— Изо всех сил постараюсь, а на кого-нибудь тоже выучусь.

Звучало это по-детски, но в сознание проникло глубоко.

Как-то в лесу Сережа познакомился со своим ровесником, деревенским пареньком, и вдруг спросил:

— Ты грамотный?

Тот даже букв не различал, и ему на десятилетия запомнилось, как огорчился Сережа. Он взволнованно советовал постараться изо всех сил, лишь бы ходить в школу.

В городском училище не могли не заметить вдумчивость и прилежание Сережи, хотя он не всегда и не по всем предметам шел, ровно.

Свою симпатию к нему наиболее часто выказывал Никифор Савельевич Морозов, преподававший математику и русский язык.

В этом молодом силаче и острослове пропадал талант актера. Когда он играл в «Аудитории», публика надрывала животы, либо, не стыдясь, давала волю слезам. Морозову и в училище, на уроке, ничего не стоило вызвать хохот и слезы. Он, не церемонясь, вышучивал лентяя или растяпу, прежде чем влепить ему двойку. Сообразительных же и радивых хвалил на сто ладов. Если кто-нибудь не мог решить задачу, Никифор Савельевич обращался к старательному и спорому Сереже. У него, как правило, решение уже было наготове. Лицо учителя расплывалось в улыбке:

— Вот у Кострикова голова работает!

Морозов хвалил Сережу и за то, что у него «голова работает» подчас своеобразно. Классу задали сочинение на вольную тему: школьный двор. За окнами виднелись только гимнастические трапеции, несколько деревьев, поленница дров и забор. Все, кроме Сережи, соблазнились этой скудной картиной, запечатлеть которую на бумаге легче легкого. Когда на другой день Никифор Савельевич по обыкновению читал вслух лучшее сочинение, класс зашумел:

— Костриков все придумал!

Оказалось, он наделил воображаемый школьный двор всем необходимым, вплоть до цветника и крашеных скамеек на посыпанных песком аллеях. Разъяснив классу, в чем достоинства прочитанного сочинения, Морозов вывел в тетрадке большую пятерку:

— Жаль, нет отметки выше!

Сочинение, надо полагать, действительно поражало своеобразием. Как вспоминают уржумцы, годы и годы восхищался им Морозов.

Больше всего пришлось ему по душе, что Сережа всерьез сдружился с книгами. Никифор Савельевич порой целый урок напролет читал вслух Гоголя, Пушкина, Некрасова, на досуге толковал с ребятами о прочитанном. Сережу тогда хлебом не корми, дай послушать.

Одну из комнат в «Аудитории» заняла читальня городской библиотеки. Сережа с удовольствием приносил дрова, топил печку, лишь бы заслужить расположение библиотекаря Варвары Аристарховны Макаровой, правда она и без того охотно подбирала для него книги.

Не удивительно, что Морозов приглашал к себе домой своего любимца и благодарного собеседника, давал ему книги. Возможно, этому учителю обязан был Киров тем, что рано увлекся произведениями классиков.

Но вряд ли одному только Морозову. Сережа посещал и библиотеку-читальню Общества трезвости, хотя, как правило,

детей и подростков туда не пускали. На эту уступку пошел учитель-инспектор городского училища Гавриил Николаевич Верещагин, избранный «ответственным лицом», руководителем библиотеки-читальни общества.

Ценил Сережу также опытный учитель географии и естествоведения Александр Сергеевич Раевский, человек передовых взглядов, впоследствии участник первой русской революции. В 1901 году Раевский написал официальный отзыв о Сереже:

«По своим нравственным качествам, серьезному отношению к делу и успехам Костриков за все время пребывания в училище принадлежал к хорошим ученикам.

Всегда серьезный, сознательно и добросовестно относившийся к своим обязанностям, он отличался совершенно безупречным поведением.

Объяснением же некоторой шероховатости в его успехах может служить, как это не раз и высказывалось на заседаниях педагогического совета, обстановка, при которой ему приходилось жить.

Как воспитаннику приюта, притом далеко не обеспеченного материально, Кострикову нередко приходилось исполнять различные работы по домашнему хозяйству — от помощи на кухне до присмотра за маленькими детьми включительно, — что, конечно, не могло не мешать его учебным занятиям».

Хотя отзыв Раевского благожелателен и точен, облик подростка был сложнее.

По грустной прихоти случая городское училище помещалось наискосок от родного дома Сережи. После уроков одноклассники мчались домой, а он — он должен был поворачивать в обратную сторону. Каждый день, из года в год, в течение четырех лет.

Если и забегал он на Полстоваловскую, к бабушке, то ненадолго. Дров наколет, воды принесет. Порой бабушка сетовала: коза Шимка опять набедокурила в чужом огороде, поймали ее и не отдают. Ни с кем рассерженные потравой соседи не были так сговорчивы, как с Сережей. Он приволакивал Шимку домой. А сам уходил в приют.

Сережа все переносил молча. Уже не ново было для него, что не один он очень несчастлив и что он вовсе не самый несчастный на свете. Многим жилось хуже.

О них, о тех, кому хуже, он задумывался все чаще и чаще.

Вместе с соучениками Сережа мастерил безделушку и внезапно вскрикнул:

— Расшибся, и его же бьют!..

Дети прильнули к окну. На казарменном плацу муштровали

новобранцев. Один из них, сорвавшись с трапеции, упал. Подняться он не мог, и фельдфебель надавал ему зуботычин. Сережа насупился, к самоделке больше не прикоснулся.

Солдат избивали часто.

И сами солдаты избивали людей. Не те, что жили в казарме, возле приюта, а пришлые. Уржумская тюрьма, которую в обиходе называли острогом, была пересыльной. Туда и оттуда нескончаемыми партиями то и дело ковыляли арестанты, изнуренные, оборванные, грязные. Конвоиры пинали их ногами, тыкали прикладами, нисколько не стыдясь ахающих и охающих прохожих.

Арестантов Сережа видел не только на улицах.

По воскресеньям и в праздники воспитанников приюта водили в тюремную церковь. Вместе с ними молились арестанты. И хотя на уроках закона божия многажды твердили, будто перед господом все равны, арестантов даже тут, в церкви, держали за решеткой, под охраной. Говорили, что это преступники. А они, тихие и смирные, добрыми и удивленными глазами смотрели на детвору, входившую пара за парой. Кое-кто потом ласково поглядывал на певчих, приютских ребят, стоявших на клиросе.

Когда с клироса детские голоса, пронзительные и чуть-чуть дрожащие, тревожно взвивались к высокому своду, не раз бывало, что из-за арестантской решетки полоснет сердца чей-то вопль, ревущий, хрипло обрывающийся, вопль отчаяния и бессильного гнева.

Горожане жалели арестантов, словно сирот. На праздники в острог, как и в приют, уржумцы приносили пироги и сласти, семишники и пятаки. Умрет кто-нибудь — родственники после поминок опять же шли и к острогу и в приют с подаянием, с мисками, полными кутьи.

Кутью и милостыню раздавали еще и нищим, что толпились у собора, у церквей, на базаре. От приюта до базарной площади было рукой подать, она несмежными углами примыкала к солдатской казарме и острогу. Поэтому Сережа видел нищих не реже, чем солдат и арестантов. Нищие, изуродованные недугами и ранениями, ужасали. Иные калеки даже не ходили, а ползали.

— Как же это?

И первым, кто уверенно выводил Сережу из гнетущего недоумения, был священник, отец Константин.

Опекая арестантско-сиротскую паству, Константин Васильевич Пономарев еще и преподавал закон божий в городском училище. Кое в чем держал себя независимо, пустил в квартиранты двух политических ссыльных, всполошив тупых изуверов.

Едва Сережа поступил в школу, его определили в певчие — возможно, по желанию учительницы Шубиной, большой поклонницы церковного хора. Отец Константин, приметив нешаловливого мальчика, похваливал его и в знак благоволения кое-когда просил помогать в отправлении церковных служб и треб. Сережа платил и послушанием и. откровенностью.

Священник учуял, что безмятежная набожность мальчика, унаследованная от матери, омрачается тягостными наблюдениями и раздумьями. Но не серчал и даже поощрял восприимчивость его к чужому горю. Злые же каверзы и беды бренных будней отец Константин столь убедительно истолковывал в пользу небесных сил, что господь бог неизменно сохранялся целым и невредимым в своем милосердии, а страдания людей казались неизбежными и вместе с тем устранимыми.

Этим и скреплялось доброе знакомство.

Но, подрастая, мальчик все пристальнее всматривался в окружающее. Годам к двенадцати он уже не сомневался, что жизнь устроена несправедливо. В этом был залог его разуверения в религии. Охладевая к ней, Сережа' за второй класс по закону божию получил тройку, единственную тройку среди четверок и пятерок по другим предметам. Только на переводном экзамене подтянулся, выправив ее на четверку.

Поскольку закон божий был в училище главным предметом, чтобы не отставать, приходилось превозмогать себя: все церковное его тяготило. К этому времени относится и знакомство Сережи со ссыльными революционерами. Благодаря им мальчик начал понимать, откуда на самом деле идут лихие превратности и противоречия окружающей действительности.

8

Купив и перестроив старый дом, Самарцевы часть его сдавали внаем. Снимали у них жилье и молодые революционеры, военный врач Петр Петрович Маслаковец и его жена петербургская курсистка Вера Юрьевна, а также студент Петр Павлович Брюханов. В гости к этим ссыльным приходили и все остальные.

Когда Саня, учившийся в Вятке, приезжал на каникулы, Сережа, бывая у него, видел ссыльных вблизи. Видел он их и в «Аудитории», где они то научную лекцию прочитают, то декорации рисуют, то забавные маски делают для детского утренника. И Сережа недоумевал, по обыкновению восклицая:

— Как же это?

Ссыльных, окрещенных «крамольниками», преследовали, на них натравляли забулдыг и пропойц.

Стоило пройти «крамольникам» мимо лачуги портняжки Ионы, как он выскакивал за порог и посылал им вдогонку площадную брань, угрожающе громыхая тяжелыми закройными ножницами. Презираемый всеми подонок Сидорка, помахивая булыжником, орал:

— Обломлю башку, антихристы!

Ссыльные не признавали ни бога, ни церкви. Все же их приглашали в гости, с ними дружили некоторые уважаемые в городе интеллигенты. Нравились ссыльные и Сереже. Ему нравилось, что издевательства они переносят с достоинством и гордой насмешливостью. Нравилось, что они всегда бодры, веселы. Нравилось, что они свободно толкуют о таких мудреных вещах, в которых ему, Сереже, не уцепиться за суть и смысл.

Вечно споря о чем-то, они ни разу не повздорили. Будто старшие братья, заботились о единственной среди них женщине, Вере Юрьевне, ожидавшей ребенка. Кроме врача Маслаковца, человека из зажиточной семьи, все ссыльные нуждались, а поступать на работу им запрещали. Они переплетали книги, делали для школ чучела птиц и зверей, составляли проекты и чертежи всяческих построек. Своими заработками охотно делились. Люди, согнанные сюда из разных мест, разные по возрасту, характеру, национальности, уржумские ссыльные были очень дружны. Некоторые даже жили одной семьей, коммуной, в шутку прозванной «Ноевым ковчегом», и все у них было общее: деньги, вещи, еда.

Однажды Сережа услышал их песню, смелую и грозную Взбудораженный, он увел Саню в лес, и там в два слаженных голоса мальчишки грянули:

Вихри враждебные веют над нами…

Позднее поразила и другая песня.

Слова и напев, как позже узнал Сережа, сочинил в тюрьме революционер, о котором ссыльные говорили, словно о святом. Богатое наследство, доставшееся от отца, Леонид Петрович Радин отдал бедным. Талантливому ученику великого Менделеева прочили большое будущее. А он — и ожидавшую его славу ученого, и капитал, и безмятежную жизнь в свое удовольствие — все променял на тюрьмы и лишения.

Теперь Радин тоже отбывал ссылку, и поблизости — в Яранске. Ссыльных сокрушало, что дни Леонида сочтены. Его

одолевала чахотка — болезнь, унесшая в могилу мать Сережи. Поэтому Сережа, сколько бы ни повторял полюбившиеся слова, не переставал волноваться, когда пел:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе…

Маслаковец и его гости пели, декламировали, не таясь Сани и Сережи. Мальчики все запоминали, а потом, залезая с соседскими ребятами на сеновал, плотно закрывали дверь. В полутьме раздавалось:

По пыльной дороге телега несется,
А в ней по бокам два жандарма сидят…

Сережа читал вслух непонятные и все же манящие стихи. Это были несколько измененные слова похоронного марша, который впоследствии не раз привелось слышать и петь, провожая в последний путь друзей революционеров:

А деспот пирует в роскошном дворце,
Тревогу вином заливая,
Но грозные буквы давно на стене
Чертит уж рука роковая….

В свои тайны ссыльные не посвящали ни старшего, ни младшего из льнущих к ним подростков. Но подспудное влияние ссыльных чувствовалось. Во всем, что Сережа видел вокруг, постепенно очерчивались границы двух лагерей.

Богатеи с Воскресенской улицы и вечно голодные обитатели Светлицкой — иначе Инвалидной — слободы, куда войны исстари выбрасывали увечных солдат. Приниженность тех, кто ради заработка вынужден идти на поклон к лесопромышленникам, купцам и землевладельцам. То холера откроется, то оспа, то трех разновидностей тиф. То свирепствуют цинга и злая корча, отравление попавшей в муку ядовитой спорыньей. И тогда — похоронные шествия, похоронные шествия мимо городского училища, на Митрофаниевское кладбище.

В голодный год крестьяне не платили непосильных податей. Губернатор Анисьин понаслал судей, становых, войска. У недоимщиков отбирали последнее. Их пороли, засуживали, толпами волокли без суда в тюрьму. Анисьина сменил губернатор

Клинкенберг. Что проку — вновь наступил голодный год.

Уже отшумело потрясшее страну «мултанское дело», вернулись домой удмурты, клеветнически обвиненные в человеческом жертвоприношении и вырванные затем из судейских рук, а в Уржуме не сходили с уст подробности. Ведь все стряслось рядом, в Малмыжском уезде, в Старом Мултане. Не одни революционеры с благоговением произносили имя Короленко, поднявшего честные силы России на защиту удмуртов. Некоторые уржумцы познакомились с ним, когда он еще не стал известным писателем. Владимир Галактионович Короленко отбывал ссылку в соседнем Глазове.

Два лагеря, два полюса, соседствующие и несближаемые. Обманное сближение их под сводами церкви, теряя в глазах Сережи прежнюю возвышенность, оборачивалось чем-то базарным, из хитрости облеченным в пристойные обряды и наряды. Неспроста ссыльных смешило, что вокруг Троицкого собора сгрудились церковные и нецерковные лавки впритык к «обжорному ряду». Торговали бакалеей, скобяным товаром и возле Воскресенской церкви. Воскресенья и праздники были базарными днями. В дни ярмарок — на троицу и осенью, когда в Уржум приносили «особо чтимые» вятские иконы, — молебствия, торгашество и пьянство спаивались в нераздельный, триединый союз.

И доводы отца Константина в пояснение земного неблагополучия блекли, блекли. В глазах Сережи он выглядел уже не всеведущим ученым пастырем, а Посредственным попом, затвердившим малую тол|ику обветшалых полуистин. Он повторялся либо увертливо изрекал:

— Сие необъяснимо.

Отец Константин не мог признаться, что его и самого терзают сомнения, угнетает жестокая действительность. Не предполагал он, что со временем, прозрев, будет тяготиться саном, а после революции сбросит рясу и завершит свои дни банковским служащим. Поэтому священник все сильнее привязывался к подростку, стараясь оградить его от сомнений и удержать в лоне церкви. Но поповские разглагольствования, убедительные и утешительные прежде, не задевали ни ума, ни души Сережи.

В непреднамеренном соперничестве священника и ссыльных, в соперничестве, о котором не подозревали ни священник, ни ссыльные, ни сам Сережа, брал верх здравый смысл. Ссыльные много знали и в отличие от отца Константина не признавали ничего необъяснимого, в жарких спорах выискивая истину.

Естественно, влияние ссыльных на Сережу росло.

Новый толчок к этому дал совершенно исключительный

случай, к которому поневоле причастен был квартировавший у Самарцевых студент Петр Брюханов, старший брат известного в будущем большевистского деятеля Николая Павловича Брюханова, наркома продовольствия, затем наркома финансов СССР.

Как впоследствии, в двадцатых годах, писал, уже будучи пожилым врачом и доктором медицины, Петр Павлович Брюханов, началось с того, что в Вятку доставили по этапу Феликса Эдмундовича Дзержинского. Ему исполнился двадцать один год, он был опытным революционером, а вятский губернатор Клинкенберг вызвал Дзержинского из тюрьмы, намереваясь, словно школяра, отчитать за связь с «рабочим вопросом». Стройный, с бледным энергичным лицом, Дзержинский в упор глядел на развалившегося в кресле губернатора, потом перевел взгляд на стулья, выстроившиеся в длинный ряд у дальней стены:

— Виноват, разрешите сесть.

Принеся стул, сел, своей невозмутимостью подчеркивая солдафонство губернатора.

Привыкший, что все, кому он сесть не предложит, стоят перед ним навытяжку, губернатор опешил. Пыл его остыл, читать нравоучение ему расхотелось.

Но за урок учтивости, преподанный слабым сильному, он не преминул отомстить.

Не успев толком обосноваться в уездном Нолинске, где предстояло прожить в ссылке три года, Дзержинский был под конвоем угнан на самый север губернии, в оторванное от всего мира село на берегу несудоходной в своих верховьях Камы.

Дзержинский не остался в должниках. Он бежал, и дерзко, среди бела дня. Побег удался. Не предали ни река, извивавшаяся меж глухих тогда чащоб, ни рыбаки, притворившиеся, будто видать не видали отважного незнакомца, вовсю налегавшего на весла ненадежного челнока.

Посрамленный губернатор был крайне раздражен. Он приказал князю Гагарину, ведавшему делами политической ссылки, немедленно «навести порядок» среди революционеров — то есть, усилив произвол, донимать их обысками, допросами, нелепыми запретами.

Накануне какой-то фискал донес, что в Уржуме ссыльные снабдили бельем и теплой одеждой очередную партию «крамольников», проходившую через город, а по пути следования этапа вывесили из своих квартир красные флаги, плакаты с приветствиями. Князь Гагарин, несмотря на распутицу, поспешил в Уржум.

Прибыл князь в три часа пополудни и принялся поучать полицию, как поподлее насолить ссыльным. Около половины десятого вечера в дома, где жили ссыльные, одновременно пожаловали полицейские. Учинив повальный обыск, «крамолы» не нашли, но позабирали кое у кого по нескольку книг, журналов, писем, листки со всякими конспектами и заметками.

Князь Гагарин, почти сказочный невежда, счел, что в бумагах, изъятых у Брюханова, напал на след страшного заговора. Велев приставить к этому студенту двух городовых и держать его под строгим домашним арестом, князь ночью протелеграфировал губернатору о найденных документах и, чтобы самолично раструбить о раскрытом заговоре, ускакал обратно в Вятку.

На третий день Брюханова привели к уржумскому исправнику Пененжкевичу, незлому и ограниченному старику, мечтавшему лишь о том, как бы потихоньку дотянуть до пенсии. По своему почину он гадостей ссыльным не делал и даже давал им кое-какие поблажки, чем выделялся среди полицейских чиновников, которые, как правило, были сущим отребьем. На сей раз исправник враждебно вскинулся на студента;

— Подвели вы меня! Из-за вас меня лишат места и пенсии!

Когда Брюханов возразил, что ничего не понимает, исправник вскипел:

— Не лицемерьте! Вы замышляли свергнуть царя и для того основали в Вятской губернии подпольное общество! Вас уличают в том два документа, и один из них написан вами собственноручно! Князь Гагарин уже сформировал обвинение в противуправительственном заговоре! Прокурору будет передано дело и о вас и о ваших сообщниках!

— Кто же мои сообщники?

Исправник гневно выпалил:

— Маркс, Энгельс и Кудрявцев!

Тут уже разгневался и Брюханов. В тон исправнику он выложил, кем были покойные Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Растолковал, что «документ», написанный его, Брюханова, рукой, — отрывок из давным-давно опубликованного письма Карла Маркса. Растолковал, что второй «документ» — письмо из Нолинска от ссыльного Кудрявцева, упоминающего о своем основательном знакомстве с Марксом и Энгельсом, подразумевая их научные труды.

— Я основательно знаком с Аристотелем, но это вовсе не значит, что я жил почти две тысячи лет назад, — заключил злую свою отповедь Брюханов.

Исправник Пененжкевич все понял, но побоялся нарушить телеграфное предписание губернатора и, сняв по всей форме

допрос с Брюханова, посадил его в одиночную камеру местной тюрьмы.

Зато не без подсказки исправника смотритель тюрьмы Пржевалинский источал отнюдь не свойственное ему радушие. Отвел новому арестанту самую лучшую камеру, оставив дверь незапертой. Чтобы выморить клопов, прислал на подмогу Брюханову двух уголовников со специальным прибором, кипятком и скипидаром.

Так как в маленьком городе секреты недолговечны, выскользнули наружу и подноготная ареста ссыльного и полученное исправником несусветное шифрованное предписание губернатора Клинкенберга о розыске Маркса и Энгельса, якобы скрывающихся в Уржумском уезде. Везде только об этом и говорили. Многие выражали сочувствие Брюханову. В первый же день отсидки он получил от чужих людей три обеда подряд. Передавали ему в тюрьму также книги, журналы.

Неважно, подействовало ли письмо Брюханова, доказывавшего губернатору немыслимость пребывания в Вятской губернии основоположников научного социализма, или прокурор был поумнее Клинкенберга с Гагариным, дело о «заговоре» прекратили. Но за провал свой губернатор Клинкенберг отомстил. Дав Брюханову лишь час на сборы, его под конвоем погнали отбывать ссылку в то камское село, из которого бежал Дзержинский.

9

О том и пел Сережа: «По пыльной дороге телега несется…» Только пыль не клубилась — Малмыжский тракт развезло дождями глубокой осени, когда в телеге, с двумя жандармами по бокам, из Уржума увозили ссыльного студента, провожаемого друзьями.

Благодаря случаю с «заговором» Сережа в небывалой определенности увидел облик людей из двух лагерей, соседствующих и враждебных. Возненавидев клинкенбергов, он потянулся к тем, для кого не просто словами была песня ссыльного Радина:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…

С некоторыми ссыльными удалось познакомиться поближе. Но дорога в царство свободы по-прежнему была покрыта тайной. Чтобы эту тайну доверили, Сереже пришлось ждать, пока он подрастет и, учась в Казани, приедет на каникулы в Уржум.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Приют ни на день не давал забыть Сереже, что ест-пьет он, одевается обувается, учится, ходит по земле, дышит благодаря пожертвованиям. Неотвратимую зависимость от чужой воли Сережа ощутил с новой силой, когда в мае 1901 года окончил городское училище.

Домоседка, отлучавшаяся из приюта разве только на прогулку с подопечным выводком, Юлия Константиновна зачастила в город. Глуша в себе неверие в задуманное, приютская воспитательница упрямо доказывала кому следует, что непростительно отдавать в приказчики или в подмастерья Кострикова Сергея — очень он способный, а поведения примерного, даже беспримерного, и должен учиться дальше. Просительница была Юлия Константиновна робкая, но решимости ей придал учитель Морозов. Пригласив ее еще до выпускных экзаменов в училище, он первым заговорил о будущем Кострикова:

— Надо биться за него!

Воспитательницу и Морозова поддержали и Раевский, и Верещагин, и отец Константин, и доктор Чемоданов, некогда лечивший Екатерину Кузьминичну. Польнера и его жену убеждать не понадобилось. Но благотворительное, общество не располагало ни единым рублем на непредвиденные нужды, и последнее слово принадлежало купцам. Они же никак его не произносили. Тугодумствовали, некстати сетуя и на немалые траты, вызванные обновлением собора, и на снижение оборотов из-за общего спада, теснящего российскую промышленность и торговлю.

Медлить было нельзя, и часть предстоящих расходов Польнер взял на себя, судя по его письму, отправленному вместе с документами Сережи в Казанское промышленное училище;

«Означенного Сергия Кострикова я обязуюсь одевать по установленной форме, снабжать всеми учебными пособиями и своевременно вносить установленную плату за право учения… Жительство он будет иметь в квартире моей родственницы, дочери чиновника, девицы Людмилы Густавовны Сундстрем…»

Принятый в училище заочно, по аттестату и похвальному отзыву Раевского, пятнадцатилетний Сережа в конце августа

уехал в Казань.

Там Сережа сразу вновь почувствовал, что он словно опальный, что он приютский, ничей, сирота.

В квартире, где жило около десятка учащихся, его одного поместили на кухне.

2

Вину за лишения и обиды, перенесенные Сережей, нередко валят на кого придется. Чернят и родственницу Польнера, Людмилу Густавовну, изображая ее скаредной уродиной, каргой и присочиняя, будто она мешала Сереже готовить уроки, помыкала им и в конце концов прогнала его.

Верно лишь то, что она была не слишком хороша собой, не блистала талантами. Но природа без скупости наделила добротой Людмилу Густавовну. Дочь обрусевшего шведа, человека многосемейного и не очень обеспеченного, Людмила Густавовна некоторое время жила у сестры своей, сельской учительницы. Сестры взяли на воспитание дочку вдовы-сторожихи.

Стремясь дать приемной дочери такое образование, какого сама получить не смогла, Людмила Густавовна после смерти сестры поселилась в Казани и содержала «ученическую квартиру». Постояльцами-нахлебниками были преимущественно дети уржумцев, гимназистки и гимназисты.

Уступая просьбе Польнера, Людмила Густавовна взяла к себе Сережу совершенно бескорыстно. Он был убыточным нахлебником, если хозяйке переводили даже всю сверхскудную пятирублевую стипендию, назначенную ему благотворительным обществом из земских взносов на содержание приюта.

Гимназисты встретили Сережу более чем сдержанно, о чем свидетельствует сценка первого знакомства, откровенно описанная одним из них: увидели смуглолицего подростка в простой черной косоворотке, поздоровались и разошлись, не сказав друг другу ни слова. Они и в следующие дни, недели не замечали новичка.

Еще в Уржуме изведал Сережа эту сторону будней с их двумя несближаемыми полюсами. Он понимал, что от холодного безразличия к нему гимназистов и гимназисток из состоятельных семей деваться некуда. Хотелось забрать свой плетеный сундучок-корзинку и никогда не возвращаться на Нижне-Федоровскую улицу, никогда не переступать больше порога квартиры в глубине грязного двора. Но самовольно менять местожительство

запрещалось.

Оставалось запастись терпением.

Все вечера Сережа проводил на кухне, где ему отвели угол. Там стоял покрытый белой бумагой стол с пятилинейной лампой и строгой стопкой учебников, тетрадей. Рядом громоздился длинный сундук, который потом заменили кроватью. Читал, писал, чертил Сережа, тихо напевая под тяжкие вздохи и хмельное бормотанье кухарки, любившей приложиться к рюмке на сон грядущий, — ее угол был поодаль, за русской печью.

С постояльцами — гимназистами Сережа общался мало, встречаясь с ними только за столом. Чужой среди чужих, отгораживался и сам от них сосредоточенной замкнутостью. Самозащитой от новых, пусть невольных, но вполне возможных обид служила и его невозмутимая выдержка. Неизменно уравновешенный, он был предупредителен, подчеркнуто вежлив. Пожалуй, чрезмерно вежлив был. Где надо и когда вовсе не обязательно — этому научил приют, — громко, быстро говорил спасибо.

Подметив насмешившую ее черточку, девятнадцатилетняя Шура Ширяева, воспитанница Людмилы Густавовны, дала Сереже прозвище: Спасибо.

В отсутствие квартирохозяйки гимназисты и гимназистки, бывало, до того куролесили, что однажды сосед примчался с жалобой: икона со стены свалилась. Иногда все исчезали на каток или в театр, на прогулку, в гости. Дома оставались двое — Сережа и его ровесник, гимназист Владислав Спасский, сын уржумского врача.

Владя Спасский, пренебрегая шумными забавами, вечно возился с чертежами, моделями. Геометрические и технические чертежи паренька, по прозвищу Спасибо, естественно, задели любопытство гимназиста. Он подолгу наблюдал, как этот Спасибо, напевая, свободно выводит затейливые хитросплетения прямых и кривых. Чистый столик и керосиновая лампа с удобным бумажным козырьком-абажуром, и постоянно расположенные на одних и тех же местах чертежные принадлежности, и сама фигура Спасибо, стоя склонившегося в черной косоворотке над белоснежным листом ватмана, — все нравилось Владе.

Усаживаясь поблизости, гимназист начинал рассказывать что-нибудь. Сережа подавал односложные реплики, не отрываясь от рейсфедера, линеек, лекал. Как-то Владя рассказал, что мастерит сложную модель, хочет сделать электродвигатель. Сережа предложил помочь, если помощь нужна. Двигатель собрали вдвоем и, пока собирали его, перешли на «ты».

Оказалось, что Спасибо общителен, остроумен. В этом со

временем убедились все гимназисты. Потом убедились, что Сережа силен и ловок, ему ничего не стоило, схватившись с любым из них, повалить его наземь по всем правилам французской борьбы.

Гимназисты открывали в новичке неожиданные достоинства. Когда Сережу спрашивали, как у него с отметками, он отделывался туманными междометиями. А случайно узналось, что ему можно позавидовать. Владя нечаянно изорвал форменные брюки, и, чтобы купить ему новые, Сережа посоветовал продать электродвигатель. Владя смутился: трудились-то вдвоем. Вскоре Сережа снова поразил всех.

— Какое ты зрелище пропустил! — встретили его гимназисты, когда он зимним вечером возвратился из училища позже обычного. — Соседний дом горел!

— Зрелище… — устало проронил Сережа.

Гимназисты увидели, что его новенькая форма черного сукна измокла и весь он вымазан в саже: Сережа помогал вытаскивать мебель и вещи из горящего дома.

Но и тогда дети своего времени и своей среды — гимназисты даже не заикнулись, что надо бы перевести Сережу из кухни в комнаты.

Это было в порядке вещей.

Можно выразить суть и по-иному, словами Шуры Ширяевой, ставшей после замужества Александрой Ефимовной Рукавишниковой и спустя шесть десятилетий искренне писавшей:

«Все мы виноваты, мальчики могли бы как-нибудь потесниться, а мы, девушки, быть повнимательнее. Тогда, в 1901 году, это до меня не дошло».

3

Сережа втягивался в ученье с трудом, хотя никто не мешал заниматься, не отрывал от уроков. Причина была иная.

Среднее техническое образование в России только зарождалось. Казанское соединенное промышленное училище одним из первых начало выпускать механиков и образованных мастеров, машинистов. Соединенным называлось оно потому, что в его стенах спаялись четыре училища: среднее химическое и три низших: механическое, химическое и строительное.

То ли в пику местным промышленникам, из скопидомства не желавшим тратиться на подготовку технического персонала, то ли под воздействием передовых профессоров Казанского

университета, ведомство просвещения не пожалело средств на это училище. Раскинувшиеся на двух с половиной десятинах окраинного Арского поля главный корпус, мастерские с собственной электростанцией и газовым заводиком были построены и оборудованы отлично.

Но основанное в 1897 году училище не имело достаточного опыта и чрезмерно загружало подростков. Восемь длинных уроков, правда с двухчасовым обеденным перерывом. Дома сиди еще часа три над заданиями. Многие не выдерживали перенапряжения. Покидали училище или манкировали занятиями, выражаясь по-тогдашнему, и расплачивались встрепками, двойками, второгодничеством.

Сережа, принятый в механико-техническое училище, поначалу тоже очень уставал, но о манкировках не помышлял. Если в детстве он равнялся на приютскую воспитательницу и ее сестру, то теперь примером ему служили преподаватели училища. А они, за некоторым исключением, были как на подбор.

Потомственный инженер Антон Александрович Радциг дома, за телескопом, терял счет часам. Иногда отправлялся на двадцативерстную прогулку, чтобы опять-таки побыть наедине с небесными светилами и своими догадками о них.

Радциг был близорук и забавно рассеян. Формулы и схемы стирал с доски не тряпкой, а обеими ладонями и, очищая их затем от мела, тщательно водил ими по бортам гладко выутюженного форменного сюртука. Но даже озорники не искали в том повода для насмешек. Антону Александровичу прощали и жестковатость в отметках, потому что он принадлежал ученикам больше, чем себе, чутко подмечал и поощрял их успехи. Его глубоко серьезные уроки физики, сопровождаемые почти факирскими по занимательности опытами, запоминались на годы.

Начинающий математик Алексей Лаврентьевич Лаврентьев, будущий профессор Московского университета, был жизнерадостен и покладист. По выражению Радцига, он миндальничал с учениками, порой завышал отстающим отметки. Однако миндальничал поневоле, так как математическая подготовка новичков, особенно крестьян, оставляла желать лучшего. Лаврентьев придумывал остроумные задачи, умел заинтересовать своим предметом, просто и доходчиво растолковать то, что казалось невразумительным в учебниках. Привлекала подростков к Лаврентьеву и его любовь к спорту. Зимой он ходил на лыжах, летом пропадал на Волге, в парусной лодке, вместе с женой и сыном Михаилом, известным ныне математиком, вице-президентом Академии наук СССР.

Запомнился ученикам и преподаватель механики Ипполит Ипполитович Брюно, отлично знавший свой предмет. На занятиях он был прост, рассудителен, не жалел для «механиков» ни сил, ни времени и при первой возможности седлал любимого конька — производственные экскурсии, которые проводил отменно.

Экскурсии были и коньком инженера Павла Ивановича Жакова. Преподавая устройство машин, он заведовал у «механиков» учебной частью и стоял к ним ближе всех своих коллег. Ученики сразу проникались к нему уважением. Русская учебно-техническая литература была нищей в ту пору, некоторые предметы проходили по иностранным, переводным пособиям, а Жаков заменял их собственными литографированными записками. Штудирование аккуратно переплетенных записок дополнялось поездками на предприятия.

Эти поездки с Жаковым и Брюно, утоляя развивающуюся любознательность Сережи, открывали дверь в заветную техническую среду, в которую ему хотелось поскорее войти самостоятельным, независимым человеком.

4

Внезапно у Сережи началась полоса небывалого везения.

Шура Ширяева собралась уезжать в Ижевск вместе с Людмилой Густавовной, сказавшей, что ей больше незачем держать «ученическую квартиру». Воспользовавшись этим благовидным предлогом, Сережа без промедления переселился в Академическую слободку, потом на Рыбнорядскую улицу, к одноклассникам Мите Асееву и Саше Мосягину.

Учился Сережа день ото дня лучше. Переводные экзамены сдал блестяще. Из сорока первоклассников семнадцать отсеялись или остались на второй год, а среди остальных самым примерным был Костриков.

Каникулы он провел в Кукарке у Глушковых — сюда к матери и сестрам приехала и Юлия Константиновна. Они приняли гостя словно сына. Ни прежде, ни потом, за всю юность, не было у него поры, привольней и беспечней того лета.

Едва Сережа вернулся в Казань, на торжественном акте, посвященном началу учебного года, объявили: он, Костриков, единственный в своем классе, накануне удостоен награды первой степени. Вслед за этим губернская газета «Волжский вестник» черным по белому назвала его, Кострикова, в числе восьми самых лучших из трехсот питомцев промышленного училища.

Начали меняться и порядки в училище. Видя, как пагубна перегрузка учащихся и как им, детям мелких чиновников, ремесленников, крестьян, не хватает общего развития, преподаватели отважились на смелые нововведения. Уроки укоротили, удлинили перемены. Позади главного корпуса залили каток. Создали оркестр, хор и танцевальные кружки.

Коньки были Сереже не по карману, на танцы и оркестровые сыгровки не тянуло, но в хоре он пел охотно. С удовольствием посещал и самодеятельные спектакли, литературные вечера с туманными картинами.

Осенью училищные развлечения померкли. В городском театре играла оперная труппа, гастролировавшая то в Казани, то в Саратове. Эту труппу, а заодно и драматическую, держал известный актер, режиссер и антрепренер Николай Иванович Собольщиков-Самарин. Оркестром руководил Вячеслав Иванович Сук, ставший вскоре главным дирижером Большого театра в Москве, а после Октября — одним из первых народных артистов республики. Попеременно е ним в Казани и Саратове дирижировал оркестром достойный сотрудник этого замечательного музыканту, Лев Петрович Штейнберг, впоследствии народный артист СССР.

В начале века все трое были в расцвете сил, и «казанско-саратовская опера» славилась.

Сережа, пристрастившийся к искусству в уржумской «Аудитории», зачастил в городской театр, благо жил поблизости.

Мир, открывшийся за театральным занавесом с пушкинским лукоморьем, дубом зеленым и златой цепью, покорил еще сильнее, чем в детстве «Аудитория». Целыми неделями ходил Сережа восхищенно-растерянный, неприкаянный. Он непрестанно напевал — за солистов, за хор, за оркестр. Напевал, идя по улице и сидя за учебниками. Они были словно партитуры — то «Курс механики» Лауэнштейна и «Электроосветительное дело» Закржевского, то литографированные записки Жакова и «Технология металлов» Гессе, то «Спутник механика» Бернулли и даже «Христианский катехизис» отца Филарета.

Сережа впервые был самозабвенно счастлив, особенно после того, как удалось прослушать на всю жизнь очаровавшую «Кармен».

5

Всю стипендию Сережа отдавал квартирохозяйке. Деньги,

которые ему в Кукарке дали сестры Глушковы, вышли. Иногда он, кажется, помогал рабочим сцены в городском театре, но если это и верно, то получал гроши. Обнадежила весточка из Уржума, что хлопочут за него в вятском земстве, и Сережа на радостях сочинил шуточную молитву;

— Господи, боженька милостивый, иже еси на небеси, ниспошли мне на благодать духа твоего святого вожделенную восьмирублевую стипендию взамен пятирублевой…

Между тем земство не откликалось. Жить было не на что. Вместе с холодами пришел голод.

Сережа никому не жаловался. Ему ничего не стоило отправить в Уржум вырезку из «Волжского вестника», что, вероятно, позволило бы Августе Польнер выпросить для него у купцов десятку-другую. Но он от всех утаил газетную корреспонденцию с лестным упоминанием о нем. Корреспонденция эта обнаружена совсем недавно.

Друзьям Сережа тоже не жаловался. Лишь когда миновала мучительная зима, черкнул он, на шуточный лад, Анастасии Константиновне:

«Ну, а что ежели касательно меня — то у меня по обыкновению:

В груди гори-и-ит
Огонь желанья,
В кармане денег
ни гроша».

В дни полнейшего безденежья он убегал из дому гораздо раньше обоих своих соучеников, чтобы не объедать их за завтраком. Получая по почте или с оказией посылочки из Кукарки, не мог не угощать товарищей, соскучившихся по домашним пирогам и коржикам. Всего, что Глушковы пекли для него на неделю, на две, «механикам» хватало на один зуб. Сам же Сережа оставался ни с чем, а преподаватели и не подозревали, что он бедствует. Один из них, Павел Иванович Волков, став московским профессором, вспоминал, что как раз из-за щедрости Кострикова считал его зажиточным пареньком.

Сережа молчаливо голодал, пока не свалила его «перемежающаяся лихорадка» — малярия. Тогда оказалось, что у него ничего нет ни на лекарства, ни на еду. Ему выдали десять рублей из частных пожертвований.

Едва он выздоровел, вновь начала одолевать нужда. Его уржумские покровители полагались на училищных благотворителей. Те действительно кое-что делали, основав

Общество вспомоществования нуждающимся ученикам. Однако Сережа словно не замечал этого общества. Не мог он выворачивать душу наизнанку, плакаться на безденежье, потом еще выворачивать пустые карманы перед обследователями-благотворителями.

И надо отдать должное преподавателям, все-таки сумевшим хотя бы отчасти разобраться в Сереже, особенно руководителю «механиков» Жакову и училищному инспектору, кандидату естественных наук Алексею Савиновичу Широкову, которого академик Александр Ерминингельдович Арбузов причислял к замечательным представителям бутлеровской школы химиков. Не порывая е наукой, Алексей Савинович посвятил себя главным образом педагогике и преподавателем был превосходным. Писал он и стихи — лирические для узкого круга друзей, научно-познавательные — для своих детей. В качестве инспектора был Алексей Широков требователен, властен, но справедлив.

О том, как бедствует Костриков, инспектор и понятия не имел. Но именно по его просьбе педагогический совет дал Сереже пособие. Позднее, обнаружив, что его безденежье во время болезни не было случайностью, преподаватели свели Сережу с Обществом вспомоществования. Он написал коротенькое прошение, а от унизительных объяснений, от обследований Жаков и Широков его избавили. Жаков, представитель училища в правлении Общества вспомоществования, узнав, что стипендия Сережи идет в уплату за квартиру, исчерпывающе вывел на прошении:

«Очень беден, ничего не получает. На что живет — неизвестно».

Широков добавил:

«Заслуживает пособия».

Общество постановило выдавать Кострикову по пяти рублей в течение трех месяцев.

С тех пор его поддерживали пособиями.

Все же было еще горше, чем в приюте. И не потому, что приходилось перебиваться с гроша на копейку. За простейшее желание — учиться — расплачивался Сережа ещё более ощутимой, чем в Уржуме, зависимостью от благотворителей. В душе подростка, переступающего порог юности, это отзывалось болью, возмущением. Есть тому немое свидетельство. В 1902 году передовое издательство «Знание» выпустило сборник популярного тогда писателя Скитальца «Рассказы и песни». Сережу очень тронуло открывающее книгу стихотворение «Колокол»:

Я — гулкий медный рев, рожденный жизнью бедной,

Злой крик набата я!
Груб твердый голос мой, тяжел язык железный.
Из меди грудь моя!
И с вашим пением не может слиться вместе
Мой голос: он поет
Обиду кровную, а сердце — песню мести
В груди моей кует!
Из грязи выходец, я жил в болотной тине,
Я в муках возмужал.
Суровый рок меня от юных дней доныне
Давил и унижал.
О да! Судьба меня всю жизнь нещадно била.
Душа моя в крови…
И в сердце, где теперь еще осталась сила,
Нет больше слов любви!
Я лишь суровые слова и мысли знаю,
Я весь, всегда в огне…
И песнь моя дика, и в слово «проклинаю!»
Слилося все во мне!

Сережу привлекло и предпоследнее в книге Скитальца стихотворение «Алмазы»:

Нас давят! Лежим мы века,
Закованы в тяжкий гранит!
Гнетут нас и тьма и тоска,
Не знаем, как солнце горит…
Всегда мы тоскуем о нем…
Живит нас о солнце печаль:
Мы злым засверкали огнем
И сделались тверды, как сталь!..

Оба стихотворения Сережа выписал в ученическую тетрадь и очень берег. Их потом пощадили и обыски, и аресты, и тюремные отсидки. Листки из этой тетради, чудом уцелевшие в годы подполья, Киров хранил и в советское время, хотя многое другое, казалось бы, более ценное, вроде подлинников дореволюционных статей, давно уничтожил.

После гибели Кирова листки со стихотворениями «Колокол» и «Алмазы» нашлись в его домашних бумагах.

Невзгоды, донимавшие Сережу, теряли остроту, отступая перед зрелищем горя народного, по мере того как он узнавал Казань.

Вначале казанская действительность ограничивалась Арским полем. Промышленное училище соседствовало с художественным, поблизости находились ветеринарный институт, духовная академия, институт благородных девиц. Чурался ли достаток или баловал тех, кто здесь учился, — каждому и каждой путь в будущее был ясен, расчислен по годам, месяцам.

Переселившись на Рыбнорядскую, Сережа увидел людей без будущего.

Он жил через дом от трущобной «Марусовки», описанной Горьким в «Моих университетах». Если не считать малой малости студентов и однокашников Сережи, у которых он бывал, горбатое подворье наследников богача Марусова кишело отверженными.

Сродни «Марусовке», выходившей на Рыбнорядскую и Старо-Горшечную, были все три Горшечные, две Мокрые, Мочальная, Собачий, Кошачий, Вшивый переулки, бесчисленные закоулки, тупики с нередко нелепыми, унизительными названиями. Были сродни «Марусовке» и облепившие город слободки — Ягодная, Старо-Татарская, Ново-Татарская, Казенная, Адмиралтейская, Плетени.

Уже побывав прежде на трамвайной электростанции, большой лесопильне и нескольких других предприятиях, Сережа поехал с экскурсией в Плетени, на завод Крестовниковых, поставлявший свечи и мыло в сотни городов страны.

Завод славился своей продукцией и специалистами: одним из его технических руководителей был профессор Михаил Михайлович Зайцев, консультантом — его брат, Александр Михайлович, выдающийся ученый, признанный глава казанской школы химиков. Сережа не раз видел их, оба наведывались в промышленное училище, как члены попечительного совета.

Но владели заводом не они, и то, что творилось в цехах, ужасало. Из котлов и чанов, где топилось сало, варилось мыло, нестерпимо разило злыми испарениями. Рабочие, дыша прерывисто и часто, судорожно кашляли. У некоторых руки, ноги, а то и лица были изъедены каустической содой. Молодые и старые таскали восьмипудовые бадьи с. мылом. Ничуть не меньше взрослых маялись мальчонки-котлочисты, изможденные в свои десять-двенадцать лет.

Стояла весна, повсюду и особенно в центре города чувствовался канун пасхи. А тут, в слободке Плетени, в цехах, было не до толков о празднике, о недоступной или дешевой

снеди: оказалось, крестовниковцам не дадут отдохнуть и на пасху.

За стенами завода, с театральных подмостков, неожиданно повеяло той же безысходностью. Сережа попал на премьеру пьесы «Болезнь духа», где героиня, измученная средой, опустошенная, кончает самоубийством.

Увиденное в жизни и на сцене, сливаясь, преследовало Сережу. Обрывки неотвязных впечатлений выплеснулись на страницы его письма в Кукарку, к Анастасии Глушковой, крестником которой он себя называл.

«Да, наступает праздник, великий праздник, но не для всех. Например, здесь есть завод Крестовникова (знаете, есть свечи Крестовникова), здесь рабочие работают день и ночь и круглый год без всяких праздников, а спросите вы их: зачем вы и в праздники работаете? Они вам ответят: если мы не поработаем хоть один день, то у нас стеарин и сало застынут, и нужно снова будет разогревать, на что понадобится рублей 50, а то и 100. Но, скажите, что стоит фабриканту или заводчику лишиться 100 рублей? Ведь ровно ничего не стоит. Да, как это подумаешь, так и скажешь: зачем это один блаженствует, ни черта не делает, а другой никакого отдыха не знает и живет в страшной нужде…»

Рассказав о новой пьесе и ее авторе, местном гимназисте, Сережа добавил:

«Написано прекрасно, весь театр был в восторге, но только нужно заметить, что очень тяжелая драма. В настоящее время этот гимназист уже, по всей вероятности, выставлен из училища. Ведь вам известно, наверное, что у нас в России в училищах велят делать только то, что нужно начальству, и так же думать. Если же ученик начал развиваться как следует и начал думать лишнее, то его обыкновенно гонят, и выгнать им ничего ровно не стоит… Много произошло в театре интересного, да слишком долго писать, быть может судьба сведет нас когда-нибудь и где-нибудь, так что я вам тогда уж лучше расскажу, у меня долго это будет п памяти…»

Сереже только что сравнялось семнадцать лет. Забывая о себе, он остро, встревоженно воспринимал беды людские, созревая для новой, решающей встречи с политическими ссыльными.

7

Провожали его в Казань подростком, Серёжей, а летом 1903

года приехал он домой на каникулы Сергеем, подтянутым, серьезным юношей в деловитой форме черного сукна с двумя рядами светлых пуговиц на тужурке. Из-под фуражки, которую он любил носить чуть выше, чем полагается, выбивались прямые волосы, зачесанные назад. Он покуривал. Обзавелся тросточкой, но, кажется, не ради щегольства: с детства привык держать что-нибудь в руках, цветок ли, веточку, или вертеть-крутить хворостинку, прутик.

С другом детства Саней, Александром, устроился Сергей в обширном полупустом, соблазнительно прохладном и чистом амбаре Самарцевых, где стояли две койки, стол и лампа. Сергей рассказывал о казанских буднях, о театре и операх, училищных приключениях и прочитанных книгах. Александр выучил все любимые арии Сергея, эти арии они пели вдвоем во дворе или на реке, в лодке.

По воспоминаниям Александра Матвеевича Самарцева, настроение у Сергея иногда падало, он был обеспокоенно-задумчив, читал про себя или вслух то грустные, то гневные стихи, не раз повторял некрасовское:

Душно! Без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!..

Сергей жалел, что никого не осталось из знакомых революционеров: отбыв ссылку, они уехали. Но было много новых, и познакомиться с ними не стоило усилий.

Александр, повздорив с начальством в Вятке, бросил реальное училище. Он хотел продолжать учение в Петербурге, готовился к экзаменам, а в репетиторы себе взял ссыльного Спиридона Мавромати, петербургского студента, обрусевшего грека. Сестра Александра, Катя Самарцева, шепнула Сергею, что Мавромати уже успел собрать несколько человек в подпольный кружок и что в кружок тот приняли и ее. Недолго думая, Сергей махнул с Александром на очередной урок.

Мавромати жил на той же Полстоваловской улице, что и Самарцевы, Костриковы, но в нижней части города, за Шинеркой, в старом бревенчатом доме, где второй этаж занимал «Ноев ковчег», коммуна ссыльных.

Уехавших сменяли новоприбывшие, «Ноев ковчег» оставался «Ноевым ковчегом». Он был то загадочно нем, то, наоборот, непривычно для Уржума шумлив — из окон доносились незнакомые, торжественные, как гимны, песни или пылкие речи,

отголоски споров. Еще в детстве влекло туда Сергея, но только теперь переступил он впервые притягательный порог.

Александра уже хорошо знали, и никто не удивился пришедшему с ним гостю. Зато удивился Сергей, увидев паренька, которого по годам вроде бы и не зачислишь в «крамольники». Это был Кристап Спруде, латыш, ровесник Сергея.

Медлительный, натужно говорящий по-русски, Кристап не откровенничал. Однако, поддаваясь сочувственной заинтересованности гостя, не скрывал того, что скрывать было незачем. На карте легко найти Балтийское море, а возле побережья есть Айзпутский уезд — вот откуда он, Кристап. Ненавидит кулаков, баронов-помещиков, католических и иных попов. Ненависть перешла к нему от отца-крестьянина Якоба Спруде и старшего брата Фрица. Он заодно с ними, с отцом и братом. Вместе отдали себя революции.

Он, Кристап, малышом наловчился одурачивать полицейских. Незаметно развозил по деревням и хуторам тайные листовки, газеты, тоненькие книжки. В четырнадцать лет все-таки зацапали с партией литературы, нелегально полученной из Швейцарии. Сел в тюрьму. Отца и брата тоже посадили. Два класса он, Кристап, пропустил в школе, полтора года продержали его за решеткой. Не пустили обратно в школу и потом. Таскали-таскали из тюрьмы в тюрьму. Сюда сослали и брата и его.

Когда урок окончился и Мавромати с Александром присели рядом, Кристап смачно расписывал огород, который вдвоем с братом развел на пустыре у Шинерки, и поставленный на огороде шалаш, где в жару все друзья прохлаждаются, как настоящие бароны на даче.

Юный латыш смолк. Сергей сгорал от нетерпения: расскажите и вы о себе, Мавромати. А он, подвижной, речистый, набросился с расспросами о Казани. Благодарил чуть ли не за каждые три слова, и, своими «спасибо» поощряя стеснительного гостя, жадно вслушивался в его замечания, наблюдения, рассуждения о рабочих, студентах.

И все. Ничего больше.

Но если Сергей и досадовал, то зря.

Как вспоминал спустя три с лишним десятилетия ленинградский инженер-энергетик Спиридон Дмитриевич Мавромати, он поначалу осторожничал с Сергеем Костриковым, опасаясь, конечно, не его, а за него, неопытного.

Между тем члены нелегального кружка Катя Самарцева и библиотекарь Варвара Макарова превосходно отозвались о наклонностях и выдержке Сергея. Один из обитателей «Ноева

ковчега», Зоткин, незадолго до того женился на местной уроженке, а ее брат, Петр Чирков, смотрел, можно сказать, снизу вверх на Сергея, однокашника по уржумскому и казанскому училищам. Вдобавок Кристап сам потянулся к казанскому «механику». Да и огород с укромным шалашом находился поблизости: как стемнеет, пройдись немножко вниз по Полстоваловской и, не бросаясь в глаза посторонним, возьми за Шинеркой вправо, к Митрофаниевской.

А главное, ссыльные, люди бывалые, в считанные дни оценили Сергея, несмотря на то, что — или именно потому; что — он по обыкновению непроизвольно затенял свои достоинства.

Естественно, знакомство вылилось в долгожданное духовное сближение с ссыльными. Чаще, чем с остальными, виделся он с четырьмя из них.

Братья Спруде держались спокойно-сосредоточенно, тогда как другие ссыльные, случалось, нервничали из-за лишений, полицейских придирок.

С товарищами Фриц и Кристап были ровны и приветливы. Недолюбливая долгие словопрения, оба не прочь были при общем запутавшемся споре вызвать общий смех меткой остротой, сохраняя при этом непроницаемое лицо. Не владея никакой городской профессией, неизобретательные в добывании денег, они почти не имели заработков. Но чтобы коммуна «Ноева ковчега» не нуждалась в покупных овощах и картофеле, оба неутомимо трудились на огороде, упрямо отвергая чью-либо помощь. Еще больше, чем огород, братья любили свой шалаш: он был, конечно, не столько «баронской дачей», сколько удобным местом негласных вечерних встреч.

Михаил Филиппович Зоткин дотягивал последние недели ссылки. Он радовался предстоящей свободе, и вместе с тем ему было грустно покидать друзей. Слесарь по профессии, Михаил Филиппович с юности колесил по стране, рано примкнул к рабочему движению. Осев в Харькове и работая в железнодорожном депо, был одним из застрельщиков первой в городе первомайской демонстрации.

В Уржуме Зоткин слыл мастером на все руки, слесарничал, столярничал, плотничал, мостил улицы и дороги, в «Аудитории» делал декорации и даже поставил пьесу. В узком кругу знали и такое: когда Зоткин читает даже обыкновеннейшую статью о доле труженика, о классовой розни, никто не останется равнодушным. В шалаше он прочел однажды вслух понравившуюся ему речь Фердинанда Лассаля, и концовку ее Сергей затем не раз повторял:

— Пусть идеи рабочего класса не покидают вас…

Четвертый ссыльный, Мавромати, на студенческой скамье ведал тайной типографией и доставкой в Петербург запрещенных книг из разных местностей России и из-за границы. Талантливый конспиратор, он долго был неуязвим для «гороховых пальто» — шпиков охранки, так как у него выработалась предусмотрительность необычного свойства. Спиридон Дмитриевич прежде всего страховал зависящих от него подпольщиков, добиваясь их безопасности тщательно продуманными ухищрениями.

В уржумской ссылке многие симпатизировали Мавромати, потому что он был скромным интеллигентом столичной закваски, добрым товарищем, остроумным спорщиком.

Постепенно ссыльные приотворяли для Сергея свои тайники. Тайники полны были неистощимых кладов. И свободно издающаяся, но отсутствующая в библиотеках «тенденциозная» литература с ее обличительной направленностью. И запрещенные книги без корок или упрятанные в добротные корки вместе с ерундой, вроде печатных отчетов неведомых богаделен, прейскурантов торговых фирм. И чистейшая нелегальщина, невесть как попадающая в Уржум совершенно свежей из волжских городов, из Петербурга и зарубежных далей. Читай что душе угодно.

Сергею дали «Подлиповцы» Решетникова. Когда были прочитаны и «Шаг за шагом» Омулевского, «По градам и весям» Засодимского, «Что делать?» Чернышевского, ссыльные доверили брошюру, тайно обошедшую всю Россию, — «Царь-голод» Алексея Николаевича Баха, в будущем выдающегося советского ученого и общественного деятеля.

Сергея поразила первая же страница.

«Одни работают до кровавого пота — другие ничего не делают; одни голодают и, как мухи, мрут от всяких болезней — другие живут в роскошных палатах и едят на серебре и золоте; одни горюют и страдают — другие радуются и веселятся».

И дальше:

«А те, которые ничего не делают, тем не жизнь, а масленица».

О том же, написанном двадцать лет назад и не где-нибудь, а в Казани, Сергей задумывался в той же Казани минувшей весной после экскурсии на завод Крестовниковых. «Зачем это один блаженствует, ни черта не делает, а другой никакого отдыха не знает и живет в страшной нужде?» — написал тогда Сергей учительнице Глушковой. Совпадение мыслей не порадовало — наоборот, озадачило, огорчило. Эти мысли, выходило, лежали на поверхности.

Сергей уединялся, уплывая подальше в лодке Александра,

случайно или не случайно называвшейся «Искрой», прячась в прибрежных зарослях на Уржумке или примостившись на любимом пеньке в загородной рощице близ деревни Берсенихи, и читал, читал, читал по пять, шесть, восемь часов кряду. Он прочитал и переведенную с немецкого «Историю революционных движений в России» Альфонса Туна, и ходовые очерки Шишко о прошлом родной страны, и не менее известные в революционной среде воспоминания старого народника Дебогория-Мокриевича, и другие выпущенные в Женеве, Лондоне, Париже книги. Кто-то привозил их оттуда, рискуя молодостью, жизнью. И каждая книга была для него откровением.

Позабыв о добрых знакомых, об «Аудитории», остававшейся самым ярким из всего, что было хорошего в городе, Сергей спешил с прочитанным к ссыльным, чтобы вечером вернуться в свое жилище, в амбар Самарцевых, с новой книгой за пазухой или под тульей фуражки. И, не «силах вытерпеть до завтра, принимался за чтение. Все кругом исчезало, Сергей не замечал, как по ту сторону стола валился на койку и мгновенно засыпал изморенный зубристикой Александр, не слышал ни колотушки ночного караульщика, ни сменявших ее вторых и третьих петухов.

Быстро мелькавшие страницы уносили далеко от Уржума. Степняк-Кравчинский, Войнич, Эркман и Шатриан, Шпильгаген, Францоз, Вазов и Еж вели его в недра подпольной России, в Италию, Францию, Германию, к гуцулам Закарпатской Украины, в сражающуюся против турецкого ига Болгарию.

Вновь и вновь повторял он подвиги героев в легко воспламеняющемся воображении. Раздумья тех долгих дней и летучих ночей с неотвратимой определенностью начертали Сергею его будущее революционера. Зная, что, подобно большинству революционеров, не сможет обойтись без подпольной клички, он, видимо, искал и условно выбрал ее. По словам бывших соучеников, Сергею с детства сильнее всех в истории нравилось короткое и звучное имя древнеперсидского царя и полководца Кира. И поэтому, вероятно, не могли не остановить внимания юноши ни добывавший для повстанцев оружие Киро, герой романа Вазова «Под игом», ни учитель-патриот Бачо-Киро в романе Ежа «На рассвете».

Сергей спешил. Окончатся каникулы, и прощайте, ссыльные.

Чувствуя, как дорожит казанский «механик» каждым днем и часом, ссыльные все чаще беседовали с ним без недомолвок, делясь удачами, осложнениями их повседневных революционных будней, давали ему листовки.

В листовках Сергея увлекало не только содержание, его интересовало и как они печатаются: ведь он был «механиком».

Ему растолковали, что к чему, разрешив испытать свои силы.

Озабоченно-счастливый, он вдвоем с Александром смастерил простейший гектограф, и недостроенная банька Самарцевых превратилась в тайную печатню. Вдвоем же, понасовав за пазуху только что на-гектографированные листовки, Сергей и Александр ночью, в канун базарного дня, пустились в осторожное путешествие. Часть листовок они пораскидали на базарной площади, остальные — вдоль Малмыжского тракта. Вернее, не пораскидали, а расположили где получше, и на каждую листовку клали камешек, чтобы ветер не унес.

По воспоминаниям Самарцева, первая проба сил не была последней.

В Казань Сергей вернулся с явкой к студентам-революционерам.

8

Его приняли в кружок самообразования — саморазвития по-тогдашнему. Нелегальных кружков таких было несколько. Они слились в Соединенную группу учащихся средней школы. В ней состояли главным образом гимназисты и гимназистки, реалисты, питомцы промышленного училища. Беспартийная, околопартийная, Соединенная группа была настолько надежной, что искровцы поручили ей гектографирование и распространение листовок.

Судя по нескольким скупым словам, оброненным Кировым в автобиографии спустя два с лишним десятилетия, уржумская подготовка пришлась в Казани как нельзя кстати. Поручение сторонников ленинской «Искры» выполнялось, очевидно, при участии Сергея. Но подтверждений нет, как нет пока никаких веских сведений о том, рядовым ли он был кружковцем или сразу же выдвинулся в старосты кружка, входил или не входил в комитет Соединенной группы. Бесспорно лишь одно: Сергея захлестнули студенческие волнения, отозвавшиеся в промышленном училище небывалыми «беспорядками».

Училище резко отличалось от других учебных заведений. Преподаватели его в большинстве своем были инженеры, люди менее подверженные рутине, чем, к примеру, гимназические учителя. Сказывалось и влияние членов попечительного совета, передовых ученых, братьев Зайцевых. Имело значение и здравомыслие почетного попечителя училища Всеволода Всеволодовича Лукницкого, просвещенного и немало

поездившего по белу свету пожилого генерала-от-артиллерии. Осыпанный наградами, он оставался весьма прохладном к монаршему благоволению, презирал полицейщину и дружил со своим шурином, профессиональным революционером Александром Митрофановичем Стопани, известным впоследствии большевиком, который, к слову, в двадцатых годах работал вместе с Кировым в Закавказье.

Директор училища Николай Григорьевич Грузов, сорокалетний инженер, еще учась в Петербурге, женился на дочери контр-адмирала, благодаря чему был на короткой ноге с казанской знатью. Кичась столичными связями, директор держал себя в службе независимо, особенно после того, как был возведен в дворянство. Высокомерный, желчный, взбалмошный, Грузов вместе с тем воспринимал юношеские вспышки строптивости и свободомыслия вполне разумно:

— Неизбежное эхо неспокойного времени, переживаемого империей.

Раздувать ученические «выступления» он не любил и попросту замалчивал их перед начальством, а виновников долго и нудно пилил, за что получил прозвище Рашпиль, и сажал в карцер. Однако учеников, у которых пробудилось самосознание, нисколько не трогали директоровы проборки, не пугала полутемная раздевалка столярной мастерской, где приходилось отбывать наказание под наблюдением незлобивого швейцара.

Директора вполне устраивал новый инспектор, заменивший ушедшего на пенсию Широкова: тридцатилетний химик и математик Василий Каллиникович Малинин отличался мягкостью характера и вялостью. Под стать Малинину был еще более молодой Памфил Никитич Макаров, «ученый рисовальщик», который преподавал графику и был надзирателем у «механиков».

Малинин и Макаров были знакомы домами со многими преподавателями училища.

Чуждаясь политики, эти интеллигенты понимали, что назревают бурные события, и вовсе не ожесточались. В узком кругу преподавателей сочувствовали Радцигу, когда его младшего брата, Владимира, в 1902 году исключили из института, ни во что не ставя несомненную одаренность будущего инженера. Преподаватели дружили с руководителем «механиков» Жаковым, хотя знали, что его жена, Евдокия Александровна Ардашева, — двоюродная сестра казненного народовольца Александра Ильича Ульянова, а также скрывающихся где-то революционеров Владимира Ильича и Анны Ильиничны, Дмитрия Ильича и Марии Ильиничны Ульяновых.

Не удивительно, что преподаватели в большинстве своем отнеслись к училищным «беспорядкам» не по-казенному.

9

Возникли же «беспорядки» после того, как 26 октября 1903 года умер член Казанского комитета РСДРП, студент университета Сергей Львович Симонов. Он был арестован весной, и в тюрьме у него открылась скоротечная чахотка. Два месяца бесконечных допросов, мучительных издевательств расшатали его нервы. Мстя за упорное молчание на допросах, жандармы перевели студента в психиатричек скую больницу, лишили медицинского ухода, прогулок. Жандармы и там, в психиатричке, не давали больному покоя, изводя его допросами.

Смерть Симонова взволновала передовую молодежь. Похороны его превратились в демонстрацию. Над медленно шагающими шеренгами непрестанно вилось: «Вы жертвою пали…» Стекаясь отовсюду, к студентам университета присоединялись юноши и девушки из других учебных заведений, подхватывая все более грозное: «Вы жертвою пали…» Полиция разогнала демонстрацию.

Спустя несколько дней, 5 ноября, на торжественном акте в честь девяносто девятой годовщины университета, поздравительную речь оборвала «Марсельеза». Покинув актовый зал, студенты на улице продолжали петь. Полиция врезалась в толпу, избивая нагайками демонстрантов и прохожих. Тридцать пять студентов были арестованы и немедленно приговорены к тюремному заключению.

Ответом были гневные сходки.

Взволнованность студентов передалась многим в промышленном училище. Явные признаки ее своеобразно обнаружились 8 ноября в третьем классе у «механиков». На уроке закона божия вместо захворавшего попа Богословского кафедру занял надзиратель Петр Николаевич Вольман, обычно следивший за поведением юношей вне училища. Он от имени попа велел сесть за сочинение: «Почему современники Иисуса Христа не признали в нем обетованного мессию?»

— Оно трудно для меня, — мгновенно поднялся кто-то.

— Для меня оно трудно, — пожаловался другой ученик.

— Трудно оно для меня, — процедил третий.

Как бы ни переставлялись немудреные слова,

Вольману в них послышалось то же, что читалось на лице у

каждого из насупившихся третьеклассников, не исключая Кострикова, первого и самого примерного ученика, отнюдь не склонного к легкомыслию. Вольман счел за лучшее удалиться:

— Передам вашему надзирателю.

Надзиратель Макаров тоже покорился классу. Сочинение никто не написал.

Почти неделя миновала, а о провинности «механиков» ни словом не обмолвились ни инспектор Малинин, ни директор Грузов.

14 ноября после оперного спектакля ожидалась ночная демонстрация, нелегально подготовленная студентами. Хотя спектакль давали обычный, публика собиралась в городском театре необычная, сплошь молодежь, заранее исподволь скупившая билеты. В фойе, в зрительном зале скапливались по двое, по трое и питомцы промышленного училища, среди которых был Сергей Костриков. Неожиданно, словно по команде, в театр гурьбой ввалились, блистая регалиями, директора и начальники всех учебных заведений

И это было еще не самым худшим. Когда в последний раз упал занавес и зрители хлынули на улицу, их встретили толпы полицейских. Высокопоставленных лиц пропускали по тротуару. Остальных заставляли расходиться затылок в затылок меж городовых, выстроившихся шпалерами на мостовой.

Не оставалось сомнения, что демонстрация сорвана. Сергей пробился сквозь полицейские шпалеры к соседствовавшему с театром Державинскому саду. Он стал прохаживаться по тротуару у памятника поэту, куда полиция не пускала публику. Видимо, Сергей о чем-то сигнализировал подпольщикам. Его заметил надзиратель Вольман, прогоняли городовые, отчитывал полицейский офицер — Сергей ушел лишь после того, как его застиг директор Грузов. Ушел, по словам Грузова, неохотно.

Начальство приметило в театре, кроме Сергея, восемь его соучеников.

Наутро Грузов-Рашпиль зло пилил их, сыпал наказаниями. Кострикову и двум его одноклассникам, отказавшимся писать поповское сочинение, сгоряча пригрозил еще и исключением из училища.

Угроза усилила незатихшее брожение, что тотчас же обнаружилось, и опять в третьем классе у «механиков», опять на уроке Богословского.

Потомственный поп, он имел академическое образование и степень кандидата богословия, большой приход Покровской церкви и уйму наград, внушительную внешность и хорошо подвешенный язык. Но поп был сух и не слишком умен. Целую

неделю его пуще хвори снедало желание дать острастку ослушникам. Еще не выздоровев, он пожаловал на занятия.

Класс предупредил его через надзирателя Макарова, что к уроку не готов. Не сообразив, чем чревато предупреждение, поп сразу после звонка приступил к опросу. Мало кого зная по фамилии, поп ткнул пальцем в первого попавшегося «механика»;

— Ну, ты мне расскажи…

— Не расскажу, — не дал тот договорить попу. — Не готов.

Поп ткнул пальцем в соседа;

— Ну, ты мне расскажи..

— Не расскажу. Не готов.

Ища спасенья от скандального провала, поп обратился к первому ученику Кострикову и вновь услышал вытверженную всеми отговорку. Первый ученик Костриков, придумавший эту отговорку, столь холодно ее отчеканил, что попа вымело вон.

Назавтра, в воскресенье, непокорных «механиков» затребовали повестками в училище. Учинив пилёж, Грузов велел взяться за прошлосубботнее сочинение по закону божию. Чтобы не навредить товарищам, над которыми нависла угроза исключения, класс подчинился.

В понедельник училище лихорадочно гудело, тревожась за троих опальных «механиков», и возмущалось воскресным вызовом целого класса ради глупой писанины. А во вторник, после занятий, все — класс за классом — поднялись в актовый зал. Потребовали директора. Его не было, или, скорее всего, он по доброму совету преподавателей сказался отсутствующим. Инспектор Малинин успокоил учеников: опасаться за товарищей нечего, никто исключен не будет.

Приближался четверг, день заседаний педагогического совета. Надо было наверняка опередить события, и в среду, 19 ноября, ученики в конце дня запрудили шинельную — раздевалку. Вновь потребовали директора. Дежурный надзиратель-новичок приказал удалиться.

Раздосадованные, обозленные ученики оставили шинельную. Чтобы на студенческий манер выразить свое презрение к директору Грузову, они столпились под окнами его квартиры. Басистый голос взвыл:

О блаженном успении…

В толпе, кто притворно-печально, кто гнусаво, а кто залихватски, с присвистом затянули, отпевая директора, словно покойника:

Подаждь, господи,
усопшему рабу твоему
Николаю Грузову
вечную память…

Пение смолкло, по толпе пробежал шепот. Он был сильнее приказа. Все позастегнули шинели, поправили фуражки, бесшумно выстроились на мостовой. Складно, нарастая сурово, взмыла в темень студенческая песня:

Был нам дорог храм юной науки,
Но свобода дороже была.
Против рабства мы подняли руки,
Против ига насилья и зла…

Несколько кварталов прошли юные демонстранты вдоль Грузинской улицы, где помещалось училище. Они приближались к центру города, когда у Державинского сада их ряды рассекла, рассеяла полиция.

20 ноября, чтобы выявить «смутьянов», в училище нагрянул казанский полицмейстер. Но Грузов не изменил себе и не допустил постороннего вмешательства в свои дела: после беседы с ним полицмейстер лишь отчитал учеников огулом.

Вечером собрался педагогический совет.

Выгораживая «механиков» и ради этого преуменьшая их развитость, некоторые преподаватели укоряли попа за чрезмерную сложность злополучного сочинения о современниках Иисуса. Богословский поюлил, позащищался, жалобно сетуя на неучтивость Кострикова и двух других «механиков», после чего, догадливо сославшись на хворь, откланялся.

То, что девять учеников пошли в театр без разрешения, свели к заурядному проступку.

О спетой под окнами у директора «вечной памяти» и даже об уличной демонстрации вовсе умолчали.

Определяя наказания, дольше всего судили-рядили, как быть с «механиками», которым директор грозил исключением из училища. Припомнили, что все трое, в том числе и примерный ученик Костриков, «выказали свою неисправность» еще весной: класс освистал тогда придирчивого мастера-новичка.

— Терпима ли эта тройка в училище? — увертливо спросил директор.

Общий ответ был: да. Директор сдался не сразу. Но на исключении Кострикова из училища никто не настаивал.

Преподаватели в один голос говорили, что считали и считают Кострикова примерным учеником.

Протокол заседания вопреки обыкновению почти три недели перепечатывали, переделывали. Истинная окраска ученических провинностей оказалась затушеванной.

Подоплека обнаружилась спустя несколько месяцев, во время ревизии, проводившейся Казанским учебным округом. Дознавшись, что Грузов утаил «беспорядки» от учебного округа, ревизор задним числом затеял расследование. В отчете о ревизии сохранились показания преподавателей Волкова, Жакова, Порфирьева, надзирателя Макарова, инспектора Малинина, попа Богословского.

Все они — за исключением попа — держали себя вполне достойно, защищая учеников настойчиво и умело. Да и среди остальных ведущих преподавателей в дни ноябрьских «беспорядков» никто, очевидно, не хотел шагать в ногу с полицией или, как поп, юлить, чтобы затем при случае наушничать.

Поэтому участники «кошачьего концерта» под директорскими окнами и уличной демонстрации остались неназванными, ненаказанными. А ученики, проступки которых педагогический совет обсуждал 20 ноября, отделались сравнительно легкими наказаниями. Сергей Костриков просидел в карцере двенадцать часов.

10

Отношения с преподавателями не ухудшились. Сергей, завершая учение, шел по-прежнему первым в своем классе.

Но прежним он не был.

Жандармерия почти полностью разгромила искровскую организацию в Казани. Вскоре началась русско-японская война. Оба события, неравные по значению, в равной мере призывали молодежь из уцелевшей Соединенной группы заменить старших, выбывших из строя товарищей. Сергей, зная, чем рискует, без страха вверился подполью. Его жизнь раздвоилась, и учение было только внешней ее стороной. Соединенная группа действовала и самостоятельно и совместно со студентами университета, ветеринарного института. Сергей печатал листовки, налаживал печатную технику. Конспирация не позволяла оставаться на прежней квартире, среди любопытных одноклассников, и он, отказывая себе в самом насущном, переселился с Рыбнорядской

на Вторую гору, где снял отдельную комнату в маленьком домике над оврагом.

Выпускные экзамены Сергей сдал успешно. Но по некоторым предметам оценки занизили: вывели четверки. Сказались и нервозность экзаменаторов из-за трехмесячной ревизии, которая была тогда в разгаре, и придирчивость ревизора, возмущенного тем, что к нему, по его признанию, в училище относились с нескрываемой неприязнью.

31 мая 1904 года Сергею вручили аттестат с семью пятерками, в том числе пятеркой по поведению, и пятью четверками.

После двухмесячной выпускной практики Сергей уехал в Уржум.

11

Уже не мысля для себя жизни вне революционного движения, Сергей вместе с тем очень хотел учиться дальше. Казанские и уржумские революционеры поддерживали его в стремлении получить высшее образование. Но училищный аттестат не давал права на поступление в университет или институт.

Сергей слышал, что отрадным исключением был Томский технологический институт, где выпускников Казанского промышленного училища ценили за основательные знания и навыки. В Уржуме Сергей познакомился с томским студентом-технологом Иваном Александровичем Никоновым и узнал из первых рук, что так оно и есть.

В августе восемнадцатилетний Сергей, распрощавшись с Уржумом, уехал в Томск.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Томск был кое в чем похож на Уржум и Казань.

Почти везде бросались в глаза татары и другие нерусские — инородцы по-тогдашнему. Некоторые улицы на деревенский лад после дождей тонули в непролазной грязи, и пешеходов спасали от нее дощатые мостки, столь узкие, что не приведи господь поскользнуться.

Хотя по численности населения Томск был вдесятеро больше Уржума, крупные заводы и фабрики здесь не встречались. Совсем как в Уржуме, гурты и отары перегоняли не только окраинными, но и главными улицами. Еще чаще перегоняли табуны — губерния поставляла армии много лошадей, их заодно с людьми пожирала война в Маньчжурии. Родной город напоминала также пересыльная тюрьма, разнившаяся от уржумской лишь огромностью и втеснявшая в себя тысяч до трех арестантов.

Подобно Казани, был Томск давнишним губернским центром, украшенным основательными казенными присутствиями, купеческими особняками, которые соседствовали с хибарами. Делали похожим на Казань и избыток церквей, и рейсирующие по Томи пароходы, и пристанская голытьба, и неряшливые меблирашки, и дворянские отделения в банях, и солдаты на каждом шагу. Однако в Казани, особенно в начале войны, новобранцы, наспиртованные шапкозакидательскими речами и высокоградусными подношениями, бродили по улицам разгульно-веселые. Теперь же, на всем долгом сибирском пути, и здесь, в Томске, солдат словно подменили. Никто уже не верил преступной побаске сановников, будто японцев легко закидать шапками. Война шла к проигрышу.

Приравнивал Томск к Казани и университет. Расположенный гораздо лучше казанского, он утопал в вековой березовой роще. Летние каникулы кончались, студенты съезжались в университет, и из рощи зачастую доносилась их песня, полюбившаяся Сергею:

Юной верой пламенея,
С Лены, Бии, с Енисея
Ради воли и труда,
Ради жажды жить светлее
Собралися мы сюда.

И с улыбкой вспоминая
Ширь Байкала, блеск Алтая,
Всей стране, стране родной,
Шлем привет мы, призывая
Всех, кто с нами, в общий строй.

Каждый здесь товарищ равный.
Будь же громче, тост заздравный!
Первый тост наш за Сибирь,
За красу ее и ширь,
А второй за весь народ,
За святой девиз «вперед» — вперед!

С университетом соседствовал технологический институт. Сюда и влекло Сергея. В левом крыле институтского здания помещалось редкое в те времена учебное заведение — общеобразовательные курсы, дававшие гимназический аттестат зрелости. Намереваясь пройти их, Сергей пошучивал, что попадет в институт не с парадного подъезда, а через левое крыло.

Но поступил он на курсы не сразу.

2

Все писавшие о юности Кирова полагали, что в томскую партийную организацию его вовлекли товарищи, с которыми он подружился осенью 1904 года на курсах. Это ошибка, и архивные находки вместе с достоверными воспоминаниями позволяют исправить ее.

Занятия начались 1 сентября. Но Сергей Костриков стал посещать их, да и то как вольнослушатель, гораздо позже. Найдено его собственноручное прошение, подтверждающее, что лишь 20 декабря обратился он к губернатору за свидетельством о политической благонадежности, необходимым для поступления на курсы. Согласно другому документу, свидетельство это выдано 10 января 1905 года. Третий документ: зачислить Кострикова на курсы начальство разрешило 16 февраля. Деятельный партиец, арестованный на сходке, Сергей сидел тогда в тюрьме. Не сойдутся концы с концами в прежних предположениях, если, допустим, он бывал на курсах и в сентябре. По воспоминаниям Броннера, Крамольникова и еще нескольких сибирских

большевиков, Сергей с сентября обучался в кружке, готовившем пропагандистов и агитаторов, и в этом месяце был уже своим человеком в штаб-квартире Томского комитета РСДРП.

Искушенные конспираторы не распахнули бы сразу настежь двери подполья перед Сергеем, будь он просто приезжим новичком, который только что познакомился на курсах с кем-то из партийцев.

Конечно, все обстояло иначе, чем рисовалось доныне.

Сергей покинул родные края отнюдь не школяром и, чтобы связаться с томскими партийцами, ничуть не нуждался в удачных случайностях, не дожидался их. Он, несомненно, имел явку. Ее дали уржумские ссыльные с их обширными знакомствами, разбросанными повсюду, от Нарыма до Женевы, или казанские искровцы, среди которых, кстати, было немало университетских студентов-сибиряков. И, судя по одной из автобиографий Кирова, явка привела его к члену Томского комитета РСДРП Смирнову, погибшему впоследствии, в 1918 году, на фронте.

Еще. Пожалуй, главное.

Сергей с отрочества мечтал о времени, когда добьется самостоятельности, материальной независимости, сможет жить по-людски, собирать книги, ходить в театр.

«Буду терпеть и ждать…» — писал он из Казани учительнице Анастасии Глушковой.

По ее воспоминаниям, короткая строчка была часто повторяемым присловьем Сергея: он заверял тревожившихся за него старших друзей, что обязательно выстоит в единоборстве с безденежьем и успешно окончит Казанское промышленное училище.

Он ждал, терпел, выстоял, приобрел отличную специальность. Но едва настала пора свершиться его давнишнему желанию — жить независимо, безбедно, он отвернулся от просящихся в руки денег и без сожаления обрек себя на нужду. Дипломированные механики были наперечет, а из-за войны с Японией потребность в них, особенно на Сибирской железной дороге, небывало возросла. Стоило наведаться в управление дороги, и Сергею предложили бы хорошо оплачиваемое место — присоединяйся к «людям двадцатого числа», получай каждого двадцатого свое ежемесячное жалованье, живи припеваючи, пока не обременен семьей. А он и не пытался искать службу по специальности.

Причина ясна. Приехав в Томск, Сергей тотчас же втянулся в подполье, оно завладело им, он целиком посвятил себя партийным заданиям и ради них — иного объяснения быть не может — предпочел нескончаемые лишения бесхлопотному

довольству.

И оттого, только оттого он вновь перебивался с гроша на копейку. Кое-где получал за разноску полисов в агентстве страхового общества «Россия», охотно согласившись на неприбыльную беготню: с папкой неподозрительных бумаг под мышкой проще было распространять листовки, которые он, Сергей, печатал тогда на мимеографе и гектографе. Потом, тоже неспроста, нанялся чертежником в городскую управу: нужно было поднять ее служащих на забастовку.

Ютился Сергей на Кондратьевской улице, в комнатушке у студента-земляка Никонова, оказавшегося отзывчивым товарищем. Допоздна отсутствовал, возвращался домой озябший, усталый, но бодрый, возбужденный.

— Спи, Сергей, — шутливо говорил он сам себе, закутываясь на кушетке в жидковатое байковое одеяло — на ватное денег не набиралось. Зато, когда ударили морозы, удалось купить дешевое пальто на толстой ватной подкладке, которая, кстати, вскоре спасла от ранения в схватке с озверелыми царскими держимордами.

3

Если не первым, то одним из первых, с кем встретился Сергей в томском подполье, был Смирнов, Они сразу подружились, несмотря на огромную разницу в годах.

Довольно пожилой фельдшер Александр Михайлович Смирнов давно распрощался и с любимой медициной и с личной жизнью. Вернее, его личной жизнью была революционная работа. По имени-отчеству или фамилии почти никто не знал его ни в рабочей, ни в студенческой среде. Но об Авессаломе слышали все. К нему, совершенно лысому, с легкой руки какого-то остряка прилепилось и второе конспиративное прозвище: Кудрявый. Иные думали, будто Авессалом и Кудрявый — два человека, и заблуждение это не удивляло комитетчиков, поскольку Александр Михайлович был вездесущ. По выражению Баранского, он отличался настолько и симпатичной, насколько редкой чертой: так же мало говорил, как много делал.

Из-за подпольщицы, которая доверилась подсаженной в ее тюремную камеру уголовнице-провокаторше, томская партийная организация весной 1904 года потерпела сокрушительный провал. Охранка выследила пятьдесят четырех товарищей, в том числе Авессалома. По жандармской мерке ему бы поплатиться

каторгой. Но Авессалом, начисто отведя все обвинения и подозрения, освободился из тюрьмы и даже не счел нужным уехать куда-нибудь подальше от томских жандармов. Приставленные к Авессалому филеры — тайные агенты охранки — потеряли его из виду, тогда как сам он не сводил с них глаз и преспокойно трудился за троих, пятерых, заменяя выбывших из строя комитетчиков.

Смирнов-Авессалом, твердый ленинец, лучше других понимал, что необходимо заблаговременно готовиться к вооруженному восстанию, для чего каждый партийный комитет должен иметь сильную военную дружину. Еще в 1903 году написал он устав такой дружины и начал создавать ее. Она была четко разделена на «десятки». Начальники их, «десятские», составляли комитетский боевой штаб.

И когда осенью 1904 года Смирнов стал восстанавливать дружину, расшатанную после арестов, ему нечего было и желать лучшего помощника, чем юный механик Костриков. Превратившись в оружейного мастера, Сергей чинил, приводил в порядок уцелевшие в тайниках браунинги, бульдоги, маузеры, лефаше, смит-вессоны. Общие заботы, взгляды, душевные свойства сблизили обоих. Вскоре Сергей был уже правой рукой Смирнова в боевой дружине.

Благодаря Смирнову и боевикам Сергей быстро освоился в чужом краю, в новой среде.

Край, куда ссылали революционеров и откуда черпали три четверти российской добычи золота, был не таким, каким давно запечатлелся по книгам, песням и обрывочным рассказам уржумских отходников. Отнюдь не мужицкий рай, но и не сплошной кандальный ад. Железная дорога, проведенная в конце прошлого века, всколыхнула Сибирь. Ее истинным золотом было теперь сливочное масло, поставляемое на внутренние и зарубежные рынки. Маслоделие, вырвавшееся из крестьянской избы в машинизированные городские артели, по общему доходу обогнало прииски. Некоторые другие отрасли промышленности тоже росли, и поэнергичнее, чем в центральной России, все еще скованной пережитками крепостничества. Сибирь крепостного строя не знала.

Революционеров по-прежнему ссылали сюда. Однако очагами борьбы против самодержавия стали и сибирские города. Уже не в них, а из них ссылали, как отмечалось в нелегальной листовке, напечатанной вскоре после приезда Сергея в Томск. Революционное движение, можно сказать, прикатило в эти дали по железнодорожным рельсам. Его зачинателями были политические ссыльные, преимущественно социал-демократы.

Прибывали и труженики, очень восприимчивые к передовым идеям. Железнодорожные рабочие, множась, сплачивались в самый сознательный отряд сибирского пролетариата. Усиливался поток переселенцев, главным образом молодежи, натерпевшейся лишений в покинутых родных местах. Передовые идеи находили отклик и у рабочих-сибиряков. Их изводили голод и произвол на старых и новых заводах, фабриках, приисках, шахтах. Горькой правдой дышала приисковая песня:

Мы по собственной охоте
Были в каторжной работе
В северной тайге.
Там пески мы промывали,
Людям золото искали —
Себе не нашли.
Приисковые порядки
Для одних хозяев сладки,
А для нас беда!

Еще и так пели о своем житье приисковые рабочие:

Щи хлебали с тухлым мясом,
Запивали жидким квасом —
Мутною водой.
Много денег нам сулили,
Только мало получили,
Вычет одолел…

Раньше, чем где-либо в крае, социал-демократическое движение начало развиваться в Томске. В 1896 году возникла нелегальная рабочая группа печатников. За нею другие социал-демократические группы, а также рабочие и студенческие кружки. Но действовали они порознь. Под влиянием ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» вызрела мысль о необходимости объединить разрозненные группы и кружки не только в Томске, но и по всей Сибири. Весной 1901 года был создан Сибирский союз РСДРП, примкнувший затем к ленинской «Искре», а после II съезда партии — к ее большинству.

Сибирский союз РСДРП имел и опытных партийных профессионалов и сравнительно богатую типографскую технику. Он был большевистским руководителем рабочих масс. Его деятельность и влияние особенно усилились с началом русско-японской войны. Великолепные листовки Сибирского союза

печатались огромными тиражами, шли нарасхват в окопах, воинских эшелонах, среди прифронтового населения.

Когда Сергей сдружился со Смирновым и боевиками, томская партийная организация, неотъемлемая часть Сибирского союза, оживала после затишья, вызванного провалом. Нужда в работниках была большая, и новые друзья увидели в Кострикове одного из тех, кого очень хватало, — разносторонне одаренного юношу, незаурядного в скором будущем партийного профессионала.

Одновременно с Сергеем в Томск приехал Григорий Иннокентьевич Пригорный. Юношей, почти подростком, он выпускал искровский журнал «Крамола», что породило его партийный псевдоним: Крамольников. В свои двадцать четыре года он успел поработать в подполье Иркутска, Омска, Читы и теперь бежал из нарымской ссылки. Бывший семинарист и будущий московский профессор-историк, Крамольников слыл не только одаренным оратором. Он умело подготавливал пропагандистов для местных организаций и, как говаривали партийцы, «на экспорт в Россию», то есть для центральных губерний страны.

Введенный в Томский комитет партии, Крамольников возглавил кружок повышенного типа, в который включили Николая Никифоровича Дробышева и его брата Анатолия, Давида Мироновича Калико, Егора Егоровича Кононова и его брата Иосифа — Осипа, Григория Наумовича Левина и еще нескольких подпольщиков, главным образом печатников.

Приняли в кружок и Сергея, хотя ему предстояло догонять товарищей. Они еще до приезда Крамольникова успели изучить «Эрфуртскую программу» Карла Каутского и первый том «Капитала» Карла Маркса. Помимо того, эти подпольщики регулярно следили за свежей политической литературой, свободно разбирались во всех современных политических течениях и поветриях с их бездной оттенков, противоречий, блужданий, заблуждений.

Время было трудное, все дома, где обычно собирались подпольщики, охранка держала на примете. Чтобы провести собрание, приходилось каждый раз ловчить, изощряться в предосторожностях. Иногда прибегали к опасному и все же спасительному «способу товарища Баки». Его придумал подпольщик Гейман, носивший баки и потому получивший свою странную конспиративную кличку: он снимал пустующую квартиру, вносил задаток и тотчас же сзывал кого нужно, будто бы справляя новоселье. После собрания он бесследно исчезал вместе с мнимыми гостями.

Для кружковцев Крамольникова «способ товарища Баки» был чересчур хлопотен и накладен, поэтому выискали другой.

Некогда обитал в Томске загадочный старец Федор Кузьмич, то ли бывший уголовный ссыльный из образованных, то ли незапятнанный человек, по неизвестной причине превратившийся в одинокого полумонаха. Келья давно умершего старца в глубине усадьбы купца Горохова на Монастырской улице оберегалась почитателями, прибиралась, хорошо отапливалась.

Если кружковцам не удавалось примоститься-притаиться где-нибудь в Обществе попечения о начальном образовании, они благодаря определенным знакомствам вечерком проникали в уютную келью.

Ни резное распятье из кости, ни олеографии с изображениями святых, ни десятки икон не смущали привычных ко всему кружковцев-безбожников, не мешали их мирным беседам и пылким спорам, в которых участвовали все, кроме Сергея. Он поначалу молчаливо вбирал в себя то, что говорили товарищи.

В Ленинградском музее Кирова хранится экземпляр легально изданного в Петербурге сборника «Экономические этюды и статьи» — по его пожелтевшим ныне страницам Сергей изучал в кружке работы Владимира Ильича, написанные в сибирской ссылке: «Перлы народнического прожектерства», «От какого наследства мы отказываемся?» Их сменила брошюра «Задачи русских социал-демократов», тоже написанная Лениным в ссылке, но напечатанная в Женеве и совершившая обратное путешествие в Сибирь.

Истинным откровением для Сергея было ленинское «Что делать?».

Он знал о Владимире Ильиче немало. Но в труде «Что делать?», к которому потом вновь и вновь взволнованно возвращался, Сергей впервые по-настоящему увидел облик гения, Ленина, в безмерной скромности извиняющегося перед читателями за недостаточную отделку своих мыслей — мыслей блистательных, отточенных, прозрачно ясных, острых и остроумных, единственно правильных. Взгляды Ленина, его утверждения и предложения, его доводы в споре с погрязшим в болоте экономизмом дышали неистребимой верой в могущество русского рабочего, радовали, воодушевляли смелыми прорывами в будущее, исчерпывающе обоснованным предвосхищением исторических событий.

Владимир Ильич ничего не приукрашивал. Сергей впервые по-настоящему ощутил, какие опасности предстоит одолеть, чтобы свергнуть властвующее чудовище, — во вражеском окружении неизбежны сражения еще и с полудрузьями, вольно

или невольно превращающимися в недругов. Но Сергей был уверен, что не забоится ни явных врагов, ни осложнений, лихорадящих внутриреволюционный лагерь, и, словно стихи, повторял вслед за Лениным:

— Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения…

Не только то, о чем Владимир Ильич писал в споре с экономизмом, очерчивалось перед Сергеем в революционной действительности, но и родственное экономизму новое примиренчество, новое болото, меньшевистское. Еще в Казани он увлекся социал-демократическими идеями. Теперь Сергей уточнял, отчеканивал свои взгляды и устремления, постигая суть возникших на II съезде партии и усилившихся затем разногласий между ленинским большинством ее и меньшинством.

Сергею уже стало ясно, за кем следовать, чего от себя требовать. Он сделал выбор — быть большевиком-ленинцем, никогда не поддаваться примиренчеству в битвах против капитализма, против самодержавия, в схватках с внутрипартийными раскольниками.

В кружке не могли не заметить, что за молчаливостью Кострикова, никак не вяжущейся с его общительностью, скрывается не только стеснительность новичка, но и вдумчивость, внутренняя напряженность. Когда что-нибудь взволнует его, он, бывало, вступал в беседу, обнаруживая и начитанность, и убежденность, и складность речи, и необычный ум, на лету схватывающий малопонятное и мгновенно возвращающий его собеседникам доходчиво, образно. Само собой вышло, что Крамольников сделал Сергея своим помощником в кружке.

При комитете партии создали ответственное пропагандистское звено — подкомитет. Ввели в него преимущественно кружковцев Крамольникова, и каждый имел определенные обязанности. Сергею, хотя он в подкомитете, как и в кружке, был моложе всех, доверили наиболее важное: гектограф и мимеограф. Сергей сообща с несколькими юными помощниками наладил печатание и распространение листовок.

Круг его обязанностей ширился, он стал вести рабочие кружки, созывать собрания; иногда выступал на них.

Его хорошо узнали в подполье. Он был проверен, надежен,

его щепетильная старательность вызывала добрую зависть товарищей. И вот, наконец, сбылась мечта Сергея — его приняли в члены партии.

Произошло это в конце 1904 года, когда приближалась первая русская революция.

4

Она пришла, первая русская революция, вслед за Кровавым воскресеньем.

Проникнув в Томск, весть о Кровавом воскресенье, 9 января 1905 года, тайно поползла, потом открыто заспешила от дома к дому, ускоряя бег, обрастая подробностями. Как ни противоречивы были толки о том, что в Петербурге расстреляли мирное рабочее шествие, не пощадив ни детей, ни женщин, ни стариков, боль и горе томичей, их сочувствие жертвам простодушной доверчивости и возмущение царем-убийцей слились, требуя разрядки.

Томский комитет партии решил отозваться сходкой. Чтобы обезопасить ее от кровавого произвола, подобного петербургскому, комитетчики придумали обходной защитный маневр.

12 января, татьянин день, день основания Московского университета, был издавна студенческим праздником. На этот раз праздник совпал со стопятидесятилетием университета, и во вместительном клубе, так называемом Железнодорожном собрании, томские либералы устраивали пышный банкет.

Банкеты с водянистой политической окраской тогда всюду вошли в моду. Правительство нисколько не препятствовало им: провозглашая тосты, поднимая бокалы и стопки за свободу, застольные краснобаи кротко выклянчивали для буржуазии чуть побольше власти, чем дал ей царизм, а попутным упоминанием о тяготах трудового люда лишь заигрывали с ним и усыпляли свою совесть.

Среди томских либералов попадались добросердечные и в частной жизни безупречные интеллигенты, но по общественным повадкам и намерениям они были под стать остальным пустозвонам. Полиция не сомневалась, что устроители банкета в Железнодорожном собрании пуще огня боятся всего недозволенного и не посадят за стол ни одного настоящего революционера.

Подпольщики решили захватить банкет и превратить его в

революционную сходку. Захват поручили подкомитету — его руководителя Крамольникова, только что переведенного нелегально в Красноярск, заменял Сергей Костриков. За день-два подкомитет проделал немыслимое — втайне подготовил к участию в сходке несколько сот рабочих и студентов. Всех научили, как себя вести при неожиданностях. Всем вручили пригласительные билеты на банкет, отпечатанные подпольщиками в той же типографии и с того же набора, что и подлинные, разосланные устроителями банкета. Ни полиция, ни либералы ничего не пронюхали.

В татьянин день, вечером, в точно обусловленные минуты, участники сходки малоприметными стайками стекались на Никитинскую улицу, к Железнодорожному собранию. Но у распорядителей банкета была в запасе неразгаданная подкомитетом хитрость. Они на каждом своем билете вывели от руки «9 ча». То, что недоставало букв и что слово нелепо обрывалось, было не опиской, а паролем, подтверждавшим подлинность приглашения. И когда рабочие и студенты прерывистой цепочкой потянулись к входу, вышла неприятная заминка. А они прибывали и прибывали, толпясь в вестибюле, на лестнице. Распорядители банкета потребовали, чтобы непрошеные гости удалились. Но, ничего не добившись, заперли дверь в зал.

Медлить было нельзя, и Сергей подал знак товарищам. Несколько рабочих кинулись вниз по лестнице, чтобы проникнуть в здание со двора. Однако это было излишне — по тому же знаку Сергея с десяток дюжих молодцов подступили к двери, угрожая выломать ее. Распорядители обмякли, сдались.

Толпа хлынула в зал, где белели длинные столы, накрытые на пятьсот персон. Людей набилось столько, что те, кому удалось взобраться на подоконники, сч'итали себя счастливчиками. Все еще уверенные в себе, либералы предложили в председатели своего человека, Григория Николаевича Потанина. Сходчики сразу согласились. Семидесятилетний Потанин, хотя и далек был от социал-демократии, пользовался большим уважением как выдающийся путешественник, исследователь Сибири, Китая, Монголии.

Понадеявшись на маститого председателя, либералы прогадали. Вниманием и волей зала безраздельно завладели комитетчики-ленинцы во главе с Николаем Большим — Николаем Николаевичем Баранским, известным впоследствии географом, членом-корреспондентом Академии наук СССР. Зал слушал только большевиков. Пытались выступать и либералы, но их не слушали. Это отметили в доносах даже шпики, на всякий случай

подосланные полицией в Железнодорожное собрание.

Сходка была небывало накаленной, ее участники возмущались царским произволом совершенно открыто. Примчался временный полицмейстер Попов, готовый каркнуть: «Р-р-разойдись!» Однако сами либералы любезно предупредили его, что, вмешайся он, от него останутся одни шпоры. Не рискнув и сунуться в зал, Попов улизнул. Боясь, как бы чего не вышло, вслед за ним сбежали и либералы потрусливее.

Сходка продолжалась. Все ее семьсот с лишним участников единодушно, громом рукоплесканий одобрили большевистский призыв — ответить на Кровавое воскресенье уличной демонстрацией, невиданной демонстрацией под охраной боевой дружины.

Смелый призыв увлек в городе многих. Их не запугала возможная' полицейская расправа. Не запугали и обстоятельства, о которых оставалось лишь догадываться: кое-кто прослышал о шифрованной телеграмме министра внутренних дел князя Святополк-Мирского. Разгневанный сходкой, министр приказал томским властям «в случае повторения подобных попыток принимать самые энергичные меры к недопущению беспорядков».

На предприятиях, в учебных заведениях явно и тайно готовились к демонстрации, назначенной на 18 января. Среди подпольщиков не было, кажется, никого деятельнее Сергея Кострикова. То он в конспиративных квартирах на Ремесленной и Бульварной раздавал с Авессаломом оружие «десятским». То вместе с ними за Томью проводил пробные стрельбы. То развозил свежие листовки, напечатанные в двух недавно оборудованных подпольных типографиях. То спешил на Магистратскую, в большевистскую штаб-квартиру. То на Тверской у братьев Кононовых он часами беседовал с подкомитетчиками. За сутки до срока все было уточнено, проверено, перепроверено.

Морозное утро застало Томск в настороженном ожидании. Магазины и лавки не открывались. Никакого движения — куда-то запропастились и извозчичьи санки, и богатые кареты, и ломовые розвальни, и легкие кошевки. Уже было совсем светло, а город, казалось, забыл проснуться. Но так только казалось. На Садовой, у университетских клиник, возле технологического института поодиночке, парами прохаживались студенты, курсистки и, словно невзначай, тянулись на главную улицу, Почтамтскую. Там, поближе к центру, у почтамта и напротив, за корпусом ремесленного училища, скапливались печатники, мебельщики, строители, местные и прибывшие с линии железнодорожники, Среди них слонялись переодетые в мастеровых филеры, сразу же опознаваемые подпольщиками. Городовых было больше обычного.

В двенадцатом часу пробасил фабричный гудок. Люди проворно вынырнули из дворов и парадных, переулков и закоулков, запрудили взгорбленную мостовую у почтамта. Быстро сомкнулись в шеренги, вытягиваясь колонной. Городовые кинулись было разметать ее. Куда там — фланги уже оберегали дружинники-боевики. Городовых, а заодно и филеров, заранее взятых под наблюдение, оттеснили на панели.

Сергей с несколькими товарищами показался из ремесленного училища. Им уже передали, что пришли далеко не все: под нажимом властей хозяева кое-где заперли рабочих на замок. Тем не менее демонстрантов собралось много, несколько сот. Заранее обусловленное построение колонны ничуть не нарушилось из-за отсутствующих. Сергей стал рядом с другом своим, Осипом Кононовым. Тот высоко взбросил увитое золотыми кистями древко с развернутым знаменем. На пламенеющем шелку чернело «Долой самодержавие!».

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…

Колонна мерно зашагала вниз по Почтамтской, к центру:

Нам противны златые кумиры,
Ненавистен нам царский чертог…

Навстречу мчались городовые, надзиратели, еще ночью стянутые отовсюду в центр. Через верных друзей подпольщики внушили властям, будто шествие начнется не раньше полудня. Наверстывая потерянное время, свора держиморд обтекла колонну и, оттесненная, суетливо топала вдоль панелей.

В несколько минут колонну оцепили.

Но над нею по-прежнему алело знамя, а ширь Почтамтской уже не вмещала набатной мощи «Рабочей Марсельезы»:

Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный.
Раздайся, звук песни народной,
Вперед, вперед, вперед!

Полицейские семенили по бокам колонны. Они вели себя так, словно пеклись только о соблюдении порядка на улице.

Их спокойствие было напускным. Они знали о ловушке,

подстерегавшей демонстрантов там, где за недостроенным торговым зданием, пассажем Второва, Почтамтская вливается в площадь, пересеченную речкой Ушайкой. Туда, на площадь, к мосту, загодя вызвали пожарный обоз, понатаскали телег, дрог, дровней, таратаек, бочек. Наспех возвели заграждение. За ним схоронились любимцы полиции, ее всегдашние пособники, так называемые «благомыслящие граждане», а проще забулдыги, пропойцы, громилы.

Полиция полагала, что наверняка все продумала, — демонстрантам некуда будет деться. Чтобы очистить путь через площадь и мост на Миллионную или Магистратскую, дружинники-боевики бросятся расшвыривать заграждение и столкнутся с «благомыслящими». Пусть, лишь бы боевики покинули строй, отдалились от колонны, тогда и начинай расправу, бей беззащитных, арестовывай их. Или пусть они остановятся на площади, затеют сходку.

Из конспиративных соображений члены партийного комитета непосредственно в демонстрации не участвовали. Во главе ее шли подкомитетчики. И когда вестовой дружины тайком доложил им о том, что творится на площади, они все поняли. Ловушка не устрашила их. Им вовсе не казалось, что выхода нет. Но его надо было найти. Найти не мешкая. Колонна, ничего не подозревая, мерно шагала под гору, к площади. Колонна уже приближалась к Второвскому пассажу, а Сергей и его товарищи все еще не осилили затруднения, не знали, куда повести демонстрацию. Но они не поддались замешательству, и выход был найден вовремя. Простой, нежданный-негаданный для полиции.

У площади, у недостроенного пассажа, ничего не подозревающая колонна, повинуясь голове ее, плавно описала полукруг и в лад бодрой песне пошла вверх по главной улице, обратно, к почтамту. Не доходя до него, развернулась на той же Почтамтской, взяв прежнее направление.

Обескураженная полицейская свора в бессильной злобе затребовала войсковой подмоги, которую власти, оказалось, втайне держали наготове неподалеку. И когда колонна вновь поравнялась с Второвским пассажем, свора осмелела. Выхватив револьверы и шашки, полицейские врезались в шеренги.

— Огонь!

Жиганули выстрелы боевиков. Несколько нападавших шмякнулись наземь. Остальные заметались, попятились, стреляя наобум. Боевики отшвыривали полицейских прочь, на панели. Вдруг послышалось:

— Казаки!

Из-за площади, справа, с Воскресенской горы, во весь опор

скакали всадники. Оставив держиморд, боевики заняли свои посты, ловя скупые команды «десятских». В несломанных шеренгах демонстранты прижались друг к другу. А казачья сотня, рассыпаясь в лаву, угрожающе нарастала. Все громче стучали копыта. Уже различались окаменелые обличия рубак. Замелькали орлы на высоких папахах. Сверкнула сталь оголенных шашек.

— Огонь!

Дружина дала револьверный залп.

Казаки дрогнули. Привыкшие к полнейшей безнаказанности, они шарахнулись кто куда. Многие поневоле спешились — тот свалился с перепугу или слишком низко поклонившись далекой пульке, этот просто не удержался в седле на вздыбившемся коне. Несуразно топчась, поредевшая лава застряла на площади.

Но с Миллионной надвигались жандармы. Казаки ободрились, выправили строй и врубились в колонну. А там опомнилась полиция, подоспели жандармы и присоединившиеся к ним на площади «благомыслящие». С находящегося по соседству базара спешили им на подмогу еще и еще «благомыслящие» — церковники-изуверы, пригородное кулачье, мясники, лабазники. Пьяные, раскосмаченные, они улюлюкали, размахивая ломами, дрекольем, поленьями.

Все смешалось. Выстрелы, свист нагаек, ржанье, хмельной гогот громил, крики избиваемых, брань, проклятья. Снег побурел. Подстреленный «благомыслящими», упал мальчик, из любопытства вышедший на улицу. Его растерзали. Дикие орды, осатанев, выискивали все новые и новые жертвы, нападали на самых слабых, беззащитных, упиваясь их муками.

Как обнаружили после Октября архивные документы, власти приказали, не стесняясь в средствах, захватить знамя, арестовать поголовно всех демонстрантов. Но и подпольщики и те, кто впервые вышел на демонстрацию, хотя и необстрелянные в подавляющем большинстве своем, неопытные, — все оборонялись сплоченно, отважно. Особенно ожесточенно и умно сражались боевики. Позабыв о себе, они действовали расчетливо, не забывая в пылу схватки строгого партийного наказа: не проявлять ненужного молодечества, ограждать беззащитных.

В самых опасных местах плечом к плечу с боевиками был Сергей. Враги приметили его. На него обрушился казак — Сергей увернулся, удар шашки пришелся вскользь и только рассек пальто. Подобрался второй казак — и отпрянул под наведенным в упор бульдогом товарища, спасшего Сергея. Казак выронил нагайку, не успев и замахнуться ею. Сергей поймал ее на лету. Ловкий, сильный, неуловимый, он то швырял камни в нападающих, то хлестал их нагайкой, то сбивал подножкой.

Друзьям навсегда запомнилось, как он, бледный, с бескровными губами, сосредоточенно-зоркий, бросался туда, где был нужнее всего. Туда, где стоны.

Туда, где кровь. Туда, где полосуют упавшего. И всюду напоминал, просил, требовал:

— Уходите в пассаж…

Партийным наказом было оговорено и это. В недостроенном пассаже, в проходных дворах вдоль намеченного пути движения демонстрации заранее все подготовили, чтобы в недобрый час послужили они прибежищем от погони. Полиция не поняла маневра — сама стала загонять демонстрантов в пассаж. Но там их встречали свои, боевики и курсистки-медички, помогая просочиться оттуда в окрестные улочки и закоулки, рассеяться по городу. Сотни демонстрантов постепенно вывели боевики в пассаж. Полиции удалось захватить там лишь человек двадцать.

Сергей и его уцелевшие товарищи оставили поле сражения последними.

Когда стемнело, он, избитый, вымотанный, пробрался на Магистратскую, в штаб-квартиру. Члены комитета и подкомитета делились тем, что выведали, Никто из демонстрантов не погиб, но пропал без вести знаменосец Осип Кононов. Его нет ни в тюрьме, ни в больницах. Кое-кто видел на демонстрации, как городовые избивали охранявших его боевиков, одолевали их, поодиночке увозили. Кое-кто видел, как отбрасывали, арестовывали других боевиков, пробивавшихся к окруженному знаменосцу. Кое-кто видел, как городовые рвали и не могли вырвать знамя из его рук. Ничего больше о нем не узналось. Всего арестовано примерно сто двадцать человек. Некоторых полиция захватила уже после побоища. Устроив облаву, она уволакивала раненых, которых приютили у себя дома чужие, добросердечные люди в прилегающих к пассажу кварталах. Прежде чем отправить арестованных в тюрьму, над ними зверски издевались в полицейском участке.

— Пусть нас заставили отступить, но победили сегодня мы, — говорил Сергей. — Если оружия будет больше и слаженности больше, все пойдет куда лучше. Главное в том, что мы стали на правильный путь…

Городской врач, связанный с подпольщиками, принес ужасную весть — Осип Кононов погиб. Городской врач разыскал его в морге университетских клиник. Лицо изуродовано, ухо отрублено. После нескольких ударов шашкой и нагайками юный знаменосец еще был, очевидно, жив и не сдавался, но его истоптали сапогами и пристрелили.

А знамени он не отдал, оно спрятано у него на груди.

— Знамя надо спасти.

Это сказал Сергей.

— Только не сегодня, — возразили ему. — Попадешь в лапы…

— Сегодня, сейчас.

Хотел ли он проститься с другом своим, опасался ли, что знамя исчезнет, но уговоры не помогли.

Кружным путем, минуя частые патрули, минуя собор, где в тот час верхи города и его подонки торжественно служили благодарственный молебен «за победу над крамольниками-супостатами», достиг Сергей университетских клиник, перемахнул через ограду. Сторож без дозволения начальства боялся открыть морг.

— Студент у нас пропал, — упрашивал его Сергей. — Должно быть, убили.

— Студент… — Старик повздыхал, нерешительно доставая ключи.

Сергей вернулся со знаменем.

Оно было в крови.

А демонстрация не прошла бесследно. Она всколыхнула население еще сильнее, чем вести о Кровавом воскресенье и учащавшихся столкновениях рабочих с полицией и войсками в крупных центрах страны.

Расправа над демонстрантами разгневала всех честных горожан. Пятьдесят два томских профессора потребовали немедленного прекращения насилий над молодежью. Университет и технологический институт бастовали. Бастовали рабочие. Никто не скрывал презрения к властям, к полиции и казачьей сотне. Днем, вечером, ночами проводились сходки, партийные собрания. Около двухсот томичей примкнули к социал-демократическому подполью. Десятки из них, позабросив все личное, полностью посвятили себя партийным заботам. Всполошившиеся власти ходатайствовали перед правительством, чтобы Томск объявили на военном положении.

30 января хоронили знаменосца Кононова, рабочего-печатника Осипа, Осю, как звали его друзья. Он рано осиротел, рос без отца и, трудясь с малых лет, окончил лишь два класса, но был начитан, учился на общеобразовательных курсах, увлекался математикой, мечтал об инженерстве. Не зря полиция, судя по ее первым донесениям о демонстрации, приняла знаменосца за переодетого студента.

Благодаря старшему брату Ося еще подростком связался с революционерами и обнаружил редкое в его возрасте достоинство: подобно Смирнову-Авессалому, он много делал и

мало говорил. Шестнадцати-семнадцати лет он уже был зрелым подпольщиком. В пору усилившихся преследований, когда партийная организация, страхуясь от провалов, вынужденно раздробилась на крохотные ячейки, «пятерки», связным между ними и комитетом стал надежный, осмотрительный Ося Кононов. Попав в тюрьму, он за несколько месяцев не проронил ни единого лишнего слова. Одаренного и скромного восемнадцатилетнего большевика любили, им гордились.

Он лежал в гробу, одетый в кумачовую рубашку. Впереди несли венки, увитые алыми лентами: «Дорогому товарищу, умершему за свободу». Среди тех, кто нес венки, мерно шагал, охраняемый боевиками, другой знаменосец. На высоком древке развевалось окровавленное знамя: «Долой самодержавие!»

Вместе с революционерами, с членами Общества книгопечатников за гробом шли люди, только на сходках, собраниях впервые услышавшие имя погибшего. Шли и люди, знавшие о нем лишь то, что прочли в распространявшейся повсюду листовке «В венок убитому товарищу», изданной Томским комитетом партии. Они присоединялись к молчаливому шествию и на Петровской улице, и на Обрубе, и на Почтамтской, той самой, где убили знаменосца, и на Соборной площади. На склоне дня боевая дружина, незаметно бравшая всех под защиту, насчитала свыше тысячи участников шествия, потом полторы, почти две тысячи.

После расправы над демонстрантами это было неожиданно — в сравнительно небольшом, пятидесятитысячном городе, который власти устрашали непрестанными бесчинствами.

Полицейские высыпали на улицы и, зловеще напоминая о недавней расправе, потянулись двойной цепью вдоль панелей.

Но всеобщее презрение к казачьей сотне и воздействие большевиков, распропагандировавших многих солдат, зародили в гарнизоне брожение, и твердо полагаться на войска власти уже не могли. Помимо того или как раз потому подпольщики дали понять властям, что дружина перевооружилась, стянула с линии боевиков-железнодорожников, и любую попытку нападения встретит отнюдь не предупредительными револьверными залпами. Полиция, набравшись страху двенадцатью днями раньше, почуяла, что шутки плохи, и предпочла держать руки по швам, осанисто выдавая свою трусость за пристойное безразличие к шествию.

Несколько часов длилось безмолвное шествие. Тишину нарушали лишь шелест, шуршание шагов. Уже стемнело, когда на кладбище все замерли вокруг открытой могилы. Ни один полицейский не посмел подойти к ней близко, ни один сыщик не

проскользнул. В сохранившемся поныне донесении полиция признала, что не смогла установить ни того, кто произносил надгробную речь, ни того, о чем он говорил.

Похороны, превратившиеся в величественную революционную демонстрацию, прошли спокойно.

Готовилась третья демонстрация, уже определился срок ее, но она сорвалась. 2 февраля полиция выследила сходку, арестовала сорок с лишним подпольщиков, в том числе руководителей намеченной демонстрации.

Арестовали на сходке и Сергея Кострикова. Дома у него при обыске нашли всякую нелегальщину и неотправленные письма политического содержания.

Хотя улики были вески, Сергей не растерялся, избрав себе в защитники молчание. На допросах он учтиво повторял:

— Ваши старания напрасны, ни на какие вопросы отвечать не буду.

Невозмутимое запирательство Сергея подстегивало следователя, который подолгу выматывал подследственного уличениями. Добиваясь признаний или хотя бы опровержений, следователь щеголял своей осведомленностью. Допрос неизменно переходил в «сольный дуэт», по шутливому выражению Сергея. Ему только того и надо было.

Возвращаясь в свою камеру № 33, он в темноте придвигал к подоконнику стол, взбирался на него, приникал к открытой форточке. В камерах справа и слева, у форточек, уже стояли начеку товарищи. Сообщая им то, о чем проболтался следователь, Сергей советовал, как лучше продолжать всем обусловленную заранее «игру в молчанку». Суть очередного «сольного дуэта» и добрые советы тотчас же передавались другим арестованным сходчикам.

Переговаривался Сергей с ближними камерами ежевечерне. Но вот помеха — рядом находился наружный пост часового. Между тем пустовала камера № 26, расположенная гораздо удобнее. Удалось сообразить, как попасть туда. Будто бы желая прикурить папиросу, Сергей потянулся к горящей лампе и «нечаянно» сбросил ее со стола. Разлившийся керосин вспыхнул. Выждав, пока пламя прихватит пол и закоптит штукатурку, Сергей и сосед его по камере № 33, словно в испуге, дробно забарабанили кулаками в запертую дверь:

— Пожар!

Надзиратели, неуклюже сбивая пламя и не жалея воды, испакостили помещение до полной непригодности.

Полуодетых «погорельцев» перевели в камеру № 26.

Неожиданно для Сергея весть об этом приключении облетела

весь корпус, где сидели политические заключенные. Скрасив на время тюремную хмарь, приключение очень приободрило многих — среди арестованных преобладали новички, не все они сразу свыклись с неволей.

Тогда Сергей затеял тяжбу из-за своего одеяла, обгоревшего при тушении пожара: наперед уверенный, что возится понапрасну, требовал возмещения убытка, придирался к начальству, спорил, письменно торопил с ответом.

Строго секретная тюремная переписка о пожаре и грошовом одеяле Кострикова сохранилась. Она убедительно дополняет воспоминания сибиряков о том, что оба приключения сочно изображались в лицах и дали-повод для высмеивания тюремщиков.

Недовольство тюремщиков и прокуратуры, которая никак не могла довести следствие до конца, нарастало. Их недовольство разделял начальник томского жандармского управления полковник Романов, настаивавший в секретном донесении на высылке Кострикова. Отмечая, что Костриков не захотел давать какие-либо показания по делу о нелегальной сходке, жандармский полковник раздраженно добавил:

«Во время содержания его под стражей вел себя весьма дурно, не подчиняясь требованиям тюремного начальства».

Но так как следствие ничего не выпытало ни у Сергея, ни у других, их постепенно освобождали. Сергея выпустили из тюрьмы одним из последних, 6 апреля.

С общеобразовательными курсами пришлось распроститься, а заодно и с самой мыслью о поступлении в институт, о высшем образовании: все личное подчинилось надличному, партийным обязанностям. В те дни, по воспоминаниям Крамольникова, приятель обронил в беседе;

— Мы с Сергеем будем инженерами, нет профессии завиднее, она откроет нам сердце каждого рабочего…

Сергей прервал его:

— Не быть мне инженером, да я о том и не жалею. Нет ничего завиднее, чем быть профессиональным революционером.

Это было глубоко продумано, выношено, раз навсегда решено. Сергей — или, лучше, Сергей Миронович — стал профессиональным революционером.

5

После освобождения из-под ареста его ожидал «самоарест»,

заведование типографией, поручение куда более сложное, чем кажется на первый взгляд.

Работать в подпольной типографии, выражаясь по-тогдашнему, «сидеть в технике», было трудно, и не только потому, что опасно, но и потому, что тяготила необходимость соблюдать тысячи предосторожностей. Избегая слежки, провала, «сидящие в технике» не показывались на людях, не посещали ни библиотеки, ни театра, ходить в гости тоже запрещалось, даже домой, в семью свою, приводилось наведываться лишь изредка. Затворничество, хотя и совершенно добровольное, вечная напряженность — в дверь могли постучать жандармы в любое мгновение — изнуряли, расшатывали нервы.

Но Сергей Миронович не страшился «самоареста», верил он и в товарищей, с которыми предстояло надолго уединиться в глуши непроезжего Лесного переулка.

Сергей Миронович покорился строгой необходимости столь непринужденно, что не равняться на него было нельзя. И труд, и еда, и выполнение домашних обязанностей, и сдабриваемый шутками досуг, и вечерние прогулки в саду, и сон — все чередовалось не по настроению, а по часам, как велел партийный комитет.

«Сидящие в технике» не ограничивались добросовестным выполнением обязанностей. Их увлекла неугомонная предприимчивость неистощимого на выдумки заведующего типографией.

Он не был новичком в пропаганде. Написанную им вместе с товарищами — подкомитетчиками листовку «В венок убитому товарищу» высоко оценили. Ее перепечатала большевистская газета «Вперед», которую Ленин издавал в Женеве. А еще раньше благодаря находчивости Сергея Мироновича подкомитет выпустил запоминающуюся листовку о войне.

Русско-японская война была в разгаре, все нетерпеливо ждали вестей с фронта, и до выхода газет повсюду продавались «правительственные депеши», печатавшиеся на узких бумажных лентах. Сергей Миронович предложил под видом таких депеш издавать нелегальные листовки. Тут же нашелся и удачный повод. Связанный с комитетчиками телеграфист перехватил секретнейшую телеграмму главнокомандующего царской армией в Маньчжурии Куропаткина. Он извещал царя о том, что генерал Стессель готовит к сдаче врагу крепость Порт-Артур.

Комитетчики дополнили телеграмму недвусмысленным послесловием. Листовка, выглядевшая как обычная «правительственная депеша», гласила:

«Из Чансямутуня от Куропаткина в Царское Село — Его

императорскому величеству. 10-го ноября через Чифу мною получена следующая телеграмма Стесееля: «После отправленной телеграммы от 15 октября бомбардировка продолжает усиливаться. Совершенно завалили форты 2 и 3, разрушив одиннадцатидюймовыми бомбами бетонный капонир рвов. Гарнизоны фортов держатся, но сильно пострадали. Убыль большая. Начиная с 12-го числа, уже более 1000 человек. 21 офицер ранен и 4 убиты. Приказал минировать форты. В крайности взорву».

Итак, последний козырь в затеянной войне скоро будет выбит из рук царского самодержавия.

Русский рабочий класс, а вместе с ним и весь угнетенный народ должны быть наготове, чтобы в удобный момент смело броситься на внутреннюю крепость царского самодержавия и на развалинах царского трона провозгласить народную республику.

Смерть царской монархии!..»

Этот прием Сергей Миронович использовал и заведуя типографией.

Томский епископ Макарий пописывал брошюры во славу господню и раздавал их после молебствий. По просьбе подпольщиков печатник епархиальной типографии незаметно вложил в каждую брошюру по листовке, и преосвященный Макарий, не ведая о том ни сном ни духом, самолично вручал ее верующим в придачу к собственной писанине.

Снова утруждать преосвященного, возбуждать его подозрительность не стоило. Проще было другое. Бог свидетель, «сидящие в технике» немало потрудились, печатая брошюру-листовку, неотличимую внешне от сочинений епископа — такая же обложка, точно такой же шрифт. И начиналась она зело боголепо. Зато дальше уже начистоту говорилось все, что хотел сказать Томский комитет РСДРП

Подобные приемы, граничащие с озорством и необходимые, чтобы расшевелить косные умы, чурающиеся «крамолы», придумывались сами собой. Сергею Мироновичу, как механику, легко было наладить безотказную работу типографии. При жалких возможностях тиражи небывало возрастали.

Но заведующего типографией заботила не только техника. Он обращал внимание и на содержание, на язык листовок. Некоторые томские комитетчики писали отлично. Однако Сергей Миронович еще прежде приметил — иные листовки не очень-то понятны для малограмотных или тех, кто далек от общественной жизни.

По его мнению, с наброском каждой листовки следовало знакомить рабочих-подпольщиков на коротких собраниях, «летучках», советуясь, что изменить, убрать, добавить.

Непривычный способ одобрили, постепенно его перенимали в разных городах, а в Томске он утвердился сразу. Все-таки приносимые в типографию рукописи, случалось, огорчали Сергея Мироновича.

— Мимо души…

Сообща с товарищами он черкал-исправлял принесенное. Верный усвоенному с детства — двадцать раз переделаю, лишь бы было хорошо, — неутомимо искал меткие слова, волновался, ерошил волосы, отчего товарищи пошучивали, будто их заведующий пишет не ручкой, а всей пятерней. После того как партийный комитет принимал исправления, рукопись шла в набор.

Теперь уже не проследить, что именно привнес Сергей Миронович в эти листовки, да и почти все они потеряны. Но сохранившиеся хороши и, вероятно, не могли не брать за душу, судя хотя бы по отрывкам из листовки, обращенной к солдатам:

«Не увидеть тебе больше ни отца, ни матери, ни жены, ни детей. Забудь их, солдат, не вспоминай.

Забудь своих братьев и сестер. Забудь родных и товарищей. Они с голоду умирать будут, они в рубище ходить будут. Забудь, солдат. Помни, ты на смерть идешь.

Забудь поля родные, и двор, и дом. Не увидеть тебе их больше… Помни, ты идешь на службу царскую. Вырви грусть из души своей. Вырви жалость. Все дорогое выброс ь из памяти. Любил ты кого? — Забудь! Твоя милая другого полюбит, твою милую другие любить будут. Не веришь? Постой, коли бедна она, любовь ее за деньги купят…

Помещики, фабриканты, купцы — все, у кого богатство есть и связи, те дома останутся. Они и над сестрами твоими надругаются. Им жизнь всласть. А ты иди — тебе умереть надо.

Иди, солдат, и не оглядывайся!..

Сердца добрые порывы и жизни радость, к счастью трепетное стремление и любовь, всю душу свою уничтожь, не нужна она! Царю только тело твое нужно: нужны твои руки, чтобы убивать японцев, нужна твоя грудь, чтобы подставлять ее под вражеские пули».

Дальше:

«Ведут тебя на японского крестьянина, ведут тебя и на собственного брата — мужика или рабочего. Ведут усмирять народ. Когда ты ружье подымешь к прицелу, помни, в твоей деревне или в твоем родном городе такой же, как и ты, солдат в это время, быть может, ружье подымает на твоего родного отца и брата! Если все же рука твоя не дрогнет — стреляй!..

Стреляй, солдат! Отцу и брату стреляй в глаза, матери и

сестрам — в сердце! Чтобы не видели глаза отцовские, на кого ты руку подымаешь. Чтобы не болело сердце материнское о том, до чего пришлось дожить.

Убивай, солдат! Подымай на штык жен беззащитных и детей! Такова воля царская…

Стон и плач идут по всей русской земле. Солдат, ты слышишь ли? То плачут жертвы царской расправы, то стонет народ под рабским ярмом. В госпиталях лежат окровавленные тела — не враг их изранил, а рабочие руки русского солдата.

Вдумайся, солдат! Кто твой враг и где он?..»

Типография в Лесном переулке благодаря Сергею Мироновичу проделала невероятно много, выпустив за несколько недель десятки тысяч злободневных листовок. Они расходились по всей Сибири, проникали в воинские эшелоны, в окопы Маньчжурии.

Все это было лишь разбегом. Основные же издательские замыслы не привелось исполнить. Из тщательно оберегаемой глуши Лесного переулка Сергея Мироновича вырвала беда.

6

Беду принес Гутовский, который звался еще Симоновым, Газом, Маевским, Седоком и так далее. Одаренный, смелый, неутомимый, он мог служить олицетворением подпольщика. Ничто не предвещало его падения, как падение не предвещало впоследствии позднего раскаяния и трагической смерти Викентия Аницетовича Гутовского.

Он был одним из руководителей Сибирского союза РСДРП. Побывав за границей как представитель этого союза, Симонов-Гутовский втихомолку связался там с меньшевиками, а с Лениным даже не увиделся, оставив ему послание. Обзывая меньшевиков анархистами и дезорганизаторами, Симонов тем не менее домогался перемирия с ними, противореча собственному суждению о них.

Владимир Ильич подробно ответил Сибирскому союзу, растолковывая Гутовскому-Симонову пагубность его домогательств. Написала в Томск также Надежда Константиновна Крупская, обеспокоенная странной двойственностью сибирского представителя. Оба письма исчезли. Утаил их Гутовский или нет — неизвестно. Во всяком случае, он ни о своем лицемерном послании Ленину, ни о своих связях с меньшевиками сибирякам не говорил и по-прежнему считался большевиком.

А весной 1905 года он с мандатом в Лондон, на III съезд партии, самовольно, по-дезертирски отправился в Женеву, где собрались меньшевики. Они отблагодарили перебежчика, избрав его членом своего ЦК, так называемой организационной комиссии.

В июне, когда Гутовский возвратился из Женевы, созвали в Томске конференцию Сибирского союза РСДРП. Кроме трех десятков делегатов, присутствовали еще несколько партийных профессионалов и среди них Сергей Костриков. Поначалу делегаты принялись честить Гутовского. Но он, с блеском отбиваясь, блестяще наступал. Он брал не правотой, а игрой на сложностях и злоключениях, которыми изобиловали подпольные будни. Телеграмма о его дезертирстве, посланная Лениным и Воровским в Сибирь, пропала. Направленного туда участника III съезда Крамольникова арестовали в пути.

Не ведая, что в действительности было и чего не было в Лондоне и Женеве, большинство делегатов томской конференции бродили впотьмах и верили Гутовскому. Гутовский же вовсе не призывал идти к меньшевикам и твердил, будто он не перебежчик, а промежуточный наблюдатель внутрипартийных схваток. Ему верили и растерянно поддавались его уговорам.

Сергей Миронович уловил, что Гутовский, которого знали в подполье как Газа, лукавит, и не только сейчас, на конференции.

Еще двумя годами раньше Гутовский-Газ самовольно, незаконно выдал мандаты на II съезд партии Троцкому и иркутскому врачу Мандельбергу, столь же шаткому в марксизме. На съезде они пошли против Ленина. Сибирский союз и все его местные комитеты после съезда наотрез отмежевались от обоих лжеделегатов. Самоуправство Газа сочли случайной ошибкой. Ему продолжали доверять. Видимо, Газ, погрязший потом в меньшевистком болоте, ловко маскировался.

А теперь стало очевидно намерение Газа увести в болото побольше товарищей. Потому, не иначе, он ополчается против всего, что сам отстаивал. Кое-кто из меньшевиков издевался в свое время над Смирновым-Авессаломом, призывавшим заблаговременно готовиться к вооруженному восстанию. И вот, когда оно уже назревает, Газ, напомнив о разогнанной январской демонстрации, тоже посмеивается: с бульдогами и лефаше самодержавия не свергнешь. Посмеивается, хотя совсем недавно в револьверных залпах демонстрантов слышал грядущий грохот мортир.

— Это измена, — говорил Сергей Миронович товарищам. И ему было больно за подпольщика Газа, развенчавшего себя. Он горевал, предвидя, какой ущерб делу принесет измена

пользовавшегося влиянием Газа. Эта измена вносила раскол в партийные ряды, она была сущей бедой.

К концу конференции в Томск прибыл издалека разъездной организатор Сибирского союза РСДРП Баранский — Николай Большой, тот, что главенствовал на сходке в татьянин день. Не по-приятельски свиделись приятели, стоявшие прежде рука об руку во главе Сибирского союза. Скрестились пылкая прямота Николая Большого и тонкая хитрость Газа, вынужденного, впрочем, отступать перед осведомленностью бывшего друга. Общее настроение конференции начало склоняться в пользу ленинцев, но поздно. Почти обо всем наиважнейшем уже были приняты меньшевистские или примиренческие решения.

Гутовский-Газ вскоре уехал в Петербург, где был известен как меньшевистский литератор Маевский. Тринадцать лет шел он ложным путем. После Октября, очутившись опять в Сибири, Гутовский понял, как жестоко заблуждался, и был расстрелян колчаковцами на исходе 1918 года.

7

По желанию Кононовой, матери погибшего знаменосца, Сергей Миронович поселился у нее, когда расстался с подпольной типографией.

Вновь и вновь перечитывал он «Что делать?» и полученные, наконец, решения III съезда партии.

Непоколебимый, спокойный, по-прежнему щедрый на улыбку, он знал, что делать, и этим привлекал многих партийцев. К нему потянулись и подкомитетчики братья Дробышевы, и боевики Алексей Степанович Ведерников с Николаем Ефимовичем Ивановым, и понаторевшие в подпольной «технике» студенты Иннокентий Васильевич Писарев с Михаилом Александровичем Поповым. Попов даже перебрался из отчего дома к Сергею Мироновичу. Их комната у Кононовой, сторожихи Общества книгопечатников, стала комитетской штаб-квартирой. Придерживался ленинских позиций и видный в будущем деятель советского здравоохранения Вольф Моисеевич Броннер, в доме которого тогда была основная штаб-квартира Томского комитета РСДРП.

Среди других активистов, а также рядовых партийцев, по определению Баранского, преобладало примиренчество. В одном они шли с ленинцами, во втором, третьем — с раскольниками. Это объяснялось и слабостью рабочей прослойки в городе, и

влиянием Гутовского, и тем, что в Сибири, крайне отдаленной и оторванной от ведущих партийных центров, очень трудно было разбираться во все усложняющихся разногласиях. Большевики-активисты в борьбе против сторонников Гутовского опровергали доводы раскольников, разоблачали их происки, добивались признания законности III съезда партии. Благодаря этому и терпеливому разъяснению решений съезда некоторая часть примиренцев, колеблющихся перешла на сторону ленинцев. Но только некоторая часть. Естественно, создавать самостоятельную большевистскую организацию было преждевременно, тем паче что в комитете главенствовали меньшевики. Социал-демократическая организация оставалась по-прежнему объединенной.

Не порывая с меньшевиками, ленинцам надо было убеждать трудящихся, что только вооруженная борьба обещает подлинную свободу. Большевики готовили их к массовым политическим стачкам, которым в удобный момент предстояло перерасти в вооруженное восстание. Готовили его и томские большевики, напоминая рабочим о неустрашимости знаменосца Кононова. Сергей Миронович и его товарищи не ограничивались беседами в нелегальных кружках, выступлениями на учащающихся загородных массовках.

Еще весной кто-то подал мысль — соорудить надгробие на могиле Оси Кононова и к железным прутьям кованой ограды прикрепить проволокой пули в напоминание о том, что он не своей смертью умер. Теперь вернулись к этой мысли, и не только из желания воздать должное покойному другу. Не зря же посвященная ему листовка заканчивалась призывом:

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках.
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни песен, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучший почет.
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед.

Чтобы соорудить памятник, нелегально пустили в трудовой среде полсотни подписных листов. Взносы потекли в партийную кассу. Пятаки и гривенники, получаемые от рабочих, стоили больше иных сотенных ассигнаций. Еще важнее было другое: большевики исподволь выверяли тех, к кому обращались с подписными листами.

Для тружеников Кононов был отнюдь не одним из далеких, малопонятных подвижников, жертвовавших собой ради мимолетных удач. Перед теми героями-мучениками, вроде народовольцев-террористов, преклонялись, ничего у них не беря, ничему не учась. Кононов же был и остался своим среди своих, как пример: никогда не отшатывайся назад, не страшись неизбежных жертв, неси вперед красное знамя.

К открытию памятника приурочили стачку. Накануне провели нелегальную сходку, чтобы удостовериться, не расхоложены, не запуганы ли рабочие все новыми вестями о расправах, чинимых царскими властями то в Иваново-Вознесенске и Варшаве, то на Украине, в Прибалтике, на Кавказе.

Вечернюю сходку близ станции Томск-1, тогда называвшейся Межениновкой, охраняла боевая дружина. Дружина была во всеоружии, и полиция, благословляя наступившую тьму, притворилась незрячей. Оторопелый полицмейстер Никольский кинулся к казакам, а те' вопреки приказу быть наготове валялись на нарах, собираясь спать. После пререканий с Никольским казаки лениво принялись седлать коней и еще ленивей двинулись к пристанционному леску, где уже не застали никого из участников трехчасовой сходки.

5 июля, под вечер, при тысячном стечении народа на могилу Кононова опустили надгробие белого мрамора, сразу потонувшее в венках, в охапках полевых и садовых цветов, в лентах, таких же алых, как развевающееся над ними окровавленное знамя. Ни одного полицейского, ни одного шпика не подпустили к трибуне этой первой открытой сходки. Прогарцевавшую в отдалении казачью сотню проводили оглушительным свистом.

Стачка началась, и ее руководители, большевики, были вездесущи. Почти всюду видели и Сергея Мироновича. Ранним утром у печатников, днем — у металлистов, мебельщиков, ночью — у булочников. Он «снимал» их, то есть уводил с работы в строгом порядке. Вместе с печатниками «снял» работниц казенного винного склада. Вместе с подкомитетчиками остановил спичечную фабрику.

Власти, подняв в ружье свои силы, слали куда надо и куда вовсе не надо воинские команды, караулы, дозоры из полицейских и солдат. Но те на рожон не лезли, боясь боевой дружины. Это ободрило самых нерешительных среди рабочих. Закрылись кожевенные предприятия, шляпные и картузные мастерские, некоторые магазины — стачка.

Что ни день, она ширилась. К ней примкнула часть железнодорожных служащих. Они у себя, в управлении Сибирской дороги, устроили химическую обструкцию: насыпали в

чернильницы какой-то дряни, воздух кругом испортился, и все не соглашавшиеся бастовать поневоле пустились наутек из своих кабинетов. Врываясь в административные учреждения, стачечники забирали с собой на улицу, на загородные массовки всех охотно поддававшихся уговорам. А кое-откуда, как из Казенной палаты, чинуш выкуривали вон нестерпимые запахи химической обструкции.

Общегородская стачка, оберегаемая боевой дружиной, почти две недели держала власти в узде навязанного им благоразумия; полицейские и солдаты ни разу не открывали огня. Это была для подпольщиков дельная разведка накануне приближавшихся мощных революционных сражений.

Тогда, в июле, девятнадцатилетнего Сергея Кострикова избрали в члены Томского комитета партии.

8

Пока Сергей Костриков заведовал типографией, охранка полагала, будто он куда-то скрылся, а во время стачки обнаружила его и взяла под наблюдение.

Слежку поручили переодетому в штатское жандарму-усачу, выдававшему себя за приятеля Сергея Мироновича. По утрам, едва Сергей Костриков с Михаилом Поповым отлучатся из дому, усач поднимался на второй этаж, к Кононовой. Он донимал старушку расспросами, не подозревая, что и сам попал под наблюдение и что по его разглагольствованиям комитетчики судят об осведомленности и намерениях охранки.

Когда выуживать из него уже было нечего, Костриков и Попов спустили его с лестницы. Пересчитав крутые ступени, жандарм потерял охоту навещать Кононову.

Вскоре Сергея Мироновича неожиданно послали на станцию Тайга.

Это перемещение превратно истолковывали. После гибели Кирова не раз писали, будто он по собственной воле засел в Тайге, чтобы создать там какой-то противовес томскому меньшевистскому засилью.

Неверно это. Тайгинские железнодорожники, хотя ими и руководили большевики, никак не могли превратиться в силу, опасную для томских раскольников. Тамошних раскольников возглавляли опытные профессионалы. Они умело опирались и на примиренцев, и на незрелые слои рабочих-полупролетариев, и на многочисленную интеллигенцию, в большинстве своем вежливо

порицавшую или сурово осуждавшую мерзости царизма, но отнюдь не склонную сражаться против него с оружием в руках.

Все было иначе.

Вокруг Кострикова группировались энергичные партийцы-ленинцы, Июльская стачка укрепила их позиции. Не зря на конференции, проведенной сразу после стачки, в комитет избрали Кострикова и Попова. О большевистском ядре партийной организации и его штаб-квартире узнали и за пределами Томска. Партийцы, наезжавшие в Томск из разных городов Сибири, нередко обращались за литературой, за советом и помощью туда, в штаб-квартиру у Кононовой, а не к комитетским заправилам. Идейная непоколебимость и все более заметное влияние Кострикова очень мешали меньшевикам, стремившимся безраздельно господствовать в Томском комитете РСДРП. Поэтому им хотелось удалить Кострикова, хотя бы на время избавиться от него. Подвернулся благовидный предлог: тайгинцы, готовясь к стачке, просили направить к ним агитаторов, в том числе Кострикова. Просьбу поспешили уважить, хотя в Тайге находился талантливый подпольщик Иннокентий Писарев. Вскоре услали из Томска и члена комитета Михаила Попова. Умысел очевиден — из троих большевиков-комитетчиков в городе остался один лишь доктор Броннер.

В Тайге насчитывалось около тысячи железнодорожников. Угнетаемые нуждой, непомерно растянутым рабочим днем, унижениями, штрафами, болезнями, скученностью в битком набитых казенных жилищах, тайгинцы собирались забастовать. Забастовку они хотели начать немедленно. Но Сергей Миронович вынужден был охладить их пыл.

— Рано.

Партийцы рвались из подполья, Сергей Миронович воспротивился:

— Рано.

Еще нужно было будить сознательность у движенцев, тяговиков, путейцев, у слесарей и токарей паровозного депо. Многими из них пока двигала только стихийная ненависть к начальству. Еще необузданно хозяйничали на станции полицейские и жандармы — «грачи» по-тамошнему. Еще неоткуда было ждать поддержки.

Сибирский союз РСДРП после томской конференции перестал руководить рабочим движением. Партийные организации городов и районов обширной окраины страны, предоставленные сами себе, действовали вразнобой. Выступления железнодорожников в Чите, Иркутске, Красноярске, Омске, хотя и смелые, захлебнулись из-за неодновременности, вредной очередности, ползучести.

Самостийные, внезапно обрывающиеся выступления не вылились во всеобщую стачку Сибирской и Забайкальской дорог. Призыв к ней повис в воздухе. Почуяв, что социал-демократию — «крайнюю партию», как ее называли, — треплет странная лихорадка, власти взбодрили притихшую было полицию. Полиция вновь свирепствовала. В Красноярске полицейские, напав дважды подряд на безоружных рабочих, многих ранили, а двоих убили.

Оттого Сергей Миронович настораживал тайгинцев: никакой поспешности, никаких оплошностей. Парень в косоворотке минута в минуту появлялся там, где заранее было условлено: то в депо, то в пакгаузе, то на летучем собрании в доме у надежного рабочего, то в лесу, среди боевиков, будто бы собирающих дикорастущий чеснок — черемшу. Найти Сергея Мироновича мог только Писарев.

Сергей Миронович приучился есть раз в день. Наведываясь мимоходом в свое тайное пристанище, заброшенный сарай, он от случая к случаю забывался в чуткой, зыбкой дреме и затем по три-четыре дня вовсе не смыкал глаз, пошучивая, что действует круглосуточно, как железная дорога. Бывая наездами в Томске, отсыпался у родителей Михаила Попова или у Кононовой. Перекусив, уступал усталости:

— Выпускай волю на волю, Сергей.

Перенапряжение сил привело к нелепому происшествию, которое вспомнилось Кирову спустя четверть века с лишним. Тогда, в последний год жизни, он страдал неподдающейся лечению бессонницей. Однажды родные заговорили о его мучительном ночном бодрствовании. Чтобы унять их беспокойство, Киров с подробностями, от которых не покатываться со смеху было нельзя, рассказал, как осенью 1905 года опростоволосился в гостях у Поповых.

После целой недели без сна он из Тайги приехал к ним субботним вечером. Они собирались в оперу. А в квартире было натоплено, мать Михаила Попова, как обычно под воскресенье, напекла вкусных пирогов, на столе белела накрахмаленная скатерть, усыпляюще пошумывал самовар. Сергей Миронович предпочел остаться дома, хотя и был театралом. Поужинав, хозяева ушли, а он лег спать. Вернулись Поповы из театра, позвонили. Гость не откликнулся. Опять потянули ручку звонка — только колокольчик заливается. Стучали кулаками, ногами. Изнутри — ни шороха. Не на шутку перепуганные, хозяева взломали наружную дверь. Взломали и ту, что вела в комнату гостя. Он и ухом не повел, а наутро, проснувшись, удивился:

— Вчера дверь вроде бы цела была…

Когда осенью, в октябре, начиналась всеобщая политическая

забастовка, к ней в Сибири присоединилась первой узловая станция Тайга. Избранный заранее стачечный комитет — стачком, выйдя из подполья, захватил власть на станции мгновенно и безраздельно. Благодаря тайно укрепленной боевой дружине он без единого выстрела овладел и полным оружия железнодорожным цейхгаузом и казенной кассой.

«Грачей» разоружили, они сбежали. Вопреки опасениям тайгинцев всюду царил порядок, хотя на станции осели восемьсот бывших уголовников — малая толика хлынувших в Сибирь поселенцев с Сахалина, южную половину которого Россия уступила Японии после окончившейся в августе войны.

А движение на железнодорожном узле не замерло. Из Маньчжурии прибывали составы, переполненные рвавшимися домой солдатами. Задерживать их было преступно. Тайгинцы, не прерывая стачки, гнали на запад гораздо больше воинских эшелонов, чем прежде. Так велел стачком. Его влияние настолько возросло, что ему во всем беспрекословно подчинялись, с ним во всем считались, к нему обращались с самыми неожиданными житейскими просьбами, семейными заботами и неурядицами.

Царский манифест, провозглашенный 17 октября, не обманул тайгинцев. Под воздействием стачкома их ответом на «свободы», обещанные царем, было единодушное: «Долой самодержавие!»

Но единодушие все-таки не успело закалиться. Поползли слухи, что со станции Боготол завезут штрейкбрехеров и что на усмирение тайгинцев двинут войска. И некоторые железнодорожники спустя сутки заколебались. Слухи были обоснованными. Навстречу солдатам, шедшим в пешем строю со станций Ижморская и Поломошная, выслали большевиков-агитаторов. В Боготол поехал на паровозе Сергей Костриков.

Он собрал всех, кого завербовали в штрейкбрехеры. Сергей Миронович говорил с ними о самом простом. О впервые введенном в Тайге восьмичасовом трудовом дне. О тайгинцах, впервые в жизни получивших накануне заработок не от чиновников, а из рук товарищей-стачкомовцев. О верующих, которые, прежде чем стать под кумачовые знамена стачки, молились в церкви. Доводы разума были сильны, а еще сильнее была просьба этого приезжего парня в распахнутом полушубке поверх косоворотки. Он мягко просил боготольцев подумать о тайгинцах, тоже имеющих жен и детей. Просил, как просят за родную мать, за отца. Враждебность толпы сникла, покоряясь, скорее всего, влюбленности парня в тех, за кого он вступился.

Все нанятые в штрейкбрехеры, все до единого, отдали всученные им задатки обратно артельщикам-вербовщикам.

Стачка в Тайге прошла с большим успехом.

А Сергей Миронович возвратился в Томск — там свершилось страшное злодеяние. По наущению губернатора Азанчевского-Азанчеева и епископа Макария черносотенцы под охраной войск 20 октября окружили и подожгли управление Сибирской дороги, где, кроме служащих, находилось множество рабочих-железнодорожников и жен их, пришедших и съехавшихся с линии за получкой. От огромного трехэтажного здания остались одни стены. Кто не погиб в огне, тех вылавливали, убивали, увечили.

Томск словно оцепенел в смятении и страхе. Оцепенел на долгие недели.

9

Сергей Миронович восстанавливал томскую боевую дружину, почти что распавшуюся по вине меньшевиков: Смирнова-Авессалома еще летом перевели в другой город. Боевики раздобыли винтовки и карабины. Наладили изготовление бомб. Обучали стрелков и бомбометателей. Обучали «десятских» по военным уставам. Боевая дружина становилась грозной силой. Полиция и жандармы вновь Трусили перед ней.

Струсили и черносотенцы. Они вздумали было провести манифестацию и скликали всех подонков. Большевики потребовали отмены манифестации, предупреждая погромщиков, что на этот раз они не уцелеют.

Черносотенную манифестацию отменили.

Влияние большевиков, вышедших из подполья, усиливалось. Ленинская идея вооруженного восстания нашла отклик и среди тех тружеников, которые раньше далеки были от политики и которым открыла глаза лживость царского манифеста, давшего свободу лишь черной сотне. Томичи жертвовали деньги на покупку оружия, приносили в дар золотые часы, кольца, серьги. Но меньшевики в партийном комитете упорно противились покупке оружия. Они хитрили, лгали, увиливали от вооруженной борьбы, срывали подготовку к восстанию. Вспоминая о том, Сергей Миронович говорил спустя много лет:

— Я прекрасно помню собрания, когда мы в количестве пяти-семи человек обсуждали вопрос о необходимости немедленного свержения царского самодержавия. И вот во время обсуждения этого сугубо важного вопроса у нас моментально обнаруживался какой-то разнобой, и, вместо того чтобы пойти на фабрику, завод, прийти к рабочим и рассказать им о нашей программе действий, мы сейчас же набрасывались друг на друга, не находя общего

языка в основных вопросах революционной борьбы… Опыт 1905 года прекрасным образом проэкзаменовал нас, доказал всю вредность нашего незаконного сожительства… Мы поняли, что нужно провести резкую грань между нами и правым крылом нашей партии…

Схватки между большевиками и меньшевиками в Томском комитете РСДРП не затихали. А общая обстановка в стране ухудшалась. Восстания и забастовки в крупных центрах были сломлены. На расправу с революционерами правительство бросило военщину.

В Сибири было объявлено военное положение. Вдоль железной дороги неистовствовали две карательные экспедиции. Их двинули туда по приказу царя и его дяди-тезки, которого он звал Николашей. В одном из личных писем царь похвалялся:

«Николаше пришла отличная мысль, которую он предложил, — из России послан Меллер-Закомельский с войсками, жандармами и пулеметами в Сибирь до Иркутска, а из Харбина Ренненкампф, ему навстречу. Обоим поручено восстановить порядок на станциях и в городах, хватать всех бунтовщиков и наказывать их, не стесняясь строгостью».

Каратели всюду хватали беззащитных людей, зачастую без всякого повода избивали их, калечили. Десятки рабочих, профессиональных революционеров были расстреляны без суда и следствия. Расстреливали в депо, на станционных перронах, у водокачек. В городах шли повальные аресты.

Некоторое время Сергею Мироновичу удавалось скрываться. Он заведовал типографией и должен был поехать в Петербург и Москву за печатными машинами. Но 30 января 1906 года его арестовали: он попал в засаду на квартире у комитетского казначея. Сергей Костриков был очень нужен партийной организации, и товарищи в апреле добились освобождения его до суда, под крупный залог. Деньги внесли через частное лицо.

Сергей Миронович принялся устраивать побег семерым партийцам, оставшимся в тюрьме. Им передали пару сапог, в подошвы которых заделали дюжину ножовочных пилок.

Арестованные подпилили оконную решетку. Дождливой ночью они проникли в тюремный двор. Приставили к каменной стене плаху, загодя спрятанную близ покойницкой, и одолели стену. Около тюрьмы рос мелкий березняк, переходивший в густолесье, где бежавших ожидали Сергей Миронович, Николай Дробышев и другие партийцы. Но бежавшие заблудились, и двоих из них жандармы поймали утром.

Пятеро ускользнули от преследователей. Среди них, к слову, был подпольщик Иван Федорович Серебренников. Он

благополучно пришел на явочную квартиру, к зубному врачу Надежде Германовне Блюмберг. И тут случилось неожиданное — Иван Федорович влюбился в Надежду Германовну. Вскоре они, поженившись, переселились во Владикавказ, где Иван Серебренников служил секретарем городской управы. Ровно через три года, когда Сергею Мироновичу пришлось бежать из Сибири, его гостеприимно приняла во Владикавказе чета Серебренниковых.

Томские партийные типографии, созданные в разгар революции, полиция раскрыла. Сергей Миронович посоветовал соорудить крупную типографию — подпольную в буквальном смысле слова, подземную. Партийный комитет купил дом на окраинной Аполлинариевской улице. Новым домовладельцем числился городской врач Грацианов, сочувствовавший революционному движению, а впоследствии скатившийся в белогвардейский лагерь и ставший членом правительства у Колчака. Оформив купчую, Грацианов сдал дом в аренду иркутской мещанке Газиной.

Под фамилией Газиной скрывалась профессиональная революционерка Августа Александровна Кузнецова, землячка Кирова, уроженка Глазова Вятской губернии. Ее знал Владимир Ильич Ленин, ценила Надежда Константиновна Крупская, вместе с которой Августа Кузнецова в эмиграции несколько лет занималась шифрованием партийной переписки. Возвратившись на родину, Кузнецова была арестована в Киеве, сослана в Якутию, бежала, скиталась и в 1904 году надолго осела в Томске. Кузнецова много сил отдавала материнским заботам о благополучии и безопасности партийцев.

Шифры, явки, секретные письма, фальшивые паспорта, побеги, тайная перевозка литературы, нелегальные типографии — все это сосредоточилось в руках Августы Александровны. И действовала она в полушаге от полицейских, жандармов, сыщиков. Но ни полицейским, ни жандармам, ни сыщикам не удалось ни арестовать ее, ни хотя бы проведать, что именно Кузнецову разыскивали по всей России еще как Александру Николаевну Газину да еще как некую Ольгу Константиновну, бесфамильную подпольщицу, неуловимую подобно призраку. Ольга Константиновна — это было основное партийное прозвище Кузнецовой.

Школу конспирации прошли у нее сотни партийцев, в том числе Киров и Валериан Владимирович Куйбышев. После первой русской революции неизбывное горе Августе Александровне принесли углубившиеся до враждебности разногласия между большевиками и меньшевиками, одинаково дорогими ей людьми,

которые очутились по обе стороны баррикад. Кузнецова рассталась с политической деятельностью.

Киров всегда тепло отзывался об Августе Александровне. Летом 1925 года он вместе с нею, Куйбышевым и еще несколькими сибиряками сфотографировался в память о прошлом. Беспартийная, Кузнецова на склоне лет жила и скончалась в доме для престарелых большевиков.

Все хлопоты о подземной типографии на Аполлинариевской улице взяла на себя Кузнецова. Проектировщиками и исполнителями были, кроме Сергея Мироновича, Михаил Попов, слесарь Егор Алексеевич Решетов, опытный подпольщик, и молодой партиец, столяр Герасим Иванович Шпилев.

«Работали весьма упорно», — писал потом в автобиографии Киров. Но, конечно, умолчал, что от лопаты у него на руках вздулись кровавые волдыри. Из-за боли он лишился сна. Как писал потом Попов, Сергей Миронович ночами сидел на полу, покачивался, напоминая татарина из горьковской пьесы «На дне». К утру боль затихала.

Вчетвером вырыли большое, глубокое подземелье. Своды укрепили кирпичными столбами. Стены обшили тесом. Проникнуть в типографию можно было только через потайную дверь. Из квартиры спускались в погребицу. Вытаскивали из стены малоприметный сучок. Совали в отверстие хитроумный ключ. Вся стена, стоявшая на роликах, откатывалась. В подполье прекрасно действовала вентиляция. Сигнализацию тоже придумали отличную. Наверху было несколько крючков, и если на любой из них повесить пальто или шапку, в подземелье дребезжал звонок. Уже поставили печатный станок, завезли чугунную печь, кое-какую мебель. Ожидали шрифт.

И все пошло прахом, несмотря на строгие предосторожности.

Связь с внешним миром поддерживал студент Эхиель Моисеевич Левинский, по прозвищу Князь. Приближалась очередная волна повальных арестов, и полиция с жандармерией, следя почти за всеми студентами, взяли на заметку и Князя. Его главнейшие операции по закупке и доставке всего необходимого для типографии полиция упустила, но поведение Князя сочла подозрительным. К нему приставили троих филеров.

7 июля они незаметно выследили Князя, когда он, купив чугунную печь, два стола и две табуретки, поехал со своими приобретениями не домой, а на Аполлинариевскую улицу.

19 июля, поутру, калитку в типографский двор распахнули полицейские. Обыск. Рыскали всюду. Рыскали долго. Рыскали зря. Хотя ничего не обнаружили, арестовали и Кострикова, и Попова, и Шпилева.

Левинского и Решетова, ночевавшего дома, тоже забрали. Газину, разумеется, не нашли.

10

Сергея Мироновича посадили в камеру № 28 секретного корпуса хорошо знакомой загородной тюрьмы. Спустя два десятилетия Киров писал, что по ночам этот одиночный корпус оглашался душераздирающими криками смертников. Уводимые на казнь, они прощались с товарищами и с жизнью.

Жалкие и без того права политических заключенных урезывали. Заключенные не сдавались. Особенно серьезной была стычка 30 сентября. Начальник тюрьмы Леонович в последний день своего отпуска, обойдя одиночки, вздумал отменить послабления, которых в его отсутствие добились обитатели секретного корпуса. Одиночки запирались только на ночь.

Леонович приказал держать их на замке круглые сутки. Заключенные возмутились. Вооружились кто чем. Сергей Миронович у себя в одиночке разобрал печь. Кирпичей хватило и для соседей. Глухой корпус вмиг преобразился. Громкая брань, проклятья. Звон стекол. Треск срываемых с петель оконных рам. Стуки, грохот выбиваемых дверей.

Солдаты караула беглым огнем ударили по окнам, ранили двоих заключенных. В коридоры вбежали надзиратели с револьверами в дрожащих руках.

И все-таки обитатели одиночек настояли на своем. Их перевели в общие, только что отремонтированные камеры так называемого Красноярского барака, где режим был помягче.

Костриков попал в камеру, где сидели сорок три человека. Люди, вымотанные, обозленные неволей, не ладили между собой. Самых нервных раздражал эгоист, ни с кем не делившийся получаемыми передачами. Выбрали «тройку», чтобы разобраться в нареканиях. Входивший в «тройку» студент-технолог Александр Григорьевич Фортов впоследствии, будучи московским инженером, рассказал в воспоминаниях об этом случае. Выслушав недовольных, «тройка» назначила собрание. Пришли заключенные из разных камер Красноярского барака. От имени «тройки» Фортов предложил лишить эгоиста товарищеского общения, предать его остракизму на два года. И вдруг из глубины камеры кто-то начал говорить, напряженно повышая голос:

— Неверно вообще устраивать поравневку…

Говорил двадцатилетний Костриков. Будь у него чем

поделиться с товарищами, он совершенно свободно поступал бы так, как хочет. Принуждение излишне. Пленники контрреволюции не должны быть жестоки по отношению к тюремному товарищу.

Костриков ничего не получал с воли, и тем сильнее прозвучало его выступление. Возражать ему никто не захотел. Предложение «тройки» отпало.

Возник спор и по вине эсера, ведавшего хозяйством камеры. Обсуждался выработанный этим эсером устав, в котором до мелочей расписывалось, как пользоваться передачами. Сергей Костриков выступил против нелепого устава.

— Что за суздальский социализм? С какой стати нам в тюрьме принуждать друг друга что-то делать? Ведь мы прежде всего свободные люди и должны по своему сознанию склоняться к той или иной необходимости…

Устав отвергли.

Постепенно недоразумения в разношерстном коллективе сходили на нет. И все-таки было тяжко. Фортов, которого в тюрьме все звали по его партийной кличке Головой, вспоминал:

«В окнах темно, холодные стекла слезятся. Над длинным столом горят висячие керосиновые лампы. В глуби камеры только что разгорелась высокая круглая печь. Около шести часов внесли большой медный чайник с кипятком. Мы поставили его в печь. Потом внесли пресловутую «парашу». Я полил ее раствором марганцовокислого калия. Поверка. Нас заперли на ночь. Попили чай. Минут тридцать-сорок мы пели.

Все усаживаются по обе стороны стола, и каждый — в книгу. Никаких разговоров.

И вот в этой тишине тюрьма разыгрывает с нами странные шутки.

Вдруг заметим, что кто-нибудь из товарищей, откинувшись от книги, глядит куда-то угрюмо. Морщины выступили на лице, голова опускается ниже и ниже, весь как-то сожмется и, кажется, готов заплакать. Уже не спрашивай, что с ним. Все знают это по себе. Молчи, даже не гляди на него.

Случалось и такое. Сидишь читаешь. Вдруг видишь перед собой ясную, как живую, картину из прошлого. Иногда даже откинешься и хочешь вглядеться в ту картину, а она исчезает.

Был вечер, когда в конце стола кто-то читал в сборнике «Знание» пьесу «На дне». Читавший, нарушая наш строгий распорядок, громко, с воодушевлением произнес:

— Чело-век! Это — великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век!..

Все взглянули на читавшего пьесу. Он смолк. Тишина. Я с

другого конца стола довольно мрачно заметил:

— Да, к сожалению, пока только еще звучит…

Сергей Миронович, сидевший за книгой, приподнялся:

— Голова, как это так? Только звучит? Ты, что же, забыл, что за нашей тюрьмой? Разве мы вот здесь так-таки одни? У нас должно и будет звучать гордо: человек.

Он по-настоящему любил человека и верил в него…»

Сергея Мироновича тюремная меланхолия не задевала. Он много читал. Изучал экономику и философию. Помогал другим учиться. Сам просил помощи у тех, кто знает больше. Он раздобыл гектограф и вместе с товарищами выпускал журнал «Тюрьма».

Сохранился экземпляр второго номера этого журнала. Он выпущен 9 сентября 1906 года. В нем одиннадцать страниц формата обычной тетради. На первой странице напечатано, что выходит он непериодически. Сообщается: для приема посетителей редакция открыта ежедневно после первой прогулки, рукописи принимаются во всякое время.

Дальше все идет уже не в юмористическом тоне, а всерьез. Двенадцать заметок тюремной хроники. Две статьи на злободневные общественные темы. Еще статья «Наша администрация». В ней описываются происки тюремщиков, старающихся «вызвать политических заключенных на какой-нибудь скандал, последствиями которого желают воспользоваться для своих целей». Заканчивается журнал стихами.

Ни на день не прерывалась связь Сергея Мироновича с томскими партийцами. Чтобы укрепить ее, он, кроме всего прочего, обзавелся «тюремной невестой». «Невестой» была смышленая гимназистка-шестиклассница Серафима, которой Фортов некогда давал уроки и которая теперь под видом сестры навещала его в тюрьме.

Спустя полвека с лишним Серафима Ильинична Карачевская-Волк, по мужу Голенкина, вспоминала:

«Однажды Фортов мне сказал, что я не только его «сестра», но должна объявить себя еще и «невестой» незнакомого мне заключенного Сергея Кострикова. Я так и сделала. И вот у высокой решетки до самого потолка, по ту сторону ее, появился мой «жених», невысокий, коренастый, с рябинками на лице и жесткими темно-русыми волосами, зачесанными назад. На меня, девчонку, произвела впечатление только его серьезность, ничего другого примечательного я в нем не нашла. С тех пор мы виделись каждую неделю — каждое свидание длилось четверть часа. Обычно за нами наблюдал старик надзиратель с большой окладистой бородой. Чтобы избавиться от него, Сергей тихо,

быстро говорил:

— Ну, давай щеку, что ли.

Я утыкалась лицом в решетку или прижималась к ней щекой. Сергей, чуть-чуть улыбаясь одними глазами, деловито чмокал меня в лоб или щеку, в глаза или губы. Надзиратель — «раз дело дошло до поцелуев» — отворачивался, уходил подальше. Тогда Сергей говорил:

— Ну, выкладывай, да поскорее и потише.

Выслушав все, что мне велели передать ему, он говорил уже сам: что кому сказать, что тот или иной подпольщик должен сделать, какие книги прислать. Все он, очевидно, заранее продумывал. Ни одного лишнего слова не произносил. Но иногда, уловив, что на нас глядят посторонние, сам себя перебивал и погромче прежнего твердил, будто скучает обо мне, о моей маме. Потом добавлял еще что-нибудь подобное о том, что он мог знать обо мне со слов Фортова. Иногда, поглощенная желанием в точности запомнить его поручения, я забывала, что я «невеста». А то запутывалась, не отдавая себе отчета, кто я в данный момент, «сестра» или «невеста». Сергей замечал это и скороговоркой напоминал:

— Улыбайся, ты же невеста.

Или шептал:

— Скорее подставь щеку.

Постепенно он приучил меня держать себя на свиданиях так, как подобает невесте арестанта. Поэтому мы ни разу не «засыпались». Сергей мог регулярно подсказывать товарищам на воле, как вести работу, какие доставать книги, какого рода новости сообщать, чтобы поддерживать бодрость духа политических заключенных».

После семимесячного дознания дом на Аполлинариевской был, как и прежде, загадкой для жандармерии, а улик никаких, и всех мнимых рабочих мнимой Газиной выпустили. Всех, кроме Сергея Кострикова. Его судили по прежнему делу и приговорили к шестнадцати месяцам заключения в крепости.

Оставаясь некоторое время в Красноярском бараке, Сергей Миронович превратил ночь в день. Занимался после отбоя, спать ложился утром. Но и ночью не было спокойно. Кто стонал. Кого мучили недуги. Кто шагал взад-вперед, изводимый бессонницей или боясь дурных снов, кошмаров. И то, чего избегали заключенные, поманило Сергея Мироновича — он попросился в одиночную камеру.

А товарищей из общих камер не забывал. Помогал им, чем мог. С ними вместе развел цветник. Ставил пьесы. Играл в них. Сохранились снимки, запечатлевшие юного Кострикова в

спектаклях «Гроза» Островского, «Шельменко-денщик» Квитка-Основьяненко, «Виноватая» Потехина, «Первая ласточка» Рожкова, а также «На дне».

16 июня 1908 года Сергея Мироновича освободили.

11

Все филеры знали его в Томске, и оставаться там было нельзя.

Поэтому Сергея Мироновича перевели в уездный Новониколаевск, где он руководил местной партийной организацией, так называемой Обской группой РСДРП. Помощниками его были очень одаренный студент-технолог Александр Иосифович Петухов, потомственный революционер из рабочих Василий Иванович Шамшин и Фортов.

Жандармская слежка вынудила пустить слух, будто Кострикова отправили на Дальний Восток.

Когда жандармерия ринулась по ложному следу, Сергея Мироновича перевели в Иркутск.

Не было суровей времени для партии. Словно выжгло подполье и в Иркутске, сильном недавно социал-демократическом центре. Кто расстрелян, повешен, кто выслан, заточен в тюрьму или скрылся. Сергей Миронович застал лишь бывшего ссыльного, редактора местной газеты Василия Тимофеевича Талалаева да нескольких томичей — братьев Дробышевых, Николая Ефимовича Иванова-Канительщика, Александра Николаевича Гладышева. Никакой «техники», и ни у кого ни гроша.

Сергей Миронович скитался, то прописываясь у кого-нибудь, то ютясь, где подскажут товарищи. Скрывался то у пожилой женщины, служащей железнодорожной кооперации Анны Ивановны Голенковской, то у приказчика Алексея Афанасьевича Федюкина. Скрывался, скитался и голодал.

Радушие новых знакомых превосходило их достаток, и Сергей Миронович имел своего рода расписание. У кого можно позволить себе чаю попить. У кого — съесть тарелку щей раз в неделю. На улицу выходил большей частью вечерами. В рабочие кружки и на собрания его водили товарищи, чтобы он не заблудился, не спрашивал у чужих дороги. По просьбе Талалаева его жена, Александра Михайловна, была провожатой Сергея Мироновича в особо ответственных случаях.

Иркутское подполье оживало.

В апреле 1909 года дом Грацианова на Аполлинариевской улице в Томске обнаружил свою тайну: рухнула печь, провалившись в типографское подземелье. Томичи предупредили Сергея Мироновича, что его опять разыскивают.

Он спешно покинул Сибирь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Незадолго до отъезда из Иркутска обзавелся Сергей Миронович паспортом, полученным по какой-то справке, в которой отчество свое переделал в фамилию. Поэтому, оставив сибирские дали как Костриков, он во Владикавказ приехал как Миронов. Погостил у Серебренниковых, потом снимал углы. Лишь спустя года три впервые обосновался с женой в отдельной квартирке в Лебедевском переулке. Впервые имел там комнату-кабинет, где стояли письменный стол, старая кушетка и этажерка, набитая книгами. С настольной лампой соседствовала спиртовка: на ней Сергей Миронович по ночам варил кофе. На стенах висели копии шишкинского «Утра в сосновом лесу» и «Пана» Врубеля. Кое-кто удивлялся, как это можно терпеть долго перед глазами врубелевское чудище. Сергей Миронович лишь улыбался в ответ.

Серебренниковы ввели его в свой круг, в который входили и сын писателя, преподаватель кадетского корпуса Николай Николаевич Златовратский, и врач Петр Епифанович Митник, и горный инженер Андрей Игнатьевич Духовский. Все были старше, все были людьми с положением, и все — надо отдать им должное, — по достоинству оценив молодого сибиряка, дорожили знакомством с ним, хотя он внешне ничего особенного собой не представлял.

Были и кратковременные знакомства. Самое яркое из них — встречи с Евгением Багратионовичем Вахтанговым. По просьбе Сергея Мироновича их познакомил Александр Николаевич Пешков, мастер табачной фабрики Багратиона Вахтангова. Возможно, Сергей Миронович оказал определенное влияние на Евгения Вахтангова, долго сомневавшегося в своем нравственном праве целиком посвятить себя искусству. Вахтангов перешел на профессиональную сцену как раз после встреч с Сергеем Мироновичем.

Работал Сергей Миронович в редакции газеты «Терек». Ее издатель Сергей Иосифович Казаров на старости лет, в советское время, получал персональную пенсию. Бывшему предпринимателю, ему не полагалось и обычной пенсии, но для него сделали исключение: государство отблагодарило Казарова за то, что он кое в чем нелегально помогал социал-демократам еще в первую русскую революцию. Сергей Миронович вначале

относился к издателю более чем прохладно — тот был все-таки делец как делец. Потом сотрудничество наладилось. Из-за резких статей Миронова-Кирова издатель платил денежные штрафы, годами покорно сносил и полицейские выволочки и судебные неприятности.

В «Тереке» Сергея Мироновича полюбили. Его стали звать Миронычем, словно ему было не двадцать три — двадцать четыре, а все сорок. Он сдружился с талантливым журналистом Солодовым и подпольщиком Турыгиным, типографским верстальщиком. Здесь встретил Сергей Миронович и будущую жену свою, конторскую служащую Марию Львовну Маркус. Сестра ее Софья была с юности профессиональной революционеркой. Юношей вступил в партию и брат Яков, учитель, человек, в котором сердечность сочеталась с бесстрашием. Киров любил его. Нарком просвещения Терской республики Яков Маркус погиб в 1919 году.

Хлопотная служба в редакции была выбрана неспроста. Даже провинциальная печать, несмотря на ее худосочность и, как тогда выражались, цензурные рогатки, в умелых руках была неплохой общественной трибуной. Профессия журналиста давала и относительную свободу действий, необходимую для нелегальной революционной работы.

Россия выходила из длительного экономического кризиса, а рабочим жилось все хуже, у них отбирали и те незначительные права, которые были завоеваны в 1905 году. Большевистская печать, нелегальная и зарубежная, часто о том писала. О том же в пределах возможности писал в «Тереке» Миронов, изобличая и местную администрацию, и капиталистов, и царское правительство, фигурировавшее под всякими наименованиями.

Большую статью посвятил Миронов жилищным бедам:

«Целые слои городского населения имеют самое слабое представление, что значит отдельная комната; отдельная кровать для многих является недосягаемым идеалом. Плохо обеспеченные слои рабочего населения сплошь и рядом нанимают не комнату, а только право на «кровать» на известное число часов… В комнатах, если можно назвать этим именем подвальные клоаки, находится обыкновенно столько жильцов, сколько они могут вместить. Причем вполне заурядным является сожительство в одной комнате взрослых и детей, мужчин и женщин, что дает благодатную почву для развития тифа, проституции, сифилиса, преступности и других зол, которые приняли страшные размеры.

Таким образом, создается крайняя необходимость бороться против предпринимателей, игнорирующих при постройках и сдаче внаймы своих домов элементарные требования гигиены».

В другой статье Сергей Миронович доходчиво раскрыл сущность трестов и синдикатов:

«Выше мы сказали, что тресты создаются для борьбы с бичом капитализма — кризисами, но это только показная сторона их. В действительности же предприниматели, организуя синдикаты, преследуют совершенно иные цели: с одной стороны, эксплуатацию потребителя, с другой — борьбу с рабочими организациями».

Часто печатались статьи Сергея Мироновича и о культурных буднях страны, Терека, Владикавказа, о лекциях, пьесах и спектаклях, о Белинском и Толстом, о Горьком и Андрееве.

Вместе с тем Сергей Миронович старался использовать малейшую возможность для оживления политической жизни Владикавказа.

Здесь, как и в Иркутске, революционное движение было разгромлено. Кто в ссылке, кто в тюрьме, кто эмигрировал, подобно известному большевику Ною — Самуилу Григорьевичу Буачидзе, возвратившемуся сюда лишь спустя десятилетие. Уцелела только горстка запуганных репрессиями интеллигентов, шепотом рассказывавших о том, как в начале века возникла и развивалась социал-демократическая организация.

Борясь с эсерами, она завоевывала влияние среди солдат гарнизона и рабочих свинцово-серебряного завода «Алагир», единственного в городе значительного предприятия, пущенного в 1902 году. Вела за собой трудящихся в 1905 году. Побеждала черносотенцев и все-таки потерпела поражение. Неустрашимый Ной, прибыв из Грузии в 1906 году, не дал зачахнуть партийной организации, несмотря на повальные аресты. Большевики часа на три захватили типографию Казарова. Держали открытой дверь в контору для кого угодно и не выпускали оттуда никого. Рабочие с молчаливого согласия хозяина отпечатали множество листовок. Жандармерия, полиция потом рвали и метали, но поздно — листовки расклеивались на стенах жилых домов, шли по рукам в казармах, увозились в горные аулы.

Похоже на Иркутск, но сложнее. Здесь все надо создавать заново, а город трудный. Административный центр обширной Терской области. Засилье казачьей военщины, купечества и чиновников. Главенствовали они да горская знать, первогильдейские купцы, отставные генералы и полковники. Промышленность жалкая. Кроме «Алагира», табачная фабрика, пивоваренные заводишки, электростанция. Рабочих тысячи три, включая железнодорожников. Они вместе с кустарями, приказчиками и прочей беднотой заполняли слободки — Курскую, Молоканскую, Владимирскую, Верхне-Осетинскую,

Шалдон. Пестрота с непривычки неимоверная. И русские, и осетины, и ингуши, и грузины, и армяне. Скучились в вавилонском смешении одежд, языков, обычаев, то уживаясь мирно, то не скрывая взаимной ненависти. Классовые, сословные, религиозные, национальные противоречия сказывались на каждом шагу, готовые разразиться ссорой, дракой, убийствами, погромом.

Сергей Миронович приглядывался к городу, к его населению. В беседах с сотрудниками, типографскими рабочими и их приятелями, во время прогулок по живописным окрестностям осторожно, как бы невзначай рассказывал о забастовках в соседних и дальних городах, о тружениках, которые выступают против эксплуататоров. Исподволь выискивал людей, которым можно доверять.

Тогда и сдружился Сергей Миронович с верстальщиком Ваней Турыгиным. Квартира верстальщика на Ардонской улице стала явочной. Там видался Сергей Миронович с наезжавшими во Владикавказ партийцами. Свидания обставлялись исключительными предосторожностями. Почти все подпольщики приходили загримированными. Иногда гримировался и Сергей Миронович, он превращался в немощного старика, опирающегося на палку. Дозорными в большой семье Турыгиных были все. Полиция ни разу никого не выследила.

Любое задание Иван Турыгин выполнял отлично. Понадобилось — стал председателем городской больничной кассы, в которую рабочие вносили часть заработка и из которой получали кое-какую помощь при потере трудоспособности. Через эту кассу Сергей Миронович держал связь со всеми предприятиями. Понадобилось — Турыгин по просьбе Кирова переселился на время в Грозный, где сплачивал большевиков. В 1919 году, когда белогвардейцы захватили Терек, Турыгина оставили в подполье. Он действовал спокойно, уверенно, мастерски, не вызывая у врагов никаких подозрений.

Киров в 1926 году пригласил его в Ленинград, хотел порекомендовать на ответственную профсоюзную работу. Однако Иван Яковлевич хворал и, хотя его лечили лучшие ленинградские врачи, работать не смог. Уехал домой и через год умер.

Были у Сергея Мироновича и другие помощники, среди которых выделялся адвокат Симон Алиевич Такоев, один из первых владикавказских социал-демократов. Он только что возвратился из вологодской ссылки. Правда, дружба с ним вскоре прервалась на несколько лет: Симон Такоев придерживался меньшевистских взглядов и только в 1918 году стал навсегда коммунистом, выросшим затем в крупного партийно-советского

работника. На первых порах, в 1910 году, Симон Алиевич приносил серьезную пользу. Уже существовала в зародыше новая партийная организация. Устраивались нелегальные собрания, сходки. На одной из них, блестяще проведенной Сергеем Мироновичем за городом, у так называемой Сапицкой будки, Такоев, по его словам, присутствовал. Сергей Миронович тогда очень нуждался в квартирах для встреч с приезжими партийцами. Эти квартиры подыскивал Такоев. Ему, в частности, запомнилось, что однажды из Грозного прибыли большевики-нефтяники, которые хотели посоветоваться, как организовать назревшую забастовку. Выдавая грозненцев за своих друзей-адвокатов, Такоев пригласил их и Сергея Мироновича к знакомому, будто бы для того, чтобы попотчевать традиционным осетинским пирогом. Такоев был полезен еще и вот чем: по жалобам его клиентов Сергей Миронович изучал положение осетинской бедноты.

Ограничиваться редкими выступлениями на собраниях и сходках было нельзя. Да и кончились бы эти выступления провалом, так как в неизвестном прежде ораторе уже узнавали журналиста Миронова. Поэтому он выискивал все новые способы проникновения в трудовую среду. В городе было несколько воскресных школ, где обучались главным образом молодые рабочие. Сергей Миронович преподавал в них то механику и черчение, то политическую экономию. Слушатели были в большинстве своем настроены революционно, и уроки подчас переходили в беседы, отнюдь не предусмотренные программой. Самых сознательных рабочих он объединял в нелегальные кружки. В них вырастали активисты, которые потом уже сами вели революционную работу у себя на предприятиях и железной дороге.

Освоившись во Владикавказе, Сергей Миронович хотел поскорее стать своим человеком в горах, где, согнанные с исконных мест, втиснутые в ущелья, влачили жалкое существование и осетины, и ингуши, и чеченцы, и кабардинцы, и балкарцы.

Но у горцев никак не завоевать ни уважения, ни доверия, если неловко чувствовать себя на орлиных кручах. Пора привыкать к ним. Трудности не страшили, заправские альпинисты инженер Духовской и издательский конторщик Лучков кое-чему научили Миронова, и корреспондент «Терека» поднялся через хребет Арч-Корт к леднику Абано.

Миронову захотелось подняться выше, на вершину Казбека. Это почиталось едва ли не верхом отваги. Духовской, только-только вернувшийся с вершины, готов был одолеть ее вновь. Третьим вызвался Серебренников. А доктор Митник попросил

украсить мужскую компанию его приятельницей, отличной спортсменкой Евгенией Эрастовной Пененжкевич, слушательницей медицинских курсов, приехавшей на каникулы из Петербурга. Духовской и Серебренников ответили — пожалуйста. Сергей Миронович тоже не возражал и молчаливо улыбался: чего не понавыдумает случайность. Эта хорошая девушка была дочерью того самого исправника Пененжкевича, который в 1899 году получил от начальства предписание о розыске Маркса и Энгельса, будто бы скрывающихся в пределах Уржумского уезда.

Вчетвером выехали из Владикавказа. У селения Гвилети, в теснине Дарьяла смельчаков принял под свою опеку знаменитый проводник Яни Цаголович Безуртанов.

Сергей Миронович писал потом в газете «Терек»:

«На землю спускалась ночь…

Кругом беспредельные белые облака, и только кое-где прорезываются через них вершины гор, напоминающие собой причудливые замки; иные гордо смотрят вверх, воскрешая средневековые времена, другие, под влиянием времени, обратились в руины…

Молча, один за другим пошли мы по скалистому хребту, кое-где покрытому снегом. Шли быстро, стараясь согреться, так как было довольно холодно…

«Дорога», нужно отдать ей справедливость, прескверная: местами чуть не ползком приходится пробираться по острым скалам, по ту и другую сторону которых почти отвесные обрывы, не внушающие особенной смелости. Любитель сильных ощущений может найти здесь полное удовольствие».

Казбек был совсем близко:

«Сквозь безбрежное море облаков, скрывающих почти все вершины, лежащие на север, слабо пробивались лучи солнца. Облачное море непрерывно колыхалось, образуя гигантские волны. Местами показывались вершины гор, напоминая тонущие корабли во время страшной океанской бури. Покажется на мгновение вершина, взглянет на утреннее небо, а набежавшая облачная волна снова захлестнет ее».

Смельчаки поднимались все выше:

«Медленной вереницей идем мы по фирновому полю; ноги глубоко вязнут в мягком снегу.

Кругом мертвая, безжизненная тишина.

С востока, из глубины облаков торжественно поднимается яркое утреннее солнце, обливая золотистыми теплыми лучами снежные поля и вершину Казбека.

Яни осторожно прокладывает дорогу, пробивая снег палкой,

чтобы не попасть в ледяную трещину.

Едва заметный подъем сменяется более крутым. Мы приближаемся к основанию конуса.

Остается полторы версты самого трудного пути…

На половине конуса начался ветерок, который, постепенно усиливаясь, достиг того, что мы едва не отказались от выполнения своей задачи. Положение усугублялось еще тем, что приходилось рубить ступени, так как верхняя часть конуса оказалась совершенно свободной от снега, представляя собою гладкую ледяную поверхность.

Ветер рвал с такой силой, что казалось, вот-вот сбросит нас…

Но вот приближаемся к самой вершине; остаются минуты, и мы там.

Терпению настает конец, и я решаюсь идти без помощи ступеней, на одних кошках, которые, кстати сказать, несмотря на свое заграничное происхождение, никуда не годятся.

В 1 час 20 минут мы стояли на вершине».

Это было 9 августа 1910 года.

Миновал год.

31 июля 1911 года Сергей Миронович поднялся еще выше, на вершину Эльбруса — с конторщиком Лучковым и проводником Сеидом Хаджиевым. Спортивное событие было настолько значительным, что в путеводителях по Кавказу с тех пор неизменно упоминалось имя Миронова. Упоминалось это имя и в ежегоднике, в бюллетенях Русского горного общества.

Вышло так, можно сказать, что с ослепительно светлых высот Эльбруса низринулся Сергей Миронович в темницу.

31 августа, утром, в редакцию «Терека» понабились жандармы.

— Кто из вас Костриков Сергей Миронович?

— Я.

Обшарили все ящики всех письменных столов. Сергея Мироновича увели.

В тот день исчез заведующий редакцией Александр Александрович Лукашевич, журналист, давно разыскиваемый петербургской жандармерией. Опасаясь, как бы не добрались и до него, он перекочевал в Екатеринодар, где Казаров основал вторую свою газету.

Затем исчез и конторщик Павел Григорьевич Лучков, потому что был вовсе не Павлом Григорьевичем Лучковым, а заочно осужденным военным моряком Иваном Спиридоновичем Моторным. В 1905 году он, машинист эскадренного броненосца «Георгий Победоносец», настойчиво звал товарищей по экипажу присоединиться к восставшему броненосцу «Потемкин».

Лучков-Моторный уже несколько лет втайне любил Марию Львовну, а она отвечала лишь дружбой. В некотором смысле он оказался пророком. Вскоре после того, как Миронов поступил в редакцию, Лучков огорошил однажды Марию Львовну:

— Даю голову на отсечение, что вы выйдете за Сергея Мироновича.

— Никогда, — возразила Мария Львовна, еще вполне равнодушная к корреспонденту Миронову, как равнодушен был и он к ней.

— Попомните мое слово.

Лучков-Моторный дал знать о себе лишь в дни похорон Кирова:

«Простите, дорогая Мария Львовна, что я спустя двадцать лет после нашей тяжелой и радостной в воспоминаниях встречи с вами и Миронычем, встречи, унесшей с собой частицу и моего бытия, — по такому ужасному случаю пишу Вам.

Ведь шесть лет делили мы и радость и горе в тяжелую годину реакции во Владикавказе.

У меня сохранилась фотография Мироныча из нашего хождения по горам Кавказа. Смотрю, вспоминаю, плачу… Припоминаю, как-то Мироныч говорил: «Доживу до тридцати лет, а потом кубок об землю».

Бедняга. Счастливец. Испил он кубок радостный, полный красивых побед, побед рабочего класса, но, к великому горю, не до дна…»

2

Сергея Мироновича посадили во владикавказскую тюрьму. В общей камере сплошь уголовники. Под окном ночами совершались казни. А труднее всего было переносить то, что за стенами тюрьмы горевал друг, Мария Львовна. Сергей Миронович писал ей:

«Вы не можете себе представить, как на меня действует Ваша заботливость, в таком положении я еще никогда в жизни не был».

Им дали свидание, после которого он писал:

«Если бы кто-нибудь посмотрел на нас, то сказал бы, что в неволе ты, а не я».

Он упрашивал ее не тревожиться за него:

«Сережка — парень крепкий, он вынесет все, какая бы несправедливость ни обрушилась на него».

В октябре Сергея Мироновича отправили по этапу в Сибирь.

Со станций в пересыльные тюрьмы, из пересыльных тюрем на станции арестанты шли привязанные друг к другу цепями, закованные в ручные кандалы. Шли в темноте. С факелами. Под звон цепей.

Дней через двадцать пять — томская тюрьма. В четвертый раз. Предстоял суд по делу о типографии на Аполлинариевской. Приговор был гадателен, хотя Попова, Решетова и Шпилева нашли гораздо раньше И доказать причастность их к этой типографии суд не сумел.

Сергей Миронович в томской тюрьме тоже был единственным политическим заключенным. Ничего отрадного, кроме книг, кроме писем из Владикавказа. Сергей Миронович и сам часто писал во Владикавказ, Марии Львовне.

Вот часть этих писем в выдержках.

8 ноября 1911 года

«Чем занимаетесь? Как Ваша музыка? Надеюсь, что «Смерть Азы» Вы знаете в совершенстве. Давно не слышал музыки, и чем дальше она от меня, тем большую привязанность чувствую к ней. Впрочем, это всегда ведь так бывает».

22 ноября 1911 года

«Случайно взял Лермонтова, и почему-то он совершенно иным стал в моих глазах — его поэзия, конечно. Удивительно своеобразно!

Много помогло в его усвоении, очевидно, мое знакомство, хотя и слабое, с Кавказом. Какова должна была быть сила воображения, наблюдательность и проникновенность у человека, так высокохудожественно и образно описавшего Кавказ. Что если бы перед его взором раскинулась подавляющая своим величием, божественно-спокойная, необъятная панорама, которую приходилось видеть немногим счастливцам, достигавшим вершины царствующего над горами Кавказа гиганта! Какие звуки услышал бы художник-гений среди этой мертвой тишины? Какие тайны природы открыл бы его проникновенный взор?»

13 декабря 1911 года

«Ваш отзыв о «Черных масках» нельзя назвать… основательным. Вы говорите, что и сам автор их не понимает? Но если это даже и так, то произведение от этого ничего не теряет.

Боюсь, что скажу парадокс: по-моему, истинно гениальное творчество исключает элемент самокритики или по меньшей мере весьма ограничивает действие его. Думаю, что, например, Шекспир, Гёте и др. едва ли подозревали всю необъятность той сокровищницы, которую они дарили миру. Это во-первых. А во-вторых, трудно указать в истории литературы пример: гениального художника и гениального критика, совмещающихся

под одним черепом… Говорю это только потому, что на Л. Андреева очень часто смотрят с Вашей точки зрения.

Теперь по существу. Все вещи Андреева (начиная с «Жизни человека») носят очень туманный колорит, что, конечно, препятствует их усвоению. Однако при более внимательном анализе легко можно рассмотреть основную идею любой его вещи. Попробуйте в интересующих Вас «Масках» сделать такую подстановку: герц. Лоренцо — Человек (с большой буквы), маски (все) — мысли человека. Остальное можно без ущерба отбросить, для простоты. Лоренцо — метафизик. Припав к кубку познания (а раз припавший не отстанет от него: таково очарование познания), Лоренцо воскрес и душой и телом. Он горд, и весел, и красив. У него праздник в душе, которую освещают отныне тысячи огней. В ней светло и красиво, как в волшебном замке. Но Лоренцо в своем метафизическом увлечении дошел до того, что называется тупиком. И вчерашние мысли и образы, которыми он распоряжался, как могущественный властелин (ведь недаром он герцог!) над своими подданными, — сегодня привели его в ужас, и какой ужас! Лоренцо дошел до границы человеческого познания. Отсюда явились последовательно: неуверенность, сомнение, блуждание в противоречиях, которое привело в конце концов к полному раздвоению Лоренцо, и в заключение всей трагедии — кошмар.

Последнюю сцену — пожар замка и самосожжение Лоренцо — я понимаю так. Потерпев крах в попытке доказать всемогущество человеческого разума и безграничность познания, Лоренцо верит еще, что он прав. Отсюда его торжествующая смерть. Идея эта стара, как мир, но форма, в которую ее облек Андреев, делает ее новой. Тут он, можно сказать, влил старое вино в новые мехи. Правда, символизм, да еще такой крайний, мало кому доступен, но ведь это единственная форма, в которую можно облекать вечные идеи. Для простака же «Фауст» — сказка, Гамлет — бездельник».

3 января 1912 года

«Видели ли новую вещь Л. Андреева — «Сашка Жигулев» или что-то в этом роде? И на этот раз Андреев взял исключительность… Опять, наверное, «пугает»? Полюбил человек сверхъестественность и не может с ней расстаться. Вы писали, что не могли понять его «Маски», но Вы попробуйте прочесть «Океан». Действительно, голова закружится!»

7 февраля 1912 года

«Храбрюсь, одним словом, и храбрюсь неудачно. Видите ли: я думаю, что ни один из находящихся в неволе не может сказать, что «бьет в барабан», что он бодр, весел… Если кто и скажет это,

то он скажет неправду… Поэтому, когда я говорил Вам, что чувствую себя хорошо, — то это следовало понимать, конечно, относительно. (Да иначе это слово и невозможно понимать.) Чувствую себя хорошо, так сказать, по-тюремному, в пределах данной обстановки, а вовсе не так, что мне и лучшего ничего не желательно!»

22 февраля 1912 года

«Вот скоро начнется здесь весна, божественная сибирская весна! — о которой южане не имеют ровно никакого представления (бедные, они ничем не могут вознаградить себя, так как прелести весны (настоящей) ни с чем не соизмеримы). Когда настанет это время, тогда… буду писать стихами!»

28 февраля 1912 года

«Вы, наверное, все чаще и чаще поглядываете на горы? Чувствуете весеннее дыхание Дарьяла? Скоро над вами полетят с юга птицы. Как это красиво! Прислушивайтесь по ночам. Я особенно любил слушать, когда летят журавли — ночь темная, не видно ни зги; город спит мертвым сном; а неутомимые птицы тяжело машут крыльями и как-то таинственно разговаривают друг с другом… Когда я впервые заметил перелет птиц, был очарован».

5 марта 1912 года

«В сущности ведь Андреев не открыл ни одной Америки, а сколько о нем говорят? Гораздо больше, чем о всех современных беллетристах, взятых вместе. Значит, что-то есть в нем, — дыму без огня не бывает. Да, несомненно есть. Взять хотя бы форму его творчества (она-то и мешает усвоению содержания) — символизм. Владеет он ею прекрасно. Иногда два-три смелых, широких штриха заменяют вам целую книгу!

Возьмите пролог в «Жизни человека», — разве это не шедевр? Слова «Некто в сером»: «Я буду подле (человека), когда он бодрствует и спит, когда он молится и проклинает»… Несколько подчеркнутых слов рисуют вам всю жизнь человека. Да, на это нужен талант.

Вы говорите, у других все ясно, реально, а у Андреева туман. Надо внимательно вглядеться в этот туман, и перед вами встанет нечто очень большое. У «других» действительно проще. Рудин, Базаров, Раскольников, Карамазовы, Каренина, Вронский, Обломов, Вера и Волохов, Дядя Ваня, Фома Гордеев — все они гораздо понятнее и ближе, чем Давид Лейзер, герцог Лоренцо. Почему? Да просто потому, что первые — реальные образы, а герои Андреева — символы. Художники-реалисты рисовали типов, взятых прямо из жизни, живых людей, и говорят и действуют их герои, как люди… Для Андреева же не существует

ни Татьян, ни Онегиных, ни Ивановых, ни Олесовых — объектом его творчества является Человечество. По его — страдают не Анны, Петры, Иваны, а страдает все человечество в целом. Поэтому его герои абстрактны, часто действуют неизвестно где (Анатэма, Океан); можно только сказать: на Земле…

Иногда перед художником блеснет свет истины, осветив на мгновение путь к ней, и тогда бесплодные нивы пессимизма он потрясает могучим победным кликом. Как торжествующе звучит безумный крик Лоренцо, завершающего свою трагедию! Кажется, вот-вот падут стены замка, скроется тьма, ужасные маски падут в преисподнюю… Прочь, бессилье и сомненье! Лучезарная истина идет навстречу герцогу, готовая подарить его разуму свой первый девственный поцелуй!.. Но, увы, Лоренцо торжествует только затем, чтобы умереть; огонь, сжигающий тьму, уничтожает и его. И снова поле битвы остается за Аргусом, охраняющим своды обетованного царства.

Однако ничто в мире не может заставить человека отказаться открыть вечную тайну, найти «ис-тину». Как змея, жалит его мозг это страшное слово, и, забыв все прежние неудачи, человек снова бросается на поиски «синей птицы». Найдет ли он ее? — Неизвестно.

Так я понимаю творчество Л. Андреева.

Как художник, по-моему, он стоит очень высоко».

Сергей Миронович работал в тюрьме над пьесой, в которой выведена своеобразная героиня, будущий инженер-химик Софья: студентка отстаивает передовые взгляды, хотя выросла в семье первогильдейского купчины, старающегося пролезть в депутаты Государственной думы.

Работал Сергей Миронович и над заметками о смертниках. В рукописи нет ни слова о российской действительности. Но заметки неотразимо обличают царский, капиталистический строй, искалечивший людей, превративший их в преступников. А у них еще и сейчас душа — человеческая. Как у неразлучных с детства Соколова и Поливанова, талантливых певцов. Как у Хаима, который, сам ожидая казни, выдумывает всякие небылицы, чтобы утешать других смертников, отвлекать их от дум о неотвратимом.

«Ничто в мире не может стать поперек дороги победоносного шествия ликующей смерти и предотвратить ее победу над беспомощными, беззащитными, теряющими рассудок людьми. Временами трепещущая мысль вырывалась далеко за пределы склепов, тюрьмы и лобного места и уносилась туда, где осталось столь дорогое прошлое, где было так много пламенных юношеских надежд и упований, где жизнь, полная борьбы и

страха, проклятий и молитв, стремлений и разочарований и где над всеми встает одно общее, необъятное и непреоборимое желание жить, на которое не смеет посягнуть ни один из смертных. Падая в непролазную трясину порока, погружаясь в болото лжи, корысти и обмана, проклиная день и час дарования ему жизни и создания мира, задыхаясь и с плачем призывая смерть, как избавительницу от всех мучений, слез и страданий, — униженный и раздавленный человек все-таки карабкается вперед, ползет и пресмыкается, но всеми силами стремится утолить горящую в нем жажду жить».

Об одном из смертников:

«Мысли давно уже утратили свою остроту, проникновенность и живость, и исчезла память — сокровищница прошлого. Нет уж ни скорби, ни радости, ни печали, ни веры, стерлось прошлое, оставив едва заметные следы, нет настоящего и скрылось за непроницаемой пеленой будущее. Печать полного, тупого равнодушия лежит на детском лице этого человека…

— Господи помилуй, — шепчут по временам потерявшие подвижность губы».

Дальше:

«Иногда откуда-то вырывалась нестерпимая жажда жизни, крепко схватывала своими цепкими когтями, бросала и метала из стороны в сторону, открывала беспредельные горизонты. Отовсюду кивала и улыбалась жизнь, полная красок, звуков и любви. И звала своим всепокоряющим голосом, полным музыки и очарований. Будила угасающие надежды, кадила опьяняющим фимиамом, толкающим людей на самоотверженные подвиги, на страшные злодеяния, кидающим в пучину зла и порока и выбрасывающим на высокие, пенящиеся гребни счастья и красоты. И стремительно летели живописные картины, манили, ласкали, радовали. Но за всем этим вставал гигантский призрак, при виде которого цепенело все живое. Он поднял свою беспощадную руку и уже готов снести все, что так страстно и мучительно зовет к себе».

Дальше:

«Смрад и густой дым висели в воздухе, и слабые лучи едва мерцающей маленькой лампы с трудом проникали до средины камер, оставляя в тени углы их… Серые стены, серые костюмы и такие же серые худые лица арестантов. Плотными рядами лежат они на полу, усиленно стараясь погрузиться в сон, его не было…

Тихо и неожиданно перед дверью «малой смертной» показалась темная большая тень, затем знакомый предательский звон отпирающегося замка, и сон, как трусливый вор, заслышавший преследователей, стремительно бросился прочь. В

камерах мгновенно все ожило».

Двое смертников, Соколов и Поливанов, запели.

«Казалось, поет огромный хор. Красиво и стройно лились звуки молодых, чистых голосов. Высоко поднимался мягкий, ласкающий душу тенор, и в нем слышалось что-то тяжелое, большое, от которого хочется плакать. То в усиливающихся, то в замирающих звуках его была не песня — это была молитва глубоко несчастного, забытого, страдающего человека, давшего простор наболевшей душе…»

15 марта Сергею Мироновичу исполнилось двадцать шесть лет. Свой день рождения он в пятый раз встретил в тюрьме.

16 марта его судили.

Защиту подготавливали шесть адвокатов. Те, которые двумя годами раньше, 2 марта 1910 года, вынудили суд признать Попова, Решетова и Шпилева непричастными к типографии на Аполлинариевской.

По словам Попова, адвокаты блестяще сплели тогда воедино ряд обстоятельств.

В июле 1906 года подземная типография была готова. Ее опробовали, хотя шрифт еще не поступил. Напечатали несколько партий листовок с набора, доставляемого из другой нелегальной типографии. Использованный набор и листовки без промедлений увозили.

Поэтому в 1909 году, когда произошел обвал, вызванная полицией техническая экспертиза наткнулась на несуразность, которую не раскрыла и, возможно, не пыталась раскрыть: печатная машина неоднократно действовала в подземелье, несмотря на отсутствие шрифта. Отмеченную экспертизой несуразность адвокаты истолковали по-своему, подчеркивая, что почти бесшумные типографские машины, подобные обнаруженной на Аполлинариевской, обычно применяют фальшивомонетчики.

Получилась стройная версия защиты — поскольку типография работала без шрифта, в ней, выходит, печатались отнюдь не листовки РСДРП, а фальшивые деньги.

Отвести этот неожиданный удар по обвинительному заключению, шаткому и без того, прокурор не сумел.

Последовал еще удар. Как известно, РСДРП фальшивых денег не печатает. Известно также, что трое обвиняемых, сидящих на скамье подсудимых, уже привлекались по этому делу и были освобождены. Естественно, после обвала типографского помещения полагалось искать не их, а подлинных преступников, фальшивомонетчиков. Но фальшивомонетчики остаются на свободе. Похоже, к ним благоволят. Иначе не понять, почему они

не найдены, почему не привлечены к дознанию хотя бы двое жильцов, занимающих с 1906 года квартиры над типографией.

Квартиры эти занимали стражник и полицейский писарь. Их вопреки воле официального владельца вселили в пустующий дом. И неспроста. Власти, конечно, подозревали, что дом принадлежит Томскому комитету РСДРП. Но разглагольствовать об этом прокурор, не мог и, изворачиваясь, поставил себя, а также судей в неловкое положение.

Прежняя версия защиты выручила и Сергея Мироновича. Его оправдали за отсутствием улик.

Выпущенный из тюрьмы, он гостил несколько дней в Челябинске у переселившихся туда Поповых. Провел затем недели полторы в Москве. Осматривал Кремль. Трижды побывал в Большом, смотрел и спектакли гастролировавшего в России Немецкого театра, которым руководил выдающийся режиссер и актер Макс Рейнгардт. От его постановки «Царя Эдипа» пришел в неописуемый восторг, как писал вскоре Попову. Жалел, что не мог познакомиться с Художественным театром, уехавшим на гастроли в Питер. Встречался с писателями и журналистами. Все они, за исключением весьма симпатичного Викентия Викентьевича Вересаева, неприятно удивили своей самовлюбленностью. Из-за этого литературная среда оставила скверный осадок.

В середине апреля Сергей Миронович возвратился домой.

3

Вспоминают: солнечным весенним днем пришел он в редакцию «Терека». Солодов и другие сотрудники шагали из угла в угол, восклицая:

— Перцов!.. Капустин!.. Ракитников!..

Сергей Миронович отрицательно покачивал головой.

Выбирали псевдоним. Миронову-Кострикову не следовало бросаться в глаза властям хотя бы с газетного листа.

Не найдя ничего стоящего, листали календарь, где перечислялись имена святых.

— Полиевкт, Евтихий, Пелагея, Агапит, Софроний…

— Нет, нет.

— Николай, Ольга, Мария, Кир…

— Кир! — подхватил Солодов. — Киров!

Видимо, Сергей Миронович с Александром Солодовым на радостях попросту разыграли редакционных новичков. Чего-чего,

а псевдонимов у любого профессионального революционера и журналиста было вдосталь. Хватало их и у Сергея Мироновича.

Стоит также повторить и уже упоминавшееся утверждение земляков Кирова. В частности, московский архитектор Яков Федорович Попов, даже в пожилом возрасте, хорошо помнил, что его уржумскому однокашнику Сереже Кострикову еще в детстве нравилось звучное имя — Кир, почерпнутое из учебника истории. Далее, еще лет семнадцати Сергей Костриков однажды назвал себя Кировым, как говорил его одноклассник по Казанскому промышленному училищу, читинский инженер Александр Михайлович Мосягин. Журналист Дмитрий Захарович Коренев писал, что, когда он весной 1911 года поступил в «Терек», Сергей Миронович уже был Кировым.

Так или иначе, 26 апреля 1912 года «Терек» напечатал статью Сергея Мироновича, впервые подписанную псевдонимом: Киров.

4

Сергей Миронович восстанавливал прежние связи в трудовой среде, продолжая развивать их. У него, кроме Турыгина, были теперь еще верные помощники. И среди них Федор Иванович Серобабов. Молодой новороссийский рабочий-кузнец, он с группой железнодорожников перевелся во Владикавказ, где открылись вагоноремонтные мастерские. Имея определенную подготовку, Федор Иванович сразу включился в нелегальную работу. Распространял большевистские листовки, вел агитацию у себя в мастерских, а также в депо. Киров очень ценил Серобабова и, по словам Марии Львовны, жалел, что конспирация не позволяет часто встречаться, дружить с ним. Умный, волевой, начитанный, Федор Иванович вырос в опытного организатора, был впоследствии депутатом городского Совета, членом президиума горкома партии. В августе 1918 года, когда во Владикавказ нагрянули белогвардейские мятежники, они расстреляли Серобабова.

Через Турыгина, Серобабова и других товарищей руководил Киров и нелегальными кружками и учащающимися стачками. За советом и помощью к Кирову почти регулярно приезжали партийцы из Грозного и Нальчика, из Минеральных Вод и Пятигорска.

В газете Сергей Миронович выступал куда резче прежнего.

«И чем дальше мы уходим от патриархального скулобития, как основного приема внедрения в сознание обывателя

законности и правопорядка, в старом смысле этих слов, тем обаятельнее действуют на нас чудотворные свойства кулака… Многим кажется, что приведение России в порядок на новых основаниях совершится быстро и удачно именно с помощью кнута…»

Исключительно сильное впечатление на Тереке, на всем Северном Кавказе произвела статья «Простота нравов». Случайно миновав цензурные рогатки, Киров пошел в открытую против черносотенцев, их оголтелых главарей Пуришкевича и Замысловского, а также продажных карьеристов-хамелеонов из правых, буржуазных партий:

«Удивительная простота нравов наблюдается в нашей политической жизни! Разительные примеры этому дает на днях организовавшаяся новая Государственная дума. Выяснилось окончательно, что в четвертой Думе неизбежно господство черных, и притом черных весьма определенного тона, тона Пуришкевичей и Замысловских. Создается положение трагикомическое вполне…

Глядя на наш четвертый парламент, очень легко уподобиться тому оттоману, который, посетив французскую палату депутатов, воскликнул:

— Благодарю аллаха, избавившего мою родину от столь гибельного испытания!..

Трагизм России заключается в том, что она в политическом отношении переросла анекдотического турка…

И тем не менее ей приходится «гордиться» народным представительством, в котором паяцы вроде Пуришкевича играют роль посланников народа».

Конец статьи:

«Всем давно известно, что наши политические деятели, сидящие направо, отличаются удивительной способностью перекрашивать себя в случае надобности…

Это депутатское хамелеонство объясняется тем, что огромное большинство наших депутатов, в силу многих условий, имеют весьма отдаленное отношение к населению. Депутаты часто совершенно не связаны с пославшими их, и поэтому на всякое свое поведение они смотрят с точки зрения «как прикажете». Куда подует политический ветерок, в ту сторону и поворачивается большинство думских законодателей».

3 ноября газета вышла в свет. Заметались и полиция, и прокуратура, и чиновная рать начальника Терской области, который был одновременно наказным атаманом терского казачьего войска. Кирову и издателю Казарову угрожали судом, тюрьмой. Замышляя расправу, но не решаясь пока арестовать ни

того, ни другого, начальник области мстил издателю штрафами.

13 ноября его оштрафовали на крупную сумму в сто рублей за статью Кирова «Еще панама», напечатанную прежде, чем «Простота нравов».

7 декабря издателя оштрафовали уже на двести рублей за статьи Кирова «Ликвидация стачек» и «Четырнадцать часов труда».

31 декабря — сто пятьдесят рублей штрафа за статьи Кирова «Начало конца» и «Дневник журналиста».

5 января 1913 года — пятьдесят рублей штрафа за статьи Кирова «Тревога в Китае» и «В военном мире».

9 января прокурор предложил начать уголовное преследование Кирова за «Простоту нравов».

12 января судебный следователь принял к исполнению предложение прокурора.

18 февраля городовой вручил Кирову повестку — прибыть наутро к следователю.

19 февраля Кирова допрашивали. Он вежливо пожалел следователя за его запоздалые и совершенно напрасные старания. В связи с трехсотлетием царствующего дома Романовых со дня на день ожидается высочайший манифест об амнистии. Под амнистию, несомненно, подпадет и это надуманное судебное дело. Так что господин следователь и другие господа утруждали себя даром, даром выматывали свои и не только свои нервы.

28 февраля следователь вынужден был признать, что дело Кирова подлежит прекращению согласно пункту I параграфа XVIII царского манифеста от 21 февраля.

27 марта 1913 года суд прекратил дело о «Простоте нравов».

5

В полиции, в жандармерии никого не удивило, что журналист, которого власти изводили около пяти месяцев, захотел развеяться. Не удивило, наверное, и то, что его, взявшего Казбек и Эльбрус, опять потянуло в горы. Правда, альпинистский сезон еще не начался, но Сергей Миронович вдруг стал интересоваться пещерами, скалами, увлекся охотой. В пещере Кинжал и на какой-то круче, говорят, видели высеченные отметки: «Киров, 1913». А ружье он, говорят, подарил потом сельскому учителю, согласившемуся быть переводчиком: охотником-то Сергей Миронович стал лишь в двадцатых годах.

На случай, если за ним негласно следят, он для отвода глаз

взбирался на головокружительные кручи, постреливал, заглядывал в пещеры, словно исследуя их. И беспрепятственно, не вызывая никаких подозрений у властей, Киров провел несколько дней в горных селениях Кабарды и Балкарии.

Определенные знакомства он завязал там еще в 1911 году благодаря невольному содействию адвоката Далгата, который по просьбе своих клиентов, местных крестьян, неоднократно составлял для них жалобы и прошения. Собираясь тогда на Эльбрус, Киров взял Далгата в спутники. Достичь вершины адвокат не сумел и повернул обратно на полпути, но пользу принес, не подозревая о том: накануне восхождения ввел Кирова в дома ряда горцев. В 1912 году Сергей Миронович восстановил прежние знакомства. От Далгата, Беме и других владикавказских адвокатов, а также от кооператоров Сергей Миронович уже многое знал о нуждах, о земельных тяготах кабардинской и балкарской бедноты.

Теперь на эту бедноту свалились новые беды. Балкарская знать, закрыв вход в Черекское ущелье, самовольно лишила крестьян доступа к пастбищам. Кабардинские князья и кулаки присвоили пастбища на Золке. Крестьяне попали в безвыходное положение и волновались, не зная, что предпринять. Киров подсказывал, что бунтарство ничего не даст и что необходимо сплотиться, отобрать пастбища силой:

— Вся земля принадлежит всему народу.

Звучало это в равной мере убедительно как по-русски, так и в переводе на кабардинский и балкарский.

Киров также говорил, что не княжеская знать, а народ славится умением выращивать великолепных скакунов. После этих слов, простых и сочувственных, пустозвонством звучала хитроумная выдумка богатеев и подкупленных ими царских чиновников: они твердили, что бедноте под силу только баранов пасти и что лучшие пастбища следует отдать крупным коннозаводчикам, поставляющим армии высокопородистых лошадей.

Рассуждения и советы Кирова запечатлевались в уме и сердце у многих крестьян.

Среди них был Бетал Эдыкович Калмыков, двадцатилетний кабардинец, которому Киров, можно сказать, дал путевку в большую жизнь.

Герой гражданской войны, Бетал Калмыков в мирные годы руководил Кабардино-Балкарией как председатель облисполкома, затем секретарь обкома партии. Уже в начале тридцатых годов колхозники здесь жили лучше, чем во многих других местах. Область, не имевшая промышленности, превращалась в

индустриальную. В этом была доля труда Калмыкова, человека талантливого и своеобразного. Пленумы обкома он нередко проводил в колхозах. Иногда закрывал обком: все уезжали на хлебоуборку, хотя она вовсе не отставала.

— Неделю в поле поработаешь, весь год вкуснее будет хлеб.

Засушливым летом Калмыков, взбудоражив селения и города области, счел мобилизованным прежде всего себя:

— С завтрашнего дня я делаюсь поливальщиком. Буду вместе со всеми членами бюро обкома поливать колхозные поля.

В постановлении обкома он однажды записал, что пренебрежение даже к мельчайшим бытовым нуждам колхозников — прямое кулацкое дело. Он призывал сельскую молодежь овладевать техникой и, сам учась, в присутствии юных колхозников сдал экзамен на плугаря. Бросив клич — развивать альпинизм, Бетал Эдыкович сорока с лишним лет поднялся и сам на вершину Эльбруса. Калмыкова везде звали просто по имени: Бетал.

Калмыков рассказывал, что в 1913 году крестьяне собирались только мстить притеснителям, пока не приехал Киров. Он был против мести. Он обещал прислать своих людей и прислал их. Крестьяне восстали.

Кто из присланных Кировым партийцев поднял крестьян против богатеев, пока не установлено. Однако в бумагах царских чиновников и следственных материалах неоднократно подчеркивается, что восстанием руководила чья-то опытная рука и что агитацию среди горцев вели приезжие, развитые люди.

Есть основания полагать, что одним из них был Иван Никитич Никитин. За нелегальную работу его, члена РСДРП, в 1903 году исключили из Московского университета и выслали на Терек. Никитин во Владикавказе поступил на «Алагир», участвовал в первой русской революции. Познакомившись с Кировым в 1909 году, Иван Никитич затем то исчезал, то возвращался во Владикавказ. Колесил по городам и станицам как рабочий и партийный полупрофессионал, как организатор стачек — видимо, выполняя задания Сергея Мироновича. По крайней мере достоверно известно, что Никитин поддерживал связь с партийными организациями Грозного, Пятигорска, Минеральных Вод, Нальчика, ездил в Баку. Владикавказская большевичка Евдокия Анисимовна Полякова говорила, что Киров еще до Октября видел в Никитине многообещающего деятеля. Нарком труда и промышленности Терской республики, Никитин погиб в 1918 году, одновременно с Федором Серобабовым. Похоже, именно Ивана Никитича подразумевают следственные документы, упоминающие конспиратора, находившегося в 1913

году среди восставших горцев и бесследно скрывшегося.

Восстав, горцы держались стойко, а победить не смогли. Силы были неравные, за богатеев заступились войска, они подавили Зольское и Черекское восстания. Но, как писал потом Бетал Калмыков, между трудящимися, с одной стороны, и кулачеством, дворянством и княжеством — с другой, образовалась пропасть, которая начала углубляться. Революционные настроения, впервые пробудившись, усиливались, обещая в скором будущем победу.

6

Революционные настроения усиливались и в Осетии, Чечне, Ингушетии. В туристском костюме, в войлочной шляпе, с палкой в руках, Сергей Миронович при первой возможности спешил в горы. Бывал в селениях и аулах не только на исхоженных дорогах, но и в заброшенных поднебесных углах — стоило поскорее сблизиться и с ними или пока определить хотя бы их удельный вес в грядущих событиях.

Случалось, пришельца встречали не очень-то дружелюбно. На все, что его волновало, отвечали неохотно, уклончиво, туманно. Он не обижался. Не навязывался, но и не уходил, старался, чтобы его поняли. И его понимали: чужой, а вроде и не чужой. Он все лучше узнавал обычаи, повадки, наклонности каждого народа, да и особенности, слабости жителей того или иного аула. Тонко и все уверенней пользовался этим своим богатством. Однажды он разнял двух дерущихся осетин. Разнял, не прикоснувшись к ним, даже не вымолвив ни слова, а кинув к их ногам носовой платок. Оба парня остолбенели. Ведь обычай велит: если старая осетинка так бросит свой платок — остановись и драться не смей. Перед парнями был мужчина, и не старый, и явно не осетин. Все же оба поддались волшебству обычая даже в столь комичном преломлении.

Горцы все сильнее привязывались к Сергею Мироновичу. По свидетельству бакинского юриста Константина Николаевича Дигурова, жившего до революции во Владикавказе, влияние Кирова на горцев было подчас властнее священнейших обычаев, судебных приговоров: его приглашали мирить кровников — людей, взаимная враждебность которых не ведала границ.

Киров страдал оттого, что не может писать о бедствиях горцев.

Запрещалось писать и о многом другом.

Лишь иногда на газетный лист пробивалась статья о какой-нибудь очередной глупости какого-нибудь царского ведомства. Министерство внутренних дел вдруг обрадовало Россию проектом упразднения слова «мещанин». Сергей Миронович писал тогда:

«Залежавшееся в изгибах длинной истории слово это промокло насквозь пошлостью и покрылось толстым слоем духовно-нравственной ограниченности. Слово «мещанин» глубоко врезалось в сознание каждого. И как только оно встает перед нами, за ним неизбежно ползут скука, обывательщина, отсутствие интересов и полная духовная приниженность…

Разжаловать мещан, конечно, недолго. При известной расторопности это можно сделать в один день. Но куда девать разжалованных; что делать, когда рассыплется на мелкие кусочки милая мещанская психология, так привыкшая к вековой слякоти?

Россия без мещан!

Это так же несовместимо, как республика без граждан, как Рим без рабов.

Упразднить мещанина — это значит начать перестраивать всю живую Россию!..

Нет, проект об упразднении мещанина кажется совершенно невероятным, и лучше взять его обратно.

Милый мещанин, живи и не тревожь своего векового покоя слухами о покушении на твое благополучие, тихое и безмятежное до отвращения.

Помни одно:

Блажен, кто спит и днем и ночью, — ему обеспечена благодарность квартального».

Всё. Предел, за которым — штрафы, суд, ссылка, тюрьма.

Под игом царской цензуры работа каждого мыс-лящегб, передового журналиста была сложна, полна опасностей, а большевика — подавно. Киров не жаловался. А как ему порою тяжко, лучше всех знал его друг Александр Тихонович Солодов. Солодову и самому жилось плохо. Он был старше на десять лет, опытен, честен. Одесса, Киев, Екатеринодар — нигде не приживался. Колесил из города в город, наивно мечтая о земле обетованной. Владикавказ ею не был.

Никогда Солодову не удавалось найти правдивые слова, устраивавшие цензуру. Так продолжалось и в «Терской жизни», куда он перешел. Однажды он напечатал статью о том, как некий человек и его друг Сергей страдают от неудовлетворенности своим трудом.

Опубликовал вскоре подобную статью и Сергей Миронович:

«Ведь это легко сказать — открывать себя просто и свободно. А сколько здесь внешних непреоборимых препятствий… Как часто

и много, прежде чем перо схватит мысль, быть может и маленькую, приходится ее мучить, рвать и делать «приглядной» для постороннего взора…

Здесь именно и лежит начало всех начал душевной драмы тех, кто жизнь сковал с газетной строчкой.

Драма эта молчаливая, незаметная, скрытая. Но в том ее ужас».

Статья называлась «Вместо венка».

Она посвящена была Солодову — Солодов застрелился.

Произошло это в 1914 году, накануне войны.

7

Большевики задолго до империалистической войны предвидели ее неизбежность. На Тереке о том писал Киров. Намеками, а иногда открыто внушал он читателям, что кровавые схватки за передел мира, за рынки и колонии, за барыши были и остаются спутником господствующего строя:

«Народы воевали, воюют и неизбежно будут воевать, так как господствующая капиталистическая культура может поддерживаться и распространяться в глубь земного шара только тогда, когда она насажена на острие штыка или скрыта в недрах орудийного снаряда».

В далеком от фронтов Владикавказе война была для Кирова рядом, она осязалась каждодневно: кроме всего прочего, редели сколоченные ценой долгих усилий подпольные кружки, кружковцы надевали серые шинели. Партийная организация, уже складывавшаяся на Тереке, распадалась. С мыслью о создании устойчивого подполья в горных аулах и селениях пришлось и вовсе расстаться: всех, кого исподволь подготавливали к вступлению в партию, власти усылали теперь на фронт, на тыловые работы.

Применяясь к новой обстановке, Сергей Миронович продолжал, усиливал нелегальную работу. Обрисовать ее невозможно пока. Из-за конспирации и гибели сотен активных участников революционной борьбы многое все еще требует тщательного изучения, уточнений. Но о том, насколько сложной и многогранной была работа Кирова, свидетельствуют и имеющиеся, вполне достоверные сведения.

Через петербургского студента Николая Андреевича Анисимова, ставшего затем вожаком грозненских большевиков, Киров поддерживал контакт со столичной партийной

организацией. Весной 1912 года, возвращаясь домой после суда, Сергей Миронович связался и с московской партийной организацией. Помог в том сибирский боевик Ведерников, переселившийся в Москву, где в 1917 году был одним из руководителей Октябрьского переворота. Летом 1913 года нелегально побывал в Москве либо Киров, либо кто-то другой по его поручению. Это отмечено в паспорте на чужое имя, которым Сергей Миронович пользовался ряд лет. С тем же паспортом Киров или еще кто-то ездил и в Астрахань, и в Бугурусланский уезд, и в Саровскую пустынь, и опять в Москву. Летом 1915 года из Сибири в Ростов-на-Дону переселился друг юности Михаил Попов, и Сергей Миронович тотчас же сообщил ему местные явочные адреса. Вскоре Киров и сам приехал. Его хотели перевести туда на руководящую нелегальную работу, но он не согласился жить на иждивении партийной кассы, а подыскать ему приемлемую службу в Ростове-на-Дону не удалось. Полякова вспоминала, что Киров общался также с партийцами из Баку, Тифлиса, Екатеринодара и других городов.

Прямые и косвенные связи с партийными комитетами этим, безусловно, не ограничивались. Во всяком случае, Киров был постоянно в курсе партийных решений, читал новые произведения Ленина, получал нелегальную литературу. Кое-что перепечатывал и во Владикавказе, и в Грозном, и в Нальчике.

Сергей Миронович неоднократно бывал в Грозном, придавая особое значение этому единственному на Тереке крупному пролетарскому центру. Туда, в Грозный, по два-три раза в году приезжал Анисимов, с которым Киров сдружился. Туда, помимо Турыгина, направил Сергей Миронович молодую владикавказскую большевичку Эмму Осиповну Блок. По заданию Кирова туда, наряду с Никитиным, ездил Серобабов. Нефтяники провели несколько мужественных забастовок. Забастовочное движение, закаляя рабочих, выдвигало умелых борцов против капитализма — одним из них был Михаил Самойлович Мордовцев, рабочий, член партии с 1908 года, в будущем герой партизанской войны на Северном Кавказе. Большевистская организация Грозного росла и к 1917 году пользовалась безраздельным влиянием среди рабочих и солдат.

Бывал Киров также в Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Ессентуках, привозил произведения Ленина, нелегальные газеты, листовки — не сидите сложа руки, товарищи, не сокрушайтесь, что нет у вас пока настоящей партийной организации с комитетами, собственными типографиями. Побольше внимания агитации среди мобилизованных, в воинских частях. Особенно среди раненых,

ведь Терек весь почти превращается, превратится в огромный лазарет. Сергей Миронович и сам часто проникал к солдатам, придумывая для того всяческие способы. Как корреспондент «Терека» он даже раздавал в госпиталях рождественские и пасхальные подарки. Вручит подарки, а в добавление — задушевная беседа с двумя-тремя выздоравливающими, еще с двумя-тремя, еще с несколькими.

Хотя военные строгости были неимоверны, на промышленных предприятиях, в аулах, в деревне большевистское влияние не угасало. Наоборот, оно было еще ощутительней. Даже в казачьи станицы просочилось революционное брожение. В 1915 году начальник области и атаман терского казачьего войска генерал-лейтенант Флейшер в секретном циркуляре № 22 предостерегал подчиненных:

«По имеющимся секретным сведениям, революционные организации уже мобилизуют свои силы для использования крестьянских масс тотчас по окончании войны в целях развития в них недовольства правительством и возбуждения их на почве земельного их неустройства и неустройства их быта».

Начальникам округов циркуляр предписывал весьма тщательно подобрать политически благонадежных лиц на должности атаманов станиц, сельских старшин, старост, писарей. Генерал и таким лицам не очень-то доверял, повелев строго следить за ними, а чуть что — немедленно удалять с должностей.

Не только крестьян готовили большевики к политическим сражениям. Прежде всего рабочих. И не только их. Киров выработал вполне оправдавшую себя тактическую меру воздействия на массы, о которой Анисимов говорил впоследствии, на VI съезде партии:

— До переворота у нас имелась небольшая организация, преимущественно из учащейся молодежи; главной ее целью была подготовка будущих партийных работников… На создание их были направлены все наши усилия…

Вокруг Кирова собралась группа талантливых студентов, молодых интеллигентов, которых он исподволь приобщал к революционному движению. Разное влекло их к нему. Кто угадывал в нем большевика. Кому нравился он как человек и журналист. Многим же было по душе его уважение к национальной культуре народов Терека.

Некоторые горцы, получив образование, чурались всего своего, родного. Коста Хетагуров, звезда обеих Осетий, Северной и Южной, и то был у них не в чести. Это волновало Кирова. Однажды он, листая старый комплект «Терека», набрел на опубликованное письмо в редакцию. Человек, выпустивший

биографию Хетагурова, послал полтораста экземпляров наложенным платежом видным владикавказским осетинам, оповестив их, что деньги пойдут на цели просвещения. Книги вернулись к издателю невыкупленными.

— Непостижимо, — проронил Сергей Миронович.

В 1915 году, августовским днем, ему в «Терек» принес стихи юный семинарист. Сергей Миронович недолюбливал графоманов-курортников, валивших летом в редакцию косяками. Да и вообще был, видимо, не в духе. Как раз тогда Сергея Мироновича ожидали серьезные неприятности. Его разыскивала уржумская полиция, поскольку он не отбыл воинской повинности. Владикавказские власти хотели призвать его в армию рядовым. Короче, Киров принял семинариста сухо:

— Стихов не печатаем.

— Жаль…

В одном слове Киров услышал все, что хотел бы сказать в долгой исповеди семинарист, в будущем известный осетинский поэт Андрей Семенович Гулуев.

— Покажите стихи.

Киров прочел:

Вот и могила Баяна родимого!
К ней издалека я рвался душой,
К ней, приютившей поэта любимого, —
Сына страдания неисчислимого, —
Жаждал предстать я с горячей слезой.

Плачет могила, людьми позабытая,
Жалкая надпись на жалком кресте…
Где же ты, сердце, тоскою убитое?
Где же вы, слезы, народом излитые
В скорбный ответ благородной мечте?

Спи, позабытый страною беспечною!
Тихо покойся в могиле немой.
Там не тревожатся болью сердечною,
Там, под могильными сводами вечными,
Сердце не знает печали земной.

— Хорошие стихи, нужные, — сказал Сергей Миронович и попросил написать к ним вводную заметку.

Заметка Гулуева не подошла. Стихи его Киров напечатал с редакционным послесловием:

«Одинокий голос, рассказывая о непосредственных

впечатлениях осетина-интеллигента при посещении могилы Коста Хетагурова, вновь поднимает вопрос о достойном увековечении имени чуть ли не единственного осетинского поэта, выступившего в национальной литературе».

Вскоре Сергей Миронович поместил в «Тереке» и едкую статью молодого осетинского учителя И общественного деятеля Владимира Давидовича Абаева о неизжитом пренебрежении к памяти великого поэта и к его творчеству.

8

Февральская революция окрылила трудящихся Терека, вселила надежду на избавление от нужды. Забитые, не искушенные в политике, многие пошли за меньшевиками и эсерами, за буржуазными националистами.

Начальника области сменил назначенный временным правительством комиссар, ярый казачий реакционер Караулов. Национальная буржуазия сколотила какое-то подобие правительства — Центральный комитет объединенных горцев. Во Владикавказе возникли Совет, рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов, где преобладали меньшевики и эсеры.

Нужно было высвободить, вырвать трудящихся, особенно рабочих и возвращающихся с фронта солдат, из-под влияния буржуазии и соглашателей. Это было главным для большевиков, немногочисленного, ко закаленного в подполье отряда, который теперь уже открыто вел Киров.

Он сумел объединить оба городских Совета, рабочий и солдатский. В новом Совдепе большевики сразу же потребовали введения восьмичасового трудового дня — царя сбросили, а пользы рабочему человеку пока никакой. Меньшевики и эсеры провалили требование большевиков. Поражение не обескуражило Кирова — пусть все видят, о ком пекутся соглашатели, а своего мы добьемся.

Киров был неузнаваем. Все, что было сковано в нем конспирацией, жандармской слежкой, преследованиями, раскрепощалось, расцветало. Даже близкие друзья не подозревали, что он блестящий оратор, подлинный трибун. Его голос, звонкий и сильный, поражал красотой, богатством интонаций. Начиная обычно речь спокойно, Сергей Миронович потом говорил, волнуясь, и волновались все. Когда он гневался, гневались все. Когда он смеялся, смеялись все. Его речи были неотразимы. Где бы он ни выступал: в железнодорожном ли депо,

в каком-нибудь клубе или учебном заведении — везде было полно. Раз услышав его, люди, далекие от политики, и то допытывались, где еще будет выступать Киров.

Он был неутомим. В один и тот же день его видели и на Алагирском заводе, и в Ольгинской гимназии, и в Апшеронских казармах, и на площадях, на грузовике, превращенном В трибуну. Благодаря изобретательности и опыту Киров владел множеством агитационных приемов, сокрушительных для его противников. Он любил, например, приходить на собрания буржуазных партий. Полякова рассказывала, как позвал ее однажды Сергей Миронович на эсеровский митинг. У входа барышня продавала эсеровские листовки. Киров дал Поляковой пачку своих листовок. Полякова развернула их веером:

— У нас бесплатные!

Эсеровская барышня зашипела, но все потянулись за даровщинкой.

Оратор что-то говорил, а его заглушали возгласы:

— Дай бесплатную!

Увидев Кирова, эсеры обиделись. Разыгралась такая сценка.

Эсеры. Вы зачем пришли?

Киров. Разве митинг ваш секретный?

Солдат (узнав Кирова). Вот бы послушать кого, ребята!

Эсеры. Тише, тише!

Солдат. Давай, Киров, на трибуну!

Эсеры. Тише, тише!

Солдаты (Кирову). Лезь, парень, чего стесняешься!

Эсеры (Кирову, уже злобно). Зачем сюда пришел?

Киров. Резолюцию предложить. У вас много слов, а толку мало. У меня короче, лучше и бесплатно!

Киров продвигался к трибуне. Резолюция у него действительно была наготове.

Весной начало прибывать на Терек партийное пополнение — из эмиграции и ссылки, с каторги, из армии, из Москвы, Петербурга и Закавказья. Приехал Ной Буачидзе. Приехали замечательные большевики Мамия Дмитриевич Орахелашвили и его жена Мария Платоновна. С фронта возвратился Саханджери Гидзоевич Мамсуров, один из первых осетинских большевиков. К ним присоединились московские студенты, светлые головы, Георгий Александрович Цаголов и Георгий Николаевич Ильин. Сплоченные и энергичные, большевики завоевывали предприятие за предприятием.

Прозревали постепенно трудящиеся и в горских селениях, аулах.

В Осетии возникла мужественная партия керменистов,

шедших с большевиками. Название партии дало имя легендарного народного героя Кермена. Ее основателями были Гибизов, Кесаев, Гостиев, Созаев. Чтобы укрепить партию «Кермен», в нее по совету Кирова вступил молодой коммунист Георгий Цаголов. Сергей Миронович верил, что благодаря Цаголову «Кермен» скорее политически созреет и вольется в коммунистическую партию. Это сбылось.

Старшим по возрасту был Николай Урусбиевич Кесаев, успевший до революции окончить Петербургский университет и продолжить образование в Германии, Франции и Италии. Дебола Даппоевич Гибизов учился в Московском университете, Андрей Батмурзович Гостиев — в Киевском коммерческом институте, Тарас Васильевич Созаев — в университете Шанявского. Из всех них в гражданскую войну выжил только Созаев.

Киров руководил обороной осажденной Астрахани, когда ему в конце июня 1919 года рассказали кое-какие подробности гибели керменистских вожаков. Как ни был занят Сергей Миронович, он тотчас же, ночью, принялся за статью «Памяти дорогих товарищей керменистов»:

«Много энергии и сил приложили Кесаев и Гибизов, чтобы партия сделалась достойной выразительницей чаяний осетинской и всей горской бедноты…

Те, кто чувствовал опасность для себя в этом новом движении — истинно-народном, пролетарском, — начали борьбу против «Кермен» с самого появления партии на политической арене…

Но ничто не могло поколебать убежденную самоотверженность первых вождей керменистов — Кесаева и Гибизова.

Гибизов на собраниях и съездах появлялся редко; он был мозгом партии, он работал внутри нее, направлял ее тактику и определял задачи, когда он еще был один, когда не были еще в партии Андрей Гостиев и Георгий Цаголов.

Товарищ Кесаев — активный работник во всех советах и на съездах…

Вечно жизнерадостный, он не унывал. Он только смеялся над тупостью тогдашних вершителей судеб Осетии».

Сергей Миронович добавил несколько черточек к портрету Гибизова:

«Вдохновенный и влюбленный в свою идею, он был центром партии, идейным вождем ее. Для керменистов его мнение всегда было решающим. Его любили как вождя и как друга и товарища самого безупречного поведения и глубокой искренности. Он был самый устойчивый, прямолинейный и неутомимый культурный работник.

В родном селе Христиановском к нему относились почти с благоговением. Старики приходили к нему, молодому человеку двадцати шести лет, и просили совета».

Сергей Миронович продолжал:

«Таков был и Андрей Гостнев… Больной туберкулезом, он задыхался скорее от того, что не мог деятельно все отдать на служение народу, чем от своей болезни…

Одной ногой он был в могиле, но все-таки рвался к борьбе, жил этой борьбой, борьбой за обездоленных, за бедноту. И не отдал жизнь черной чахотке. Нет! Он отдал жизнь за эту бедноту, он умер за идею…

Георгий Цаголов погиб в родном селе, окруженный черной стаей в дни разгрома Христиановского. Пламенный оратор, неутомимый проповедник социализма и коммунизма, молодой студент Московского университета (ему было двадцать три года) принес себя в жертву за социальное равенство, за право бедноты, за ее диктатуру.

Вместе с Гибизовым он переносил всю тяжесть работы в партии по идейному и организационному руководству. Он вдохновлял партию духом решимости. Если Гибизов был прямолинейный человек и голова партии, если Гостиев был ее душой, гибким политиком, всегда дававшим партии верный диагноз политического момента и верную тактику, то Цаголов был деятельным агентом партии, вдохновлял товарищей на героический подвиг и на неутомимую деятельность.

Эти три товарища унесли как будто всю партию. Это мозг, душа и руки партии. Но они ее не унесли… Они оставили еще живым товарищам свой пример, свою неутомимую работу. Они оставили себя в партии, она дышит их духом, она создана ими и будет идти по намеченному ими пути…

Прощайте, товарищи, вы с честью прошли свой доблестный путь благородный!..»

Статья была опубликована в 1919 году под псевдонимом Арцу Тохов, что в переводе с осетинского означает: вернись, победа.

9

Летом 1917 года партийная организация и Совдеп командировали Кирова в Петроград. На обратном пути, в Москве, Сергей Миронович узнал о мятеже Корнилова, двинувшего на Петроград части Туземного корпуса, в который входила дивизия,

состоящая из горцев, так называемая «дикая дивизия». Моссовет по предложению Кирова связался с Владикавказом, и в эту дивизию послали горскую делегацию. Она разъяснила солдатам, что их натравливают на петроградских рабочих. Дивизия отказалась участвовать в контрреволюционной корниловской авантюре.

Когда Сергей Миронович возвратился во Владикавказ, начались перевыборы Совдепа. Баллотировалось несколько списков. Полугодие настойчивой работы большевиков дало себя знать: их список собрал больше голосов, чем все остальные списки, вместе взятые.

Совдеп стал большевистским.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Октябрьская социалистическая революция застала Кирова в столице. Он был делегатом II Всероссийского съезда Советов, участвовал в боях за большевистскую власть, участвовал и в выработке Декрета о земле, проект которого написал Владимир Ильич Ленин.

4 ноября 1917 года Сергей Миронович возвратился из Петрограда. Владикавказ жил словно в тумане. Достоверные слухи о великих событиях, совершившихся на берегах Невы, смешивались с измышлениями, которыми наводняли провинцию столичные меньшевики и эсеры, телеграфные агентства и чиновники поверженных ведомств. Помимо того, местный телеграф захватили эсеры. Они уничтожали все неугодные им телеграммы, даже адресованные частным лицам.

Весть о приезде Кирова облетела и центральные кварталы, и слободки, и ближние селения, аулы. Вечером в городском театре собрался Совдеп. Зрительный зал не вместил всех пришедших. Заводские рабочие, железнодорожники, казаки, горцы, солдаты, учащиеся заполнили фойе и балконы, облепили подоконники. Была запружена вся площадь у театра.

Киров выступил с докладом. Сергею Мироновичу верили, его выступление встретили восторженно.

Столь же восторженно встречали его в последующие дни всюду, где он бывал, рассказывая об Октябре.

Однако ни пылкие резолюции, ни рукоплескания, ни почести, воздаваемые по обычаю доброму вестнику, не опровергали печальной истины: из-за вековой отсталости горских народов и национальной розни, из-за неизбежного вооруженного сопротивления контрреволюционеров взять сразу власть в руки терским большевикам нельзя.

Надо было терпеливо примирять, объединять народы области и вести их против общего врага — контрреволюции. Благодаря этой единственно разумной тактике трудовые слои населения проникались ленинской правдой. К концу ноября у владикавказских меньшевиков не осталось и десятка рабочих. Грозненские большевики добились почти безраздельного влияния в Совдепе. В гарнизонах Владикавказа, Грозного, Пятигорска, Георгиевска солдаты шли за большевиками.

Тем не менее сила была на стороне контрреволюции. Выбитые из средней полосы России, царские генералы и офицеры, фабриканты и помещики, отставные политические воротилы стекались к югу. На Дону и Кубани, в Закавказье начался поход против советской власти. Тревожно было и в Терской области. Горские и казачьи верхи, сговорившись во Владикавказе, образовали терско-дагестанское правительство.

В города, станицы, аулы понабилась военщина. Казачьих и горских кулаков в изобилии снабжали оружием, снарядами, патронами.

Контрреволюционеры клеветали на большевиков, натравливали казаков на горцев, горцев на солдат, одну горскую народность на другую. Солдат, едущих с фронта и рвущихся домой, черносотенцы не пропускали через Дагестан и Терек — по наущению своей знати отсталые горцы разбирали железнодорожные пути, взрывали мосты. Убивая в Грозном чеченцев, контрреволюционеры приписывали эти преступления русским рабочим. Воспользовавшись клеветой, горские офицеры напали на город, подожгли новогрозненские промыслы, глумились над населением. Пригласив чеченского шейха для мирных переговоров, казаки убили его. Тогда чеченцы сожгли казачью станицу, а казаки сровняли с землей три аула. В отместку за издевательства казачьих погромщиков горцы в районе Моздока обложили несколько станиц.

Тысячи и тысячи людей втянулись в братоубийственную вражду, их отвлекли от революции. Теперь терско-дагестанское правительство могло открыто действовать и во Владикавказе. В предновогоднюю ночь офицерская банда ворвалась в Совдеп, арестовала президиум во главе с Буачидзе и Орахелашвили, разгромила партийный комитет большевиков. На улицах расклеивала плакаты: «Смерть большевикам!»

Сергея Мироновича не было ни в Совдепе, ни в партийном комитете, и офицеры-бандиты разыскивали его. Охраняемый друзьями, он тотчас же, ночью, связался с керменистами. Керменисты, не мешкая, двинули из осетинских селений вооруженный отряд, прибывший наутро во Владикавказ. К отряду присоединились большевистски настроенные солдаты и вместе с рабочими-дружинниками спасли арестованных от расправы.

В городе хозяйничали офицеры, соперничая с уголовниками в грабежах, убийствах. Жители не выходили из дому, даже боялись хоронить покойников. Кто имел оружие, пробивал в каменной ограде бойницу и караулил свой кров.

Киров, Буачидзе, Орахелашвили укрепляли дружины, наводили порядок в слободках, защищая от произвола прежде

всего рабочих, бедноту.

Через неделю, когда на окраинах стало поспокойнее, Сергей Миронович надолго покинул Владикавказ.

2

Это было на исходе января 1918 года.

В степном городке Моздоке, окруженном станицами, созвали областной съезд. Под видом съезда народов Терека казачьи атаманы хотели провести свое сборище и, сколотив воедино контрреволюционные силы области, обрушиться войной на ингушей и чеченцев — тогда большевикам будет не до провозглашения советской власти. Уже был отдан приказ о наступлении на оба обездоленных народа, и, чтобы придать истреблению их видимость законной войны, оставалось лишь заручиться одобрением съезда. Получить одобрение было не так уж трудно: Моздок превратился в военный лагерь, здесь собрались тысячи вооруженных казаков контрреволюционного толка.

Но на съезде был Киров.

Своевременно поняв истинные цели контрреволюционеров, он еще до съезда в нескольких городах убедил представителей партий, называвшихся социалистическими, сблокироваться и послать своих делегатов в Моздок, чтобы там сообща отстаивать мир. Социалисты разных оттенков согласились с предложением Кирова — одни из боязни опозориться в низах потворством войне, другие были просто не прочь примазаться к его идее, не сомневаясь, что большевики, так или иначе, одержат верх, не допустят истребления горцев.

Выборам делегатов от сблокировавшихся партий казачьи атаманы не очень-то препятствовали, иначе сборище уже слишком явно лишится элементарных признаков демократизма и никак не сойдет за народный съезд. Да и не верили контрреволюционеры в прочность блока. У них была своя ставка. Они задумали сорвать приезд чечено-ингушских делегатов и сумели этого достичь.

В Моздок Сергей Миронович прибыл с горсткой владикавказских, пятигорских, минераловодских большевиков-делегатов. Там он вместе с Буачидзе возглавил социалистический блок. Блок был крепок, поскольку меньшевикам, эсерам и другим его участникам-социалистам казалось, будто они добились у Кирова важнейшей уступки: к их удивлению, он обещал, что

большевики не будут стремиться на съезде захватить власть. Несмотря на искренность обещания, Сергей Миронович никакой уступки не сделал, считая провозглашение советской власти преждевременным. Это был тактический маневр. Благодаря ему Киров и Буачидзе свободно повели за собой весь социалистический блок, то есть добрую половину делегатов, которых большевики успели настроить на мирный лад.

И когда на первом же съездовском заседании контрреволюционеры потребовали одобрить начинавшееся наступление против ингушей и чеченцев, Киров и Буачидзе, а также другие большевики возразили: ни в коем случае.

Казачьи верховоды, сидевшие в президиуме рядом с Кировым и Буачидзе, оглашали разные фальшивки, пытаясь выдать их за «поступающие с мест» донесения о каких-то зверствах ингушей и чеченцев. В зал с воплями вбегали пьяные. То они будто бы сами видели спускающиеся с гор лавины всадников-чеченцев. То исступленно умоляли вызволить их станицу, будто бы разоряемую нагрянувшими ингушами.

Кликушеские выходки тотчас же пресекали, разоблачали и Киров, и Буачидзе, и передовые горцы. Устроителей съезда, полковника Рымаря и есаула Пятирублева, принудили отменить приказ о наступлении. Чтобы приостановить военные действия, назначили мирную делегацию. Впоследствии, в 1919 году, Григорий Константинович Орджоникидзе в докладе Совету Народных Комиссаров писал об этом:

«Только благодаря умелой политике наших товарищей, главным образом тт. Кирова и Буачидзе, удалось расстроить казацкую махинацию и не допустить объявления съездом войны горцам».

Тут произошла на съезде неожиданность, которая была на руку контрреволюции.

Предотвращение войны, достигнутое ценой неимоверного напряжения ума и воли Кирова и Буачидзе, вскружило голову нескольким большевикам. Восприняв разоблачение казацкой махинации как легкую победу, эти большевики вздумали воспользоваться ею и торопливо рвануть вперед, провозгласить советскую власть. Они не понимали, что их левацкое заблуждение, разрушая едва наметившееся единство съездовского большинства и стоящего за ним населения, опять разожжет межнациональные и межпартийные распри, неизбежно вызовет войну.

На беду, к заблуждающимся большевикам примкнули уставшие от войны честные казаки-фронтовики, наивно полагавшие, что центральное правительство способно в

мгновение ока, по команде сверху, утихомирить бурлящий Терек. Примкнули и махровые контрреволюционеры, надеявшиеся получить из столицы побольше оружия и под советским флагом бить горцев или по меньшей мере расколоть социалистический блок.

Сто тридцать два делегата подписали и поставили на обсуждение декларацию о признании Совета Народных Комиссаров РСФСР.

От имени социалистического блока против нелепого и грозного союза заблуждающихся и провокаторов выступил Киров.

Он оказался в труднейшем положении: большевик, почти полтора десятилетия, почти полжизни отдавший подполью, тюрьмам, ради торжества пролетарской власти вынужден был сейчас упорно противиться немедленному признанию ее.

Был вечер, в зале моздокского кинематографа мерцали две керосиновые лампы. Зал замер.

— Душно, откройте двери, — сказал Сергей Миронович, желая, чтобы его слышала толпа, собравшаяся вокруг приземистого здания.

Сергей Миронович напомнил о древней легенде. Прометей похитил с неба огонь для людей. Его в наказание приковали к скале на вершине Казбека, обрекли на вечные муки. Как Прометей, скованы и истерзаны народы Терека гнетущим прошлым, былой враждой, старыми предрассудками, ложью и наветами. Прометей жаждет свободы, но расковать его под силу лишь всем народам, в их едином порыве. Раны титана надо исцелить, не нанося ему новых ран. Тогда Прометеев огонь будет обогревать мирные очаги всех трудовых казаков, всех трудовых горцев, и никаким врагам не раздуть этот огонь в пожар войны.

— Нам здесь нужно объединиться и создать прочный кулак, чтобы избежать нависшей опасности… Если мы этого не сделаем, то будем разбиты по частям. Если перед победным шествием народа ничто в мире не может устоять, то это при условии, что оно идет стройными рядами… Если трудовой казак не будет жить мирно с трудовым горцем, то и Совет Народных Комиссаров вам не поможет… Между Терской областью и Советом Народных Комиссаров стоит с полчищами генерал Каледин, и, пока там не будут разбиты контрреволюционные полчища, с севера ждать помощи нельзя. Нам надо рассчитывать только на свои силы и задушить свою контрреволюцию. Поэтому, когда мы пришли на съезд, мы в нашем приветствии к вам призывали вас создать единый фронт… И если в Терской области можно спасти положение, то только единым фронтом…

Часа полтора длилась речь. Потом Сергей Миронович вновь

поднялся на трибуну. Где нужно, то округло, а где можно, то напрямик, он доказывал, как важно отложить создание своей, прочной власти до другого раза, когда в более спокойной обстановке соберутся сыны всех терских народов, не исключая ингушей и чеченцев, которых кое-кто считает извергами и которых сюда, в Моздок, не пустили. Ни воинственность, ни каверзность, ни граничащая с каверзностью наивность иных делегатов не сбивали Кирова, не лишали находчивости. Его вкрадчиво спросили, вызывая на спор:

— Кому будет эта власть подчиняться?

Он мгновенно отпарировал:

— Люди так привыкли кому-либо подчиняться, что, не успев создать власть, спрашивают, кому ее подчинить. Сейчас фактически вашу власть вы никому подчинить не можете, пока там, на Дону, царит Каледин. Часть Кавказской армии признала власть Совета Народных Комиссаров. Ей были посланы деньги, но их перехватил Каледин. Вы создайте революционную демократическую власть, и она, конечно, будет подчиняться только общенародной власти.

Как ни крутили, как ни вертели честные и нечестные из ста тридцати двух делегатов, подавших злополучную декларацию, выходило, что прав Киров. Декларация сама собой отпала. Съезд внимал Кирову, призвавшему в резолюции вскоре собраться снова. Газета «Горская жизнь» писала в репортерском отчете:

«Резолюция ставится на голосование и принимается съездом в составе свыше четырехсот делегатов единогласно под гром аплодисментов на всех скамьях и многочисленной публики у входов».

3

Второй съезд народов Терека созвали в Пятигорске 1 марта[1].

Народный дом сотрясали овации, когда говорили Киров и Буачидзе, а говорили они по-прежнему о единстве. Кое-кто недоумевал, почему оба они медлят, словно не слыша оваций.

Но Киров и Буачидзе не медлили — они избегали поспешности.

По их замыслу впервые в истории возник в Терской области единый фронт трудового народа, принесший трехнедельное мирное затишье. А к открытию пятигорского съезда кто-то приурочил кровопролития на берегах Терека и Сунжи, близ Грозного. Из-за этого ни один ингуш, ни один чеченец опять не

попал на съезд. Казачьи есаулы, скрывая злорадство, лицемерно сокрушались: не хотят мира ингуши и чеченцы, оттого их и нет здесь.

Связь с Чечней прервалась. Киров получал вести лишь из Ингушетии, куда послали двух партийцев, грузина и русского, которые помогли выбрать делегатов и сопровождали их в Пятигорск.

Возглавлял делегацию двадцатисемилетний Гапур Сеидович Ахриев. Его в детстве взял под свою опеку дядя, владикавказец Ассадула Ахриев, один из первых ингушей с университетским образованием, бывший народоволец. Гапур окончил в Москве реальное училище и Коммерческий институт, после чего поселился во Владикавказе. Гапур не искал выгодных должностей, довольствовался заработком мелкого служащего, ходил в поношенной студенческой форме. Его мечты поглощала кооперация — по-тогдашнему кооперативизм, — модное поветрие, казавшееся многим горцам средством избавления аулов от нищеты и темноты.

Познакомившись с Кировым в 1916 году, Гапур, не чуждый и прежде революционности, приблизился к идеям понадежнее кооперативизма. Большевиком Гапур Ахриев пока не стал, но во всем следовал за Кировым, нередко выступал с ним на митингах, был депутатом владикавказского Совдепа.

Отсутствие ингушских делегатов, особенно рассудительного, образованного Ахриева, очень мешало на съезде Кирову, и он терпеливо ждал их. Ждал, хотя последняя весть гласила: под Владикавказом три человека из охраны убиты в схватках с казачьими контрреволюционерами, прорваться на железную дорогу все еще не удалось.

Киров ждал не напрасно. Оберегаемые ингушской кавалерийской сотней, делегаты пробились на станцию Беслан, где русские рабочие-железнодорожники день и ночь держали для них наготове паровоз и вагоны.

Когда поезд уже несся мимо поднятых семафоров, увидели скачущего всадника:

— Асланбек!

Всадник прямо с коня легко скользнул на ступеньки вагона, принятый в братские объятия.

Это был Асланбек Джемалдинович Шерипов, юноша, который спустя несколько месяцев прославился как командующий чеченской Красной Армией и спустя еще год, двадцати двух лет, пал в бою, чтобы вечно жить в памяти народов Кавказа.

Сын офицера-переводчика, Асланбек воспитывался в кадетском корпусе. Усваивал тонкости военной муштры, а заодно

— русский, французский, немецкий, английский языки и латынь. Но предпочел перевестись в Грозненское реальное училище. Сердце юноши принадлежало чеченским легендам и русской поэзии, его кумиром был Лермонтов. Любимые стихи Асланбек переписывал в тетради, выучивал наизусть, родные легенды и песни переводил на русский,

Впоследствии Киров заинтересовался этими народными творениями. В совместных объездах аулов, бок о бок в седлах, на горных тропах, Сергей Миронович, бывало, задумчиво молчал часами, роняя лишь слова благодарности, когда по его просьбе Асланбек еще и еще читал свои переводы:

Полвека бились. Много пало гордых героев
Под взмахом беспощадной косы красавицы смерти.
Падали самые сильные из сынов свободного Кавказа.
Так под серпом падают самые крепкие,
Твердые и прямые стебли полевых злаков.
И, сгибаясь, спасаются слабые и гнилые…

Иногда Асланбек заводил недавно сложенные кем-то и после Октября успевшие устареть песни-причитания:

О чеченские юноши,
Что же нам делать!
Русский царь нас не любит,
Потому что мы не его веры.
Турецкий падишах нас не любит,
Потому что мы не его подданные.
И гибнем мы, чеченские юноши,
Как гибнет плодородная нива
Без пахаря и плуга…

Говорят, по совету Сергея Мироновича написал Шерипов статью о горском народном творчестве, напечатанную во владикавказской газете «Народная власть», а затем выпустил маленький сборник чеченских легенд.

Октябрь, не заглушив в Асланбеке поэта, сделал его бойцом, Киров — трибуном революции, вожаком бедноты.

Избранный на пятигорский съезд, Асланбек Шерипов очутился в ловушке. Старшины и муллы угрожали ему казнью. Более хитрые устрашали тем, что он найдет себе могилу в казачьих окопах, а если и пересечет их, то его в Пятигорске зарежут или пристрелят. Наконец, Шерипова стерегли, как

пленника. Он тайно от своих и чужих, безоружный, метнулся в Беслан, доверившись коню.

Они не опоздали, пятнадцать делегатов Ингушетии и единственный делегат Чечни, беспартийный, которого друзья и враги считали большевиком. Стройные, суровые, степенно вошли они в пятигорский Народный дом, в зал заседаний, и съезд поднялся, стоя рукоплескал им. Приветствовал их Киров.

Торжественная встреча не помешала казачьим верховодам бросить Шерипову ложное обвинение. Накануне пустили слух, будто чеченцы, хлынув с гор, грабят, губят станицы на Сунже. Шерипов опроверг измышления. От него потребовали доказательств. Он предложил себя казакам в заложники, и ему поверили, не могли не поверить. Встревоженность честных сунжеских делегатов-казаков унялась.

Тогда снова подняли голос торопыги, они не могли понять «медлительности» Буачидзе и Кирова. Оба по-прежнему старались привлечь на сторону большевиков всех колеблющихся, непонятливых, обманутых. И в конце концов достигли цели.

17 марта 1918 года съезд провозгласил советскую власть. Терская область на правах автономной республики вошла неотъемлемой частью в РСФСР.

4

Съезд переехал во Владикавказ, где от сбежавшего терско-дагестанского правительства остались только офицерские банды, которые удалось разогнать, да несколько перепуганных чиновников-старикашек. Чиновники эти, бывшие генералы, почувствовали себя на седьмом небе, убедившись, что их никто не собирается расстреливать и что на прощание большевики выплатили им месячное жалованье.

Едва съезд, разместившись на окраине, в кадетском корпусе, приступил к делу, как с улицы послышались крики. Там, у панели, в арбах-двуколках лежали обезображенные трупы осетин. Рыдая, стеная, сбегались жительницы окрестных кварталов. Сбегались мужчины с винтовками наперевес и выхваченными из ножен кинжалами, готовые изничтожить первого попавшегося на глаза ингуша.

Оказалось, близ Владикавказа, между селениями Ольгинским и Базоркином, между осетинами и ингушами идет бой. Обе стороны беспощадно убивают мужчин, уволакивают в плен детей и женщин.

Разъяренную толпу успокоил Киров.

Съезд счел, что Киров сможет остановить кровопролитие.

С ним послали Солтан-Хамида Заурбековича Калабекова, балкарца лет тридцати пяти. Земледелец из Приэльбрусья, он окончил лишь начальную религиозную школу, но выделялся развитостью, говорил по-русски. В десятых годах Солтан-Хамид свел знакомство с Кировым, изредка виделся с ним и все острее чувствовал, как пагубно враждование бедняков, которых ссорили к своей выгоде повелители, князьки, царские чиновники.

Быть может, у Кирова вместе с передовыми взглядами перенял он черту, снискавшую ему известность и расположение балкарских тружеников: уравновешенность, много раз позволявшую примирять аулы в родном Хуламо-Безенгийском ущелье. Октябрь вывел Калабекова на дорогу общественной жизни, он целиком отдал себя людским нуждам. На съезде его избрали в военную секцию как человека, который искренне желает добра всем терским народам и ни за что не согласится применить оружие во зло.

Друзья предостерегали Солтан-Хамида от участия в мирной делегации, говоря, что слишком опасно связываться с разгневанными осетинами и ингушами, у них свои нравы и повадки, Солтан-Хамид коротко возражал: где бы ни был он, в каменных ли стенах съезда или в окопах, печаль его все равно не уймется, пока без вины льется кровь.

Проводником-переводчиком вызвался послужить осетин Чермен Васильевич Баев. Выходец из Ольгинского, он еще в детстве исходил все тропинки, лощинки, ложбинки и вокруг своего селения и вокруг Базоркина.

По просьбе Кирова оба селения прервали бой. Условились, что начальные переговоры с враждующими проведут в нейтральной зоне, в поле. Когда же мирная делегация направилась туда, в поле, разделяющее окопы, по ней открыли огонь.

Это было неслыханно, неприкосновенность парламентеров и тем паче третьих лиц, не принадлежащих к неприятелям, — обычай, освященный веками, а горцы чтят обычаи строго. Полагая, что произошло недоразумение, Калабеков, медленно ехавший верхом на коне, размахивал развернутым белым флагом, Киров с Баевым высоко подняли белые платки. Стрельба продолжалась. Упал белый флаг — пуля сразила Калабекова. Конь ускакал. Калабекова осторожно положили на межу, пытались перевязать рану, пытались вернуть ему дыхание, но помочь было уже нельзя. Он скончался. Стрельба провокаторов не прекращалась.

Выбравшись из полосы огня, Сергей Миронович и не думал возвращаться на съезд ни с чем.

Не занимать было отваги и Чермену Баеву, прекрасному человеку трагической участи. Как революционер, он еще юношей сидел в тюрьмах по доносу родного брата Гаппо Баева, юриста, владикавказского городского головы. Другой брат, Дзандор, царский полковник, долго таил злобу против Чермена и в 1919 году выместил ее так, как не всякий профессиональный палач решится. Терскую область захватывали белогвардейцы, и Чермен Васильевич защищал от их банд осетинскую бедноту заодно с большевиками. Большевиком он не был, но, по словам Кирова, понимал, что вне советской власти нет спасения ни революции, ни горцам. Зимним днем белоказаки арестовали Чермена Баева, раздетым и разутым погнали в поле и с благословения брата Дзандора застрелили, после чего — возможно, еще живого — облили керосином и сожгли.

Сопровождаемый Черменом Баевым, побывал Киров и в Ольгинском, и в Базоркине, и в окопах. Он убедил враждующих, не возобновляя боя, послать своих представителей на съезд.

Останки Солтан-Хамида Калабекова с почестями отвезли в Приэльбрусье, в верховья реки Чегем. На похоронах основоположник балкарской поэзии Кязим Мечиев сложил песню о Солтан-Хамиде, не позабытую поныне.

Когда над могилой Калабекова впервые звучала песня о нем, пятьдесят ольгинцев и пятьдесят базоркинцев сидели за общим столом во Владикавказе, в кадетском корпусе.

Их помирили.

После этого съезд спокойно закончился избранием Терского народного Совета и Совнаркома во главе с Буачидзе.

Жизнь на Тереке складывалась по-новому. Но контрреволюционеры, притаившись, вооружались. Да и по всей стране было тревожно. Внутренняя контрреволюция усиливалась, начался поход империалистических держав против Советской России. Не миновать было гражданской войны и на Тереке, а его красноармейские части еще только-только зарождались, нужда в вооружении, снаряжении, деньгах росла, и Кирову поручили добиться помощи из Москвы.

5

Ехал он долго, хотя ему и его спутникам дали паровоз и классный вагон: железные дороги страдали от прямого и тайного

саботажа чиновников, от крушений, устраиваемых кулацко-эсеровскими мятежниками, от белогвардейских налетов. Кратчайший путь отрезали немцы, оккупировавшие Ростов-на-Дону. Пришлось с Тихорецкой свернуть на Царицын. Сергей Миронович писал жене, Марии Львовне:

«Сегодня 20 мая. Как видишь, едем не торопясь. Причина — ужасные условия дороги… Вчера выехали из Царицына, но, проехав верст двадцать, оказались свидетелями страшной катастрофы… Столкнулись два поезда… Начинаю подумывать, как доберусь до Москвы, а относительно обратного пути, не знаю, что сказать. Кажется, проедем месяц, если не больше».

В Москве Кирова принял Владимир Ильич Ленин — они уже были знакомы, впервые увидевшись в дни Октября. Владимир Ильич обещал всемерную поддержку. Очень внимательно отнесся к терцам Яков Михайлович Свердлов, председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Все необходимые распоряжения Ленин и Свердлов отдали в течение двух суток.

С владикавказским рабочим-железнодорожником Ильей Васильевичем Остапенко пошел Сергей Миронович на Неглинную, в Госбанк, где обоих немедленно нагрузили тяжелыми пакетами. В них лежало огромное состояние, пятнадцать миллионов рублей. В гостинице «Метрополь» деньги уложили в фибровый чемодан и две дорожные корзины-плетенки, купленные накануне.

На задворках какого-то станционного тупика уже развел пары паровоз с вагоном, в котором ехали сюда. Теперь это был персональный поезд, или, проще, «персоналка», Остапенко: ему Киров велел отвезти миллионы на Терек. По воспоминаниям Остапенко, он в пути вынужден был бросить свой поезд, пробирался водой в Царицын, где обзавелся другой «персоналкой», и достиг Тихорецкой. Дальше за семафор и не суйся из-за вооруженных банд. Из Владикавказа примчался за деньгами бронепоезд.

Получить оружие, обмундирование было сложнее, чем деньги. Арсеналы, цейхгаузы, военные заводы осаждали представители Красной Армии. Часть оружия, выделенного терцам, находилась в разных городах — от Бежецка до Вологды. Киров слал туда своих помощников, проверял их, все бумаги печатал сам на своей портативной машинке, сам вел всю денежную отчетность, причем некоторые документы хранил до последнего дня жизни.

Из Владикавказа протелеграфировали: 20 июня на митинге убили Ноя Буачидзе. Телеграмму о гибели талантливого

партийного деятеля и близкого друга Сергей Миронович прочел молча. Ни слова не проронил. Уходил куда-то из «Метрополя», возвращался. Молчал. Спустя несколько часов заговорил о том, что выстрел в Буачидзе предвещает серьезные испытания. Так оно и вышло. В Моздоке меньшевик Бичерахов вскоре поднял казачий мятеж. Белогвардейские шайки будоражили Кабарду, Грозный и районы, прилегающие к Владикавказу, курортные городки близ Минеральных Вод.

Подготовка военной экспедиции закончилась. В три битком набитых эшелона уместились и тридцать тысяч винтовок, и сотни пулеметов, и орудия, и миллионы патронов, и десятки тысяч снарядов, и обмундирование на двадцать пять тысяч бойцов, и многое другое.

Железнодорожную линию Царицын — Тихорецкая местами оседлали деникинцы, и единственный путь на Северный Кавказ лежал через Астрахань и Калмыцкую степь. Сергей Миронович пустился по Волге на царицынском пароходе «Гурьевец», которому. придали баржу «Матвей», баркас «Эолино», около десятка шхун.

Из Астрахани экспедиция, уже на автомашинах, двинула в безлюдные пески Калмыцкой степи. Беспримерный автопробег завершился в Святом Кресте, где экспедицию ожидали железнодорожные составы. В конце августа оружие и снаряжение передали в Георгиевске красноармейским частям Северного Кавказа, образовавшим впоследствии XI армию.

6

Домой Киров не вернулся, так как белоказачьи банды меньшевика Бичерахова глубоко вклинились в Терскую область, разделили ее надвое. Одну часть, отрезанную от всей страны, обороняли красноармейские отряды Терской республики. Их возглавлял недавно прибывший во Владикавказ Серго — Григорий Константинович Орджоникидзе, чрезвычайный комиссар Совнаркома РСФСР на юге России. В другой части области во главе войск стоял Центральный Исполнительный Комитет созданной в июле Северокавказской республики. Центр ее находился в Пятигорске.

Сергей Миронович поехал в Пятигорск, где работу партийной организации следовало улучшить. Это было пожелание Ленина, у которого с жалобой на Кирова и Буачидзе в начале лета побывал председатель местного Совдепа Григорий Григорьевич

Анджиевский.

Анджиевский был человеком замечательным. О том, как со временем могли бы развернуться его способности, остается лишь гадать — он в неполных двадцать восемь лет погиб на белогвардейской виселице. Горячий, увлекающийся, он иногда действовал ошибочно, однако умел без хитростей, мужественно, как настоящий большевик, признавать свои ошибки.

Сын рыбака, ростовский рабочий-печатник, связанный с революционным движением, Григорий Григорьевич был призван в солдаты, ранен и из госпиталя переведен в запасный полк, стоявший в Пятигорске. Здесь в 1916 году с Анджиевским познакомился Киров. Встречи с Кировым и дружба с фронтовиком-ленинцем Иваном Васильевичем Малыгиным, впоследствии расстрелянным в числе двадцати шести бакинских комиссаров, отточили взгляды Анджиевского, пробудили его способности. Начитанный, красноречивый, пылкий, Анджиевский был привлекателен и внешне. Вскоре он стал любимцем солдатских митингов, а после Октября, — признанным вожаком пятигорских большевиков.

Не искушенный в тактике партийных сражений, стремительный, порывистый, Григорий Григорьевич далеко не все правильно понимал. Ему на съезде в Моздоке представлялось кощунством, что Киров и Буачидзе не только оберегают блок с недругами большевиков, но и сидят в президиуме рядышком с махровыми контрреволюционерами.

Главным сочинителем опасной, если не преступной декларации ста тридцати двух делегатов был Анджиевский. Киров бился с ним ночь напролет в делегатском железнодорожном вагоне на станции и ни в чем не убедил. Избранный заместителем председателя второго съезда, проходившего в Пятигорске, Анджиевский тоже немало мешал делу, хотя и из чистейших побуждений.

Он любил или даже обожал Кирова и тем не менее обвинял его и Буачидзе во всех смертных грехах. Наконец Анджиевский решил искать управу на обоих у Ленина.

Случилось, что Киров и Анджиевский прибыли в столицу одновременно. Увидев Кирова в «Метрополе», Анджиевский обомлел, как вспоминал его спутник Евсей Григорьевич Рихтерман, старый большевик, который, возвратись в 1917 году с каторги, поселился на Северном Кавказе. Анджиевский кинулся звонить в Кремль, чтобы первым увидеться с Владимиром Ильичем.

Ленин полностью осудил заблуждения Анджиевского.

Возвратившись из столицы, Григорий Григорьевич рассказал

о том пятигорцам во всеуслышание. Он старательно исправлял свои ошибки. Анджиевский был переведен на партийную работу, возглавляя впервые избранный окружной комитет РКП (б).

По воспоминаниям Рихтермана, Владимир Ильич говорил Кирову, что надо помочь пятигорским коммунистам поскорее изжить узкие взгляды, местничество, подтянуть их к всероссийским тревогам дня: пусть они получше заботятся о Красной Армии, о поставках хлеба в центральные губернии.

Сергей Миронович не ограничивался помощью Анджиевскому. Он участвовал в боях против банд, много разъезжал, создавал вооруженные коммунистические отряды, снабжал их деньгами для закупки оружия у населения, учил партийных руководителей основам конспирации на случай, если понадобится уйти в подполье.

Белогвардейские банды нападали на города и селения, и вне Пятигорска Сергей Миронович работал под вымышленными именами. Случалось, под именем Дмитрия Захаровича Коренева, бывшего сотрудника «Терека». Прием довольно надежный: попав под арест, легко было бы на допросах рассказывать о происхождении, родственниках и тому подобном — жизнь Коренева он знал хорошо. Только двойник Коренева был по документам не журналистом, а безобидным снабженцем, уполномоченным продовольственной управы далекого Туркестана. Иногда Сергей Миронович гримировался, надевал чужую одежду.

20 октября он отправился в очередную поездку — на этот раз в курортные городки и горные аулы, где зверствовали банды. Ночь провел в Кисловодске у Казаровых: семья владикавказского издателя, жившая по обыкновению летом на курорте, застряла там из-за военных действий. На Кирове ладно сидела старая чиновничья куртка со следами срезанных погон. Он имел при себе какой-то сверток, с которым не расставался и который, ложась спать, сунул под подушку.

В следующую ночь Сергея Мироновича срочно вызвали в Пятигорск, где совершил страшное преступление авантюрист Сорокин, командующий войсками Северокавказской республики.

Кирову привелось участвовать в ликвидации опасной сорокинской авантюры, о чем доныне лишь мельком упоминалось в печати, хотя подробности обнаружились еще во второй половине тридцатых годов.

Кубанский казак, военный фельдшер по образованию, царский офицер Сорокин рад был служить хоть красным, хоть белым. Его устраивал любой цвет, лишь бы, как и прежде, в казачьем полку властвовать над людьми и кутить. В начале 1918

года Сорокин смекнул, что выгоднее всего прикинуться красноватым, если не красным, поскольку в некоторых слоях казачества, особенно среди фронтовиков, ненавидели царских генералов, заправлявших белогвардейщиной.

Разбитной краснобай, ругмя ругавший генералов, он станичникам нравился. Численность его отряда, зародившегося в родной станице, за какой-нибудь месяц удесятерилась. Казаков-бойцов отличали наследственная отвага и превосходная выучка. Большевистские революционные комитеты — ревкомы правильно нацеливали Сорокина на уязвимые места в белогвардейских войсках. Это принесло отряду несколько побед, а Сорокину — полузаслуженную славу и высокие посты.

Его тщеславию не было предела. И хотя победы сменились поражениями, он превратился в одного из тех бонапартишек, какие порой выплывают на поверхность в пору революционных ломок и перестроек. Из-за непрекращающегося отступления армии и частых перекочевок штаба местные власти попросту не успевали тол ком приглядеться к командующему войсками — главкому, а он уже мерил себя только по своей длинной тени в час заката.

В начале октября впервые создали Революционновоенный совет — Реввоенсовет — Северокавказской армии, сразу же принявшийся налаживать порядок в штабе Сорокина. Сорокин воспротивился нововведениям, рьяно отстаивал свое самовластие, выдавая его за единоначалие. Отношения с Реввоенсоветом и руководителями Северокавказской республики резко обострились. Были веские основания безотлагательно сместить Сорокина. Однако руководители республики действовали медленно, вяло, неосмотрительно. Сорокину это было на руку. 21 октября он арестовал и убил руководителей ЦИК, крайкома партии, фронтовой ЧК, а затем еще несколько честнейших большевиков.

Когда 22 октября Сергей Миронович возвратился в Пятигорск, по городу распространяли клеветническую листовку Сорокина о каком-то раскрытом им контрреволюционном заговоре, во главе которого якобы стояли эти по-бандитски убитые большевики. В условленном месте Кирова встретил Рихтерман.

Он передал: идти к себе, в гостиницу «Эрмитаж», Кирову нельзя, его подкарауливают сорокинцы, а во что выльется авантюра Сорокина, пока оказать трудно, поэтому уцелевшие руководители республики и города вынуждены скрываться.

Через находившихся при Рихтермане товарищей-посыльных Киров выяснил, что ни партийно-советские учреждения, ни

гражданский телеграф, ни железная дорога авантюристами не захвачены. Сорокина видели на центральных улицах, он проводил смотр каким-то воинским частям, прибывшим в город. Все это никак не походило на начало белогвардейского мятежа, иначе сорокинцы не тратили бы зря время, да и фальшивка о заговоре была бы им ни к чему. Создавалось впечатление, что Сорокин выжидает, как сложатся события, выставляя напоказ свое всесилие и надеясь на свою хитроумную фальшивку. Киров связался с Анджиевским и другими ведущими партийцами. Было решено избегать пока углубления конфликта с Сорокиным.

Определить, как далеко он намерен зайти в своих расправах, не удавалось. И по совету Кирова тотчас же начали эвакуацию семей партийных и советских работников. Местом эвакуации назначили Георгиевен, где войска были вполне надежны и где партийной работой занималась владикавказская большевичка Евдокия Полякова. По ее воспоминаниям, Сергей Миронович, прибегнув к дореволюционному подпольному шифру, прислал ей по прямому проводу телеграмму, велев сделать все необходимое для приема пятигорцев. В дальнейшем она получала шифровки и от председателя Реввоенсовета Яна Васильевича Полуяна.

Рихтерман повел Сергея Мироновича к своему доброму знакомому Петру Алексеевичу Ржаксинскому, который ведал медицинской частью всех пятигорских госпиталей. Помимо того, в госпитале на Дворянской улице Ржаксинский был главным врачом и хирургом. Врачами были также дочь Ржаксинского, Зинаида Петровна, и ее муж, Александр Иванович Виноградов,

Как вспоминал Виноградов, едва он пришел домой, Рихтерман сказал ему, что необходимо найти для Кирова безопасное убежище на ночь. Дополняя воспоминания мужа, Зинаида Петровна писала, что всю семью поразило самообладание Сергея Мироновича. За обедом он оживленно говорил о всякой всячине, словно в гости пришел. Рихтерман же, перенесший в царское время немало арестов и тюремных отсидок, не мог скрыть волнения, особенно когда раздавался звонок. С наступлением сумерек Ржаксинский и Виноградов доставили Кирова как хирургического больного на Дворянскую, в госпиталь, где поместили в отдельную палату под чужим именем. Всю ночь он через третьих лиц продолжал общаться с Анджиевским.

Ранним утром, по словам Виноградова, Киров уехал в Невинномысскую. Рихтерман говорил, что Сергей Миронович за день побывал в нескольких городах и станицах, встречаясь с партийными работниками и участниками проведенной им в сентябре конференции военных комиссаров. Убедившись, что войска верны долгу и дадут отпор любым враждебным происка

Киров на тайном совещании в Пятигорске предложил выманить Сорокина в Невинномысскую, арестовать там и отдать под суд.

Сорокину сказали, что раскрытый им заговор требует обсуждения на чрезвычайном съезде Советов республики и что необходимо также переизбрать ЦИК. Тот вообразил, будто его клевете поверили, и одобрил эту мысль, пожелав созвать съезд в Пятигорске или Минеральных Водах. Сорокину возразили: там полно обывателей, которые превратно истолкуют его поведение, гораздо предпочтительнее прифронтовая станица Невинномысская. Сорокин клюнул и на вторую приманку, не подозревая, что в Невинномысскую брошены две отборные дивизии, снятые с передовой.

Делегатов всюду выбрали с исключительной быстротой. 27 октября, за день до открытия чрезвычайного съезда, его большевистская фракция постановила объявить Сорокина вне закона, известив о том телеграммой все войска и население.

Сорокин узнал о телеграмме в пути на съезд и, бросив свой бронепоезд, метнулся на автомашине в степные районы, собираясь, вероятно, близ Кизляра перебежать к белогвардейским мятежникам-бичераховцам. Но за Ставрополем советский кавалерийский полк догнал, разоружил преступника и его конвой.

Сорокина и его сообщников расстреляли.

Искоренение сорокинщины усилило боеспособность Северокавказской армии. Совместно с отрядами Серго Орджоникидзе она выиграла несколько серьезных сражений.

В ноябре Терская область была освобождена от врага.

7

Сергей Миронович был тогда в Москве. Очевидно, именно в те дни Ленин и Свердлов увидели в Кирове уже не только одного из одаренных местных работников, а многообещающего партийного деятеля. Ему поручили снарядить вторую военную экспедицию, еще более крупную. Отчасти цель ее была прежней — снабжение войск Северного Кавказа, преобразованных в XI армию. Но лишь отчасти. Экспедиция имела особое задание, совершенно секретное.

Помощниками Кирова назначили Оскара Моисеевича Лещинского и Юрия Павловича Бутягина.

Бутягин, тверяк, охочий до шуток, говаривал, что благодаря революции и военной экспедиции сбылось его заветное желание

командовать эшелонами. Он с детства любил поезда, хотел стать железнодорожником, но рано вступил в подполье и был исключен из третьего класса кондукторского училища в Вышнем Волочке. Юрием заинтересовалась полиция, из-за чего он, известный еще как Егор и Георгий, скрылся в Иваново-Вознесенск. Потом преследования угнали подпольщика в города Северного Кавказа и Дона, где на заводах и фабриках участились забастовки, виновником которых полиция считала приезжего партийного профессионала Макса. Максом был Бутягин.

В первую русскую революцию двадцатитрехлетний Макс, по-прежнему неуловимый, водил ростовских рабочих на баррикадные бои. Его все-таки поймали, хотя и случайно, в 1906 году, в Вышнем Волочке.

Ни тюрьма, ни ссылка, ни учение в Московском коммерческом институте не отдалили Бутягина-Макса от революции. Осенью 1917 года он в отряде писателя Александра Яковлевича Аросева дрался на улицах Москвы против офицеров и, между прочим, отбивал ту самую гостиницу «Метрополь», где теперь, спустя год, поселились некоторые участники экспедиции. Пиджакам и курткам Юрий Павлович предпочитал черкеску с газырями, в стужу обвязывался башлыком. Отличался исключительной напористостью и вспыльчивостью. Кое-кто не считал его вспыльчивость чрезмерной, поскольку он горячился за двоих, за себя и Кирова.

Юрий Павлович утверждал, будто на ростовских баррикадах его дружины кормил-поил и ободрял мальчик Оскар Лещинский. Лещинский пожимал плечами.

Шутка могла быть и правдой, потому что Оскар приобщился к революционному движению в десять лет. В 1905 году во время баррикадных боев он, тринадцатилетний, поддерживал связь между дружинами, а в свободные часы под огнем носил сражающимся рабочим оружие и еду, медикаменты и записки от родных.

Его благодарили и прогоняли. Иногда прогоняли, не успев поблагодарить.

Оскара в четырнадцать лет арестовали и сослали в Архангельскую губернию. Он бежал.

Его семнадцати лет сослали на Енисей. Он бежал, похитив в жандармерии все изобличающие его документы.

Мать Оскара, Раиса Александровна, рассказывала, что ростовские жандармы, изводя ее допросами, откровенно восхищались беглецом.

А беглец, тайно эмигрировав из России, бродил по Парижу, писал стихи, встречался с новыми друзьями в баре у

Монпарнасского вокзала.

За чашкой кофе с мирным разговором
Сидим мы незаметно до утра,
Пока рассвет зажжется за забором.
Тогда уходим. Утро. Спать пора.

Все спуталось на чужбине, как дни и ночи завсегдатаев привокзального бара. Оскар колесил по Франции и Италии, Швейцарии и Испании. Учился в Академи рюсс, художественной студии русских эмигрантов. С Ильей Григорьевичем Эренбургом издавал журнал «Гелиос», что в переводе с греческого означает: солнце. Вырос в своеобразного поэта и художника. Тосковал о России. Оскар вышивал на пяльцах, его диванные подушки в цветах и узорах галантерейщики охотно брали. Вышивание приелось, служил шофером. На рабочей демонстрации сбил с ног полицейского, ударившего женщину, и угодил в тюрьму Сантэ.

Оскара за мужество хвалила старая революционерка Вера Николаевна Фигнер, отсидевшая в Шлиссельбургской крепости двадцать лет. Неоценимого конспиратора, его обхаживал, залучал в свои сети эсеровский лидер Борис Савинков. Лещинского не трогали похвалы, он пренебрегал посулами эсеров, так как, поддавшись в отрочестве их влиянию, потом наотрез и навсегда порвал с ними.

Лещинский вновь обрел себя, познакомившись с Лениным. Юноша понравился Владимиру Ильичу. Они встречались, вдвоем совершали долгие прогулки. Владимир Ильич руководил чтением Оскара, не очень-то сведущего в философии, экономике.

Создавая под Парижем, в Лонжюмо, партийную школу, Ленин просил помогать ему. Оскар опекал прибывавших из России большевиков: снимал для них жилье, водил их обедать в недорогие кафе, заменял им переводчика, а позднее благополучно переправил кое-кого через границу домой. Влияние Ленина определило взгляды Лещинского. Он стал убежденным ленинцем.

В 1917 году двадцатипятилетний Лещинский променял Париж на Петроград и в дни Октября был комендантом Смольного. Был затем комендантом Зимнего дворца, который штурмовал в отряде балтийцев, успев с ними до этого по заданию Ленина захватить Главный телеграф.

Посланный на Терек, Оскар Лещинский допустил ошибку. Местные власти держали под стражей двух великих князей, претендентов на царский престол. Поверив на честное слово, что они будут смирно сидеть на своей роскошной вилле, не якшаясь с

контрреволюцией, Оскар Моисеевич освободил их. Князья тотчас же надули его. Местные власти угрожали ему судом, расстрелом. Разведав, кто он да что, Киров спас его, а потом и сдружился с ним.

В первой военной экспедиции Лещинский был правой рукой Кирова.

Теперь к ним присоединился Бутягин.

Участники экспедиции трудились до изнеможения — Сергей Миронович еще больше остальных. Он, как и все, голодал, похудел, пожелтел. Тем не менее выкраивал время на театры, концерты. Смотрел в Большом «Лебединое озеро», восхищаясь блистательной Гельцер, ходил в театр имени Комиссаржевской, в Малый. У Зимина слушал «Демона», в «Эрмитаже» — произведения Вагнера. В фойе театра имени Комиссаржевской, среди общих знакомых, Кирова и Лещинского увидел Сергей Есенин. Угадав в них людей необычных, спросил, кто они.

Оскар Лещинский проведал о столовой в одном из переулков на Сретенке. Столовая, неизвестно почему называвшаяся польской, манила к себе. Мало того, что ее отапливали, там кормили аппетитнейшим блюдом, картофельными котлетками в виде крохотных сосисок. Стараясь подольше глядеть на это блюдо, прежде чем съесть его, Лещинский, Киров и их друзья толковали о делах, о литературных новинках, о политике, о музыке, о будущем. Сергей Миронович был озабоченно-задумчив и очень молчалив. Улыбнется умной шутке, и все.

Иногда заходили к Оскару. Он жил не в «Метрополе», а поблизости, на Кузнецком мосту, у владельца музыкального магазина. Магазин закрылся, и владелец, спасая нераспроданное добро, всю огромную квартиру свою уставил роялями. Пробираясь между ними, попадали к Оскару. Его комната превратилась в склад. Ящики, набитые земляничным мылом, соседствовали с грудами пушистых дох, тулупов, медикаменты — с полевыми биноклями в кожаных футлярах. Однажды Оскар переполошил весь Кузнецкий, испытывая полученные для экспедиции мотоциклы.

В относительно короткий срок, месяца за полтора, участники экспедиции вырвали из арсеналов и складов все необходимое на сорок тысяч бойцов. Экспедицию снабдили и деньгами, часть которых предназначалась для зафронтового подполья. Советские дензнаки там не шли, и Кирову дали пять миллионов романовскими кредитками — царскими рублевками, пятерками, десятками. Все деньги спрятали дома у одного из участников экспедиции, разостлав банковские пачки под матрацем в кровати, прозванной «миллионершей». Эту «миллионершу» проклинали,

потому что особо доверенные люди караулили ее, отрываясь от дела.

Новый год встречали у Бутягина, он жил с семьей на Страстной площади. Хозяйка ничем праздничным угостить не могла, но это было только лишним поводом для острот. Смеху на всех через меру хватало.

У Бутягиных накануне родилась девочка, она ле-‘ жала в бельевой корзине, заменявшей колыбель. Сергей Миронович то и дело подходил к малышке.

Это были последние часы в Москве.

Путь эшелонов лежал через Самару и Саратов. Уголь только снился машинистам, паровозы топили дровами, но и дров на станциях не хватало — валили, рубили придорожные сосны и березы. Иногда дорогу преграждали завалы. Состав останавливался. Дежурившие на тендерах вагонов красноармейцы припадали к пулеметам. Из-за бугров выскакивали бандиты. Их уничтожали или прогоняли огнем. Тогда растаскивали бревна, наваленные бандитами поперек рельсов.

В середине января 1919 года экспедиция прибыла в Астрахань, где находилось командование Каспийско-Кавказского фронта, которому подчинили XI армию. Здесь подтвердились наихудшие предположения Кирова.

Соединения и части, вошедшие в XI армию, долго сковывали превосходно оснащенные войска Деникина, истребляли его отборные офицерские полки. Но, не имея должной помощи извне, XI армия истощилась. Отряды и батальоны шли в бой с пятью-шестью патронами на воина. Зима, губительная для плохо обмундированной армии, принесла и эпидемию сыпного тифа. Сыпняк свалил десятки тысяч людей.

Некоторые воинские части остались с Серго Орджоникидзе в предгорьях Кавказа, остальные все более беспорядочно отступали, рассыпались по Калмыцкой степи, надеясь одолеть ее, найти приют в далекой Астрахани. В штабе фронта получили радиограмму, которую Орджоникидзе 24 января послал из Владикавказа в Москву, Ленину:

«XI армии нет. Она окончательно разложилась. Противник занимает города и станицы без сопротивления…»

Командованию XI армии Орджоникидзе телеграфировал:

«Мы решили умереть, но не оставлять свои посты. Если что-нибудь у вас уцелело, идите нам на помощь. Чечня и Ингушетия вся поднялась на ноги».

Эту телеграмму Киров уже не успел прочесть. С частью имущества своей экспедиции он на автомашинах выехал в Калмыцкую степь. Машины застревали в сугробах.

Опрокидывались, попадая в рытвины. Глохли моторы, их отогревали, чинили. Метели, снега, бездорожье. Все равно вперед, к войскам.

Но увиденное не походило на войска. Толпы и вереницы в изодранных шинелях, кацавейках, рваных полушубках, домотканых бешметах. Тифозные и здоровые, бойцы и командиры, мужчины и женщины, старики и дети ехали на волах и лошадях или шли, брели, ползли и падали. Падали не вставая. Больные бредили Астраханью. Астраханью бредили здоровые. В ужасающей обнаженности открывалась трагедия советских людей, предпочитавших любые мучения белогвардейскому плену, — трагедия, в какой-то мере известная по «Железному потоку» Серафимовича.

Киров вызвал из Астрахани политработников и военспецов. В степных глубинах еще были боеспособные части. Их приводили в порядок, снабжали амуницией, привезенной Кировым. Отступление приостановилось. Для больных, голодающих устраивали питательные пункты. В некоторых селениях бойцам распавшихся частей и беженцам раздавали белье, валенки, полушубки — в степь подтягивали обмундирование, доставленное в Астрахань военной экспедицией. Обозы подбирали тифозных, изнуренных.

Из-под Кизляра, оставленного нашими войсками, Сергей Миронович вернулся в Астрахань. Там его дожидалась телеграмма Свердлова:

«Ввиду изменившихся условий предлагаем остаться в Астрахани, организовать оборону города и края».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Там, где Волга прощается с сушей, отдавая свои воды Каспию, распростерлась она, суматошная Астрахань, которую стечение обстоятельств превратило на время в один из важнейших городов страны. Астрахань была воротами к хлебу Ставрополья и Кубани, к нефти Баку, Грозного и Эмбы, питала несколько губерний рыбой и солью да еще служила связующим звеном с Закаспием, Северным Кавказом. Астраханский край разделял войска Деникина и Колчака, стремившиеся сомкнуться для общего удара на Москву.

Но оборона края была слаба. Еще в августе 1918 года, когда с Каспийского моря ожидался десант английских интервентов, Ленин телеграфировал губернским руководителям:

«Неужели правда, что в Астрахани уже поговаривают об эвакуации?

Если это правда, то надо принять беспощадные меры против трусов и немедленно выделить надежнейших и твердых людей для организации защиты Астрахани и для проведения самой твердой политики борьбы до конца в случае наступления англичан».

Непосредственная угроза наступления интервентов миновала — англичане десанта не высадили. Губернские руководители не поняли, что Астрахань все равно в опасности и что ленинский наказ об организации обороны города остается законом. Они успокоились. Хуже того, вскоре они из-за отвратительного местничества принялись подрывать работу только что созданного Реввоенсовета Каспийско-Кавказского фронта. Их недопустимое поведение встревожило побывавшего в Астрахани члена ЦК РКП(б) Артема — Федора Андреевича Сергеева, и он написал о том Свердлову.

Фронтовое руководство тоже было не слишком удачным. В Реввоенсовете председательствовал Шляпников, впоследствии немало навредивший партии своей «рабочей оппозицией». Шляпников затеял склоку, втянув в нее некоторых губернских работников. Пожалуй, ниоткуда не шло в Москву столько кляуз, сколько из Астрахани.

Ленин и Свердлов в телеграммах долго и настойчиво урезонивали кляузников. В январе 1919 года пришлось послать в

Астрахань комиссию ЦК РКП (б). В середине февраля Шляпникова заменил видный партийный деятель Константин Александрович Механошин, член Реввоенсовета республики.

Чтобы по поручению Свердлова успешно организовать оборону города и края, Киров должен был поскорее разрядить эту напряженную, затхлую обстановку. Он решил подчинить всю власть Военно-революционному комитету — ВРК Впервые ВРК возник в Петрограде накануне Октября как штаб подготавливавшегося большевиками вооруженного восстания. С победой восстания к ВРК перешла государственная власть в столице. Затем он постепенно передавал свои функции советским органам, по мере того как они создавались, укреплялись, и в конце 1917 года был упразднен. Борясь за советскую власть, большевики образовали ВРК также в ряде губернских, городских, уездных центров.

В Астрахани же, где советская власть уже утвердилась, решение Кирова было своеобразным новшеством. Как ожидал Сергей Миронович, трения между гражданскими и военными учреждениями потеряют остроту, сойдут на нет, если над ними твердо встанет владеющий верховной властью ВРК — Ревком.

25 февраля учредили Временный военно-революционный комитет Астраханского края из шести представителей основных организаций. В Ревком включили председателя губкома РКП (б) Надежду Николаевну Колесникову, безупречную большевичку, бывшего комиссара просвещения недавно павшей Бакинской коммуны, а от фронтового Реввоенсовета и его политотдела — Кирова и Бутягина. Председателем избрали Кирова.

Свердлов тотчас же телеграфно утвердил Ревком.

2

Месяцы, упущенные до приезда Кирова, мстили сотней зол. Вражеские войска перешагнули рубежи края. В уездах зверствовали банды астраханского белоказачества, вспыхивали кулацкие мятежи. Астрахань переполнили скрывшиеся из центральных губерний царские офицеры, крупные чиновники. В учреждениях и на предприятиях прижились меньшевики и эсеры, полицейские и прожженные жулики. Когда Ленину сообщили об их махинациях, он в декабре 1918 года писал Шляпникову:

«Налягте изо всех сил, чтобы поймать и расстрелять астраханских спекулянтов и взяточников. С этой сволочью надо расправиться так, чтобы все на годы запомнили».

Кое-кого покарали. Остальные по-прежнему подличали, в чем Сергей Миронович убедился, едва попав в Астрахань: интендантские проходимцы пытались уворовать привезенное его экспедицией обмундирование. Снабжение войск и населения разваливалось. В феврале поставки хлеба из Средневолжья донельзя сократились, запасы муки иссякали, суля голод в довершение к сыпняку и зимней стуже.

Киров начал с того, что урезал и без того тощий хлебный паек — надо было бесперебойно кормить армию. Чтобы покончить с повальным сыпняком в войсках, Сергей Миронович предложил жителям взять на себя размещение, лечение больных воинов и уход за ними.

Заботился Ревком и об астраханских тружениках. Раздобыв рыбы, которая была тогда для них основным продуктом питания, выдачу ее населению удвоили. Впервые взяли под контроль выпечку хлеба. Впервые ввели вечернюю торговлю, чтобы рабочие спокойно получали паек, возвращаясь с предприятий. Налаживая разумные отношения с крестьянством, увеличили заготовки мяса. Предприятиям и кооперативам позволили закупать в селах ненормированное продовольствие, а рыбакам — продавать горожанам свой улов.

Сергей Миронович послал в Самару гонцов, и буквально через несколько дней оттуда пошло зерно. Чиновных мародеров и хапуг, невзирая на их посты, отдавали под суд Военно-полевого революционного трибунала, как велел Ленин. Медлительность и канцелярщину в учреждениях, невнимательность к посетителям Ревком специальным приказом определил как преступление перед революцией:

«Живое дело — вместо мертвой бумаги, революционная дисциплина — вместо начальствующего кнута, творческая деятельность — вместо пассивного выполнения приказаний. Каждый работник — не только гайка и винт общего советского механизма, но и мозговой центр, источник энергии, созидающий новую Социалистическую республику рабочих и крестьян».

На призывы Ревкома откликались делом не только коммунисты. Это был подвиг судоремонтников и бондарей, речников и рыбаков, врачей и других интеллигентов, подвиг матерей, зачастую ничего не получавших для детей, кроме восьмушки хлеба. Отказывая себе в последнем, они вместе с армейцами двинули в степь и походные кухни, и банно-прачечные отряды, и дезинфекционные камеры, и вещевые цейхгаузы, и медико-санитарные летучки. В кооперативах взяли все пригодное на простыни и наволочки, полотенца и бинты, выскребали для больных остатки сахара и масла, изюма и риса.

В Лагани, на Белом озере, в Эркетеневской ставке и на пароходах развернули госпитали. В огромный лазарет превратили пригородный поселок Форпост. Плотники и бондари ставили переборки, мастерили койки и нары. Медицинский союз мобилизовал врачей, фельдшеров, сестер. Работницы и домашние хозяйки добровольно шли в санитарки, прачки и уборщицы. Извозчики и крестьяне перевозили тифозных. В городе перестроили в больницы несколько бездействующих заводов и фабрик. Под больницы отводили и благоустроенные здания, уплотняя учреждения и казармы.

5 марта чекисты, назначенные Ревкомом неделей раньше, положили на стол Кирову документы о назревающем белогвардейском мятеже. Как потом обнаружилось, царских офицеров и политических выжиг поддерживали из Баку английские интервенты, а также астраханские купцы и попы. Штаб мятежников припас много оружия, заслал своих лазутчиков в советские учреждения. План мятежа умело составили военные специалисты.

Чекистские документы, хотя и вполне достоверные, были отрывочны и не давали возможности ни предотвратить мятеж, ни выловить его зачинщиков.

6 марта Ревком взял под усиленную охрану все наиважнейшие объекты.

7 марта ввел военное положение. Некоторые части гарнизона перешерстили, удаляя сомнительных командиров и бойцов. Десятки коммунистов, главным образом кадровых рабочих, вооружили. Защиту города, разделенного на шесть участков — комендатур, вверили Совету обороны, «тройке» во главе с Бутягиным, заместителем председателя Ревкома.

8 марта Ревком в обращении к астраханцам предупредил их о возможных провокациях.

10 марта, утром, послышались протяжные гудки и свистки — белогвардейский сигнал к выступлению. Работа на предприятиях была прервана. Толпы высыпали на улицы. Мятежники действовали необычно, каверзно. Переодетые в рабочие спецовки и замусоленные стеганки, затевали летучие сборища, крича: «Бей комиссаров!» По сговору с рабочими-шкурниками тащили мешки с мукой из пекарен, подстрекая слабовольных прохожих к грабежу. Раздавали оружие, вербуя предателей. Пользуясь суматохой, мелкими отрядами просачивались с окраин поближе к центру города.

Отличить мятежников от своих или случайных прохожих было трудно, и красноармейцы, военные моряки — военморы, утихомиривая толпы, поначалу не решались стрелять или

стреляли в воздух. Натыкаясь на заслоны, мятежники открывали огонь. Отвечали им неспело. Мятежники проникли в небольшой цейхгауз и на судоремонтный завод «Норен».

Киров с горсткой разведчиков находился в Ревкоме, поддерживая связь и с «тройкой», и с председателем Реввоенсовета Механошиным, и с командованием Волжско-Каспийской флотилии, и с чекистскими подразделениями, и с райкомами, куда сбегались коммунисты, готовые выполнить любое задание.

Некоторые донесения ревкомовских разведчиков порадовали: флотилия совершенно не затронута мятежом, ничуть не нарушен порядок в хорошо защищенном Форпосте с его тысячами беспомощных больных.

Очень встревожило Кирова участие в мятеже десятков или сотен рабочих. Сергей Миронович считал, что шкурникам предателям нельзя давать никаких поблажек, но придется выжидать, пока с улиц уберутся, попрячутся жители, непричастные к мятежу или примкнувшие к белогвардейцам по минутному недомыслию. Терпеливо выждав до половины четвертого пополудни, Киров передал Совету обороны записку:

«Приказываю беспощадно уничтожать белогвардейскую сволочь, применяя все виды обороны, имеющиеся в нашем распоряжении».

Жесткие слова приказа подстегнули гнев защитников города. В половине восьмого вечера началось общее наступление на врага. Тактические намерения белогвардейцев уже были разгаданы: мятежники постепенно окружали район, охватывающий крепость и основные губернские учреждения. Защитники города дрались ожесточенно, не уступая врагу ни единого значительного объекта. Но штаб мятежников отлично маневрировал своими отрядами, особенно несколькими, почти сплошь офицерскими. Вечером, ночью бои велись с переменным успехом. Вражеское кольцо, хотя и не слишком плотное, то прорывалось, то опять сжималось.

Действуя по заданию Сергея Мироновича, ревкомовские разведчики и чекисты обнаружили штаб мятежников. Он помещался в купеческом доме на 2-й Бакалдинской улице, а колокольни ближних церквей святого Владимира и Иоанна Златоуста служили мятежникам наблюдательными пунктами с пулеметными гнездами. Киров приказал разгромить штаб. Однако бросок наших подразделений на 2-ю Бакалдинскую захлебнулся.

Киров решил сбить колокольню церкви Иоанна Златоуста и тогда повторить бросок.

В городе жил опытнейший старик артиллерист, равнодушный и к красным и. к белым: «Не разберу, чью сторону взять». Сергей Миронович пригласил его в Ревком. Польщенный любезным приглашением, тот не замедлил отозваться. О чем они беседовали наедине, навсегда, вероятно, останется тайной. Судя по пересказам, Киров внушал старику, что от него зависит участь многих мирных жителей: канонада выжжет целые кварталы, а сверхметкий воин поразит лишь вражескую цель. Председатель губкома партии Колесникова впоследствии писала, что вошла в кабинет к Сергею Мироновичу, когда он расставался с артиллеристом. У обоих был очень довольный вид. По другим воспоминаниям, старик уходил растроганно-взволнованный. Прощаясь, он тряс руку Кирову, горячо твердя:

— Ну, Сергей Миронович, раз я сказал, значит так тому и быть…

Старый артиллерист ударом дальнобойного орудия снес купол церкви. Как предполагал Киров, штабные белогвардейцы запаниковали. Это подтвердили и показания некоторых из них, угодивших потом в ЧК Подоспевшая советская пехота ворвалась в штаб, разоружив около двухсот белогвардейцев, в том числе военных главарей мятежа.

Мятежники быстро перегруппировались, стягивая свои отряды на окраину города, к реке Цареву — проще Царевне, где и прежде крепко держались. Из глубин уезда спешили на выручку кулацкие банды. Мятеж мог затянуться, как в январе 1918 года, когда белогвардейцы разбойничали в городе две недели. Киров приказал не только теснить, но полностью уничтожать мятежников. По его распоряжению самолет, разбомбил лед на реке Царевке, лишив белогвардейцев и пути к отступлению и кулацкой подмоги.

11 марта, вечером, белогвардейский мятеж подавили.

12 марта электростанция, водопровод, пекарни снова работали. Опять открывались заводы, фабрики.

13 марта Свердлов протелеграфировал, что ЦК РКП (б) не возражает против перерегистрации коммунистов — чистки. Эта первая в стране партийная чистка, предложенная и проведенная Кировым, оправдала себя. Многие из тех, кого в Астрахани принимали за коммунистов, были примазавшиеся: замаскированные контрреволюционеры, шкурники, трусы, спекулянты.

14 марта приказ главнокомандования возродил XI армию, переставшую было существовать даже на бумаге. Армейские части строились заново и с исключительной тщательностью.

Эпидемия пошла на убыль. Бойцы, годные к воинской службе,

надевали шинели. Нуждающихся в длительной поправке эвакуировали за пределы края. Позднее эвакуация их стала излишней: пустующий монастырь и купеческие дачи приспособили под первые в стране красноармейские санатории. Перебоев с выдачей хлеба населению уже не было, город накапливал устойчивые запасы продовольствия. Заготовки мяса возрастали, и часть его Астрахань отгружала голодающей Москве. Весенняя путина дала вдвое больше рыбы, чем годом раньше.

Через полтора месяца после мятежа надобность в подчинении краевой власти Ревкому миновала.

Работу, проделанную Ревкомом, высоко оценили как в самой Астрахани, так и в Москве. Михаил Иванович Калинин, сменивший умершего Свердлова на посту председателя ВЦИК, 25 ноября 1919 года писал в Астрахань, что весенние месяцы были решающими для трудового люда всей губернии:

«Я имею в виду создание и деятельность Астраханского временного военно-революционного комитета. Он сохранил советскую власть в Астрахани в кошмарные мартовские дни, беспощадно разгромив наймитов английского империализма. Под его боевыми знаменами была заложена прочная основа теперь уже одержанных нами побед».

3

Когда 25 апреля расформировали Ревком, уже был готов наступательный план XI армии, который в самые мрачные для Астрахани недели Сергей Миронович разрабатывал вместе с Механошиным, Оскаром Лещинским и военными специалистами. План нацеливал сухопутные войска и флот на особое задание Ленина и Свердлова, которое зимой возлагалось на вторую военную экспедицию Кирова.

Еще в конце 1918 года, находясь в Москве, Сергей Миронович предвидел неизбежные поражения XI армии, хотя она успешно сражалась. Закрывать глаза на почти неодолимые трудности было нельзя, и на случай, если советские войска уступят деникинцам Северный Кавказ, у Сергея Мироновича были свои соображения.

Он хотел отправиться туда нелегально, поднять большевистское восстание и при участии армии любой ценой удерживать Грозный и дагестанский портовый город Петровск, чтобы по Каспию, через Астрахань, снабжать Советскую Россию нефтью: нужда в ней была отчаянная. И не только поэтому нужно восстание. Оно избавит сотни тысяч людей от белогвардейского

гнета и укрепит Красную Армию: с ее действиями сольется партизанское движение горских народов, рабочих всех национальностей, передовых слоев терского казачества, ставропольского крестьянства. Восстание отвлечет на себя значительные силы Деникина и высвободит несколько красноармейских дивизий для битв против преуспевающей колчаковщины. Ленин и Свердлов согласились с Кировым.

Однако из-за распада XI армии, окончательно подкошенной сыпняком, особое задание экспедиции Кирова было отменено в начале 1919 года. Теперь, весной, прежнее задание по-новому отражалось в плане оперативных действий возрожденной XI армии.

Большевики Дагестана, связанные с Кировым, подготавливали тогда свержение контрреволюционного горского правительства. К началу народного восстания приурочивалась высадка десанта Волжско-Каспийской флотилии в Петровске.

Морякам приказали предварительно овладеть фортом Александровским с его естественной гаванью, удобной для сосредоточения боевых судов.

30 апреля суда флотилии подошли к этому форту на почти пустынном полуострове Мангышлак. Колчаковский гарнизон форта безоговорочно сдался десантному отряду военморов, высаженному на берег. Кое-кто из офицеров бежал.

Радиостанция форта досталась десантникам в полной исправности, персонал ее раскрыл шифры.

Сергей Миронович приказал воспользоваться этим. Ему в Астрахань передавали вражескую радиопереписку. Если было уместно, он писал ответные депеши, и форт Александровский отправлял их по эфиру в Гурьев — для колчаковцев, в Петровок — для деникинцев. Противник ни о чем не догадывался, обогащая командование XI армии полезными сведениями об обоих белогвардейских фронтах.

Поступила и совершенно секретная депеша. К адмиралу Колчаку на судне «Лейла» отбыла из Петровска деникинская военная делегация во главе с генералом Гришиным-Алмазовым. Командиру форта предписывалось принять судно в море под свой конвой и сопровождать до Гурьева. Наши военморы заверили белогвардейское начальство, что конвой снимается с якоря.

Пиратствовавшие на Каспии английские интервенты свыклись с длительной безнаказанностью. Вооруженный корабль англичан «Президент Крюгер», прикрывавший «Лейлу», возвратился в Петровск раньше положенного, беспечно оставив ее в одиночестве.

5 мая, в обусловленный час и под обусловленными

координатами, к «Лейле» ринулся эскадренный миноносец «Карл Либкнехт» и, приближаясь, выпустил по ней два снаряда. Получив повреждения, она все же пыталась спастись, меняя курс, но ее подстерегали крейсеры «Ильич», «Красное знамя». Миноносец взял «Лейлу» на абордаж. На ее флаг-мачте взвилось белое полотнище.

Генерал Гришин-Алмазов и его адъютант покончили самоубийством. Членов делегации и найденные у них ценнейшие материалы доставили в Астрахань. Среди материалов был подробный набросок комбинированного похода Деникина, Колчака и Юденича против Советской России. Попало к Кирову и личное письмо Деникина, делившегося с Колчаком своей сокровенной мечтой об их двойном ударе на Москву. Юденич же должен был сокрушить Петроград.

Материалы с «Лейлы» очень и очень пригодились Ленину.

Волжско-Каспийская флотилия продолжала сосредоточиваться в форте Александровском. Там уже находился и пехотно-кавалерийский десантный отряд. Проводились разведывательные походы. В форт Александровский приехал Киров, назначенный членом Реввоенсовета XI армии. Были отданы последние приказы.

Но все приказы о наступлении советской флотилии на Петровск пришлось отменить, потому что в большевистском подполье Дагестана произошло большое несчастье.

Дагестанским, партийным подпольем руководил Уллубий Даниялович Буйнакский.

Он вступил в партию, учась на юридическом факультете Московского университета, и перед Октябрем стал одним из самых сильных, самых видных большевиков родного края. Снаряжая вторую экспедицию, Киров познакомился с Уллубием Данияловичем в столице. Они виделись затем в Астрахани и Калмыцкой степи, после чего Буйнакский с чужим паспортом отправился в Темир-Хан-Шуру и был избран председателем подпольного обкома партии. Никогда прежде жители дагестанских городов и аулов не шли столь дружно за большевиками, как с тех пор.

Туда, в подполье, хотел поехать Киров вместе с Оскаром Лещинским, назначенным зимой членом Реввоенсовета XI армии, но долго пролежавшим в тифу. При расформировании Ревкома было, однако, решено, что Киров должен остаться в Астрахани. В подполье отправился 18 апреля Оскар Моисеевич с несколькими помощниками.

Не все помощники сразу пересекли линию фронта, Лещинский попал в Петровск без задержек.

Военными хозяевами города были не горские части, а английские, имевшие и артиллерию, и авиацию, и флот. Хватало и белогвардейцев, хотя Деникин обещал горским правителям полнейшую независимость.

Белогвардейские и английские офицеры радушно приняли Лещинского — для них он был бежавшим из астраханской тюрьмы Николаем Викторовичем Савинковым, братом известного эсеровского лидера Бориса Савинкова,

Новые знакомые охотно поведали все, что надо было сообщить в Астрахань, Кирову. При участии местных товарищей Лещинский подтачивал оборону противника. Подробности еще требуют уточнений, но кое-что подтверждается документально. В порту угостили часовых специально приготовленными сигаретами, погружающими курильщиков в глубокий сон. Пока часовые спали, большевики-подпольщики испортили подъемные краны. Без этих кранов английские гидропланы не могли подниматься в воздух. Все было продумано, чтобы на артиллерийских батареях англичан орудия лишились и замков, и лошадей, и упряжи в день высадки советского морского десанта.

В Темир-Хан-Шуре Лещинского как представителя Реввоенсовета ввели в штаб восстания, намеченного на 20 мая. Уллубий Буйнакский и Оскар Лещинский работали рука об руку, обстоятельно, стремясь достичь цели с наименьшими жертвами.

Горские правители Дагестана бессильны были противостоять воле народа, стремившегося восстановить советскую власть. Правительство распадалось, министры упаковывали чемоданы, собираясь бежать в Баку. Но шайка горских офицеров в сговоре с английскими интервентами и деникинцами совершила военный переворот и 13 мая арестовала почти весь большевистский штаб восстания.

Арестованных отправили из Темир-Хан-Шуры в Петровск, в казематы англо-деникинцев. Все попытки спасти арестованных срывались. Буйнакского и еще четырех большевиков-дагестанцев расстреляли по приговору военно-шариатского суда. В расправе с остальными обошлись без этого горско-бандитского подобия суда.

Буйнакский прожил на свете около двадцати девяти лет. Перед смертью ему, по его выражению, светили три солнца — и солнце, общее для всех, и советская власть, и девушка, по имени Тату. В августе 1919 года, с пути на расстрел, Уллубий послал Тату коротенькое прощальное письмо, кем-то брошенное потом в окно ей. «Я вас люблю», — были последние слова. Почтительный и несмелый в любви к семнадцатилетней девушке, Буйнакский поражал судей холодной, глубокой, спокойной враждебностью к ним. В последнем слове он сказал:

— Я вырос в ущельях гор и хорошо изучил всю тяжесть положения горского крестьянина. Я с самого раннего детства посвятил всю свою жизнь всем обиженным массам и, в частности, дагестанскому народу. Для них я и учился, чтобы быть сильнее в борьбе с вами. Вы расстреляете меня и еще тысячу, подобных мне, но ту идею, которая живет уже в нашем народе, ее вы не сумеете расстрелять. Я смело иду навстречу палачам и твердо уверен, что возмездие близко и лучи освобождения проникнут в веками порабощенные ущелья гор Дагестана. Я не прошу снисхождения ко мне, освобожденный народ сам отомстит за всех погибших в этой, пока неравной, борьбе. Я твердо убежден в победе советской власти и Коммунистической партии и готов умереть за их торжество.

Из плачущей толпы ему бросали алые розы, когда его выводили из суда. Адвокат посоветовал просить о помиловании. Уллубий Даниялович написал о том девушке, как о чем-то нелепом: «Милая Татуша, я подам прошение? Да никогда!»

Поныне неясно, почему при всей своей опытности и изобретательности не смог вырваться из тюремных застенков Лещинский. Возможно, его пытали, искалечили, прежде чем убили. Он сумел только передать письмо сидевшему в тюрьме профсоюзному работнику Фрибусу:

«Вы из всех нас имеете, кажется, больше всего шансов выжить и увидеть снова свободу. Я Вас прошу исполнить мою просьбу, за которую буду благодарен до гроба. А ждать мне его недолго. У меня есть жена, с которой я связан уже 10 лет. Есть двое милых любимых детей: Валя 8 лет и Леночка — 5. Дети — это самое дорогое, что у меня есть, однако в вечных странствиях по белу свету и в опасности житейской борьбы я успел дать им очень мало и хочу, чтобы они когда-нибудь узнали, что я любил их и умер на войне, побежденный телом, но свободный духом… Сейчас они в Астрахани, фамилия жены Лидия Николаевна Мямлина».

О том, что с ним произойдет, Лещинский просил сообщить также Кирову, добавив:

«Вот, милый, все, что я прошу Вас по возможности исполнить.

Я умру спокойным. Борьба тяжка, уходить из жизни молодым больно, но законы этой жизни непреодолимы. Целую Вас и желаю скорее быть свободным для жизни, для любви и счастья. Моя фамилия Оскар Лещинский, но никому не говорите».

Киров тяжело переживал утрату.

Опасаясь, как бы печальная весть не дошла до Лидии Николаевны Мямлиной, Сергей Миронович придумал повод и заблаговременно переселил ее с детьми из Астрахани в Москву.

Об аресте и гибели мужа сказали Мямлиной в ЦК партии на исходе 1919 года, когда скрывать правду уже было невозможно.

4

Если из-за ареста Буйнакского и его товарищей наступательные морские операций пришлось в мае свернуть, то сухопутные и не начинались: XI армию обкорнали.

Ее лишили ударной силы. Вышло это так. В предместье Астрахани, в селе Черепаха, еще зимой оборудовали казармы. Туда стекались выздоровевшие и избежавшие тифа кубанские, терские казаки и иногородние, а также горцы и воины Таманской армии. На пригородном острове с невероятной быстротой, за несколько недель, сложилась 33-я стрелковая дивизия. Она была образцовая, и начальника ей дали образцового, Михаила Карловича Левандовского, молодого офицера, недавнего военного комиссара Терской области, завоевавшего и полнейшее доверие и уважение. Но в конце апреля главнокомандование бросило 33-ю дивизию на подавление мятежа донского белоказачества.

Уход ее сорвал запланированные наступательные бои пехоты.

И все-таки XI армия продолжала накапливать силы.

Формировались 34-я стрелковая и 7-я кавалерийская дивизии. Чтобы не теребить свежие, еще не спаявшиеся части, их старались не вводить в бой. Пока противник не очень досаждал, на передовую слали астраханские заградительные отряды, коммунистов и беспартийных рабочих, они смело дрались. Не хватало командиров и политработников, их обучали на месте.

Линию на Саратов, единственную железную дорогу, связывавшую устье Волги с центральными губерниями, тревожили банды. Оборону линии передали специальному полку и нескольким отрядам. С одобрения Кирова для них сооружали бронепоезда. Они выглядели неказисто: товарные вагоны с амбразурами в стенах, обложенных изнутри мешками с песком. Но к орудиям поставили наилучших артиллеристов, командовал ими талантливый военачальник, бывший рабочий и будущий генерал-лейтенант Михаил Григорьевич Ефремов. Убийственный огонь самодельных бронепоездов страшил белобандитов, а позднее и деникинцев.

Из Петровска и с каспийского острова Чечень прилетали английские эскадрильи. Они разбрасывали листовки, обещая населению белые булки и дешевую одежду, как только англичане

изволят захватить Астрахань. Потом бросали уже не листовки, а бомбы. Гибли люди, разрушались здания: город и фронт были беззащитны с воздуха. Тогда XI армия создала 47-й авиаотряд.

Начальник его Михаил Валерианович Фишер, сын русского морского офицера, обучался в Кембриджском университете. В первую мировую войну стал английским летчиком, имел высокие боевые награды. Приехав на родину, Михаил Валерианович в Пятигорске познакомился с Кировым и Лещинским. В изысканном офицере Сергей Миронович различил человека, способного понять, что служба в Красной Армии равнозначна служению России. В XI армии Фишер мастерски использовал против английской военной авиации ее же опыт. Киров всячески помогал авиаотряду, ежедневно обсуждал с Фишером нужды воздушной обороны, и не только в Реввоенсовете: оба жили в общей квартире-коммуне.

Среди летчиков выделялся Даниил Васильевич Щекин, который по ходатайству Кирова был одним из первых в авиации награжден орденом Красного Знамени. Крестьянский парень, Даниил Васильевич с блестящим аттестатом окончил Московскую школу высшего пилотажа. Хотя в XI армии самолеты были изношенные, а горючее никудышное, молодой пилот-коммунист выполнял боевые задания образцово. На глазах у тысяч астраханцев он в паре с товарищем принудил двух английских летчиков сесть близ города. Не раз сражался с двумя-тремя вражескими самолетами и прогонял их. Очевидно, о Щекине написано в очерке, рисующем Астрахань тех дней:

«Высоко в небе, над млеющими садами слышно отдаленное гудение. Оно крепнет, — но вокруг лепечет рай, и не хочется открывать глаз.

Это гудят пчелы в винограднике, это благовест зреющего лета.

И вдруг пробуждение: бросив гряды и шпалеры, сбегаются испуганные садовники, и все лица обращены к небу. Там из-за пушистого облака треугольником летят к городу три враждебные птицы, и на солнце при поворотах серебрятся их крылья, уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавающие крылья.

Навстречу трем низколетящим хищникам из-за леса поднимается наш неуклюжий, одинокий аэроплан. Он чувствует в своем нежном и неустойчивом механизме вредную, разъедающую «смесь», которая застревает в тончайших сосудах, дает перебои и ежеминутно грозит иссякнуть. Это безнадежный полет.

Летчик пренебрегает сенью волокнистых облаков, плывущих в воздушном море белым полуостровом, и прямо с земли, не

кружась, но подымаясь круто и шумно, как воин в полном тяжелом вооружении, взбегает на вершину незримой воздушной горы.

Кто он, неизвестный летун, сердце каких царей стучит в его груди, какая кровь героев внушает эту безрассудную, ни с чем не сравнимую прямоту его полету?»

Английские самолеты спасовали:

«Они ушли. Они не выдержали этого неукоснительного сближения. Вон уже далеко блестят их чешуйчато-серебряные спины, и едва доносится враждебный гул. Широкой радостной дугой плывет домой наш аэро».

Очерк принадлежит перу журналистки и писательницы Ларисы Рейснер, прожившей несколько месяцев в Астрахани вместе с мужем и отцом.

Отец, профессор Михаил Андреевич Рейснер, был правоведом и знатоком истории религий. В 1903 году его за сочувствие студенческому революционному движению лишили кафедры в Томском университете. Вынужденный эмигрировать, Михаил Андреевич за границей встречался с социал-демократами, переписывался с Лениным, стал в 1905 году большевиком. Умело конспирируясь, он по возвращении в Россию преподавал в Петербургском университете. После Октября целиком посвятил себя общественной деятельности как публицист, пропагандист, организатор коммунистического просвещения масс. Он автор написанного по поручению Ленина декрета об отделении церкви от государства, один из авторов первой Советской Конституции. Хотя Михаилу Андреевичу перевалило за пятьдесят, он тянулся на фронт и в Астрахани заведовал политотделом флотилии. Рейснер был единственным в Красной Армии профессором-политработником.

Лариса Михайловна Рейснер прожила на свете вдвое меньше своего отца. Она умерла в 1926 году, едва переступив порог четвертого десятка лет.

Ранняя юность Ларисы была почти заурядной. Профессорова дочь, образованная, начитанная, она вращалась в узком интеллигентском кругу. Опубликовала драму. Сотрудничала в горьковской «Летописи», До того сочиняла стихи. Сочинять стихи отучил поэт Николай Гумилев. Лариса звала его Гафизом, благоговела перед ним, просиживала ночи над письмами, которые прятала в конверт без адреса:

«Если я умру, эти письма, не читая, отослать Н. С. Гумилеву».

Адресат не получил их. Его, офицера, замешанного в крупном заговоре петроградских контрреволюционеров, расстреляли в 1919 году. Тогда, находясь в Астрахани, Лариса Рейснер говорила

Кирову и Бутягину почти то же, что спустя четыре года писала родителям:

«Если бы перед смертью его видела, все ему простила бы, сказала бы правду, что никого не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта, Гафиза, урода и мерзавца».

Октябрь встретила двадцатидвухлетняя Лариса восторженно.

Она покинула привычный круг, чтобы служить революции скромно, самозабвенно, неустрашимо.

Лариса Рейснер была штабным комиссаром, затем на фронте попала к белогвардейцам и благодаря отчаянной смелости спаслась от неминуемого рас-‘ стрела. В сражениях на Волге и Каме своей выдержкой удивляла бывалых военморов, ходила с ними в разведку. Одним из них был Всеволод Витальевич Вишневский. Впоследствии он изобразил Ларису Рейснер как женщину-комиссара в «Оптимистической трагедии».

Красивая, женственная, Лариса Михайловна радовала умом, простотой, чистотой. Молодая коммунистка была влюблена в трудовой народ и революционную новь, первой по-настоящему художественно писала о гражданской войне, о сражениях на Волге, об осажденной Астрахани. Работая в Астрахани, она выполняла особо важные военно-политические задания, была одним из организаторов местного объединения советских журналистов. Там поныне помнят, как много сделала она для укрепления большевистской печати. Когда наступил мир, очерки и корреспонденции, собранные в книгу «Фронт», ввели писательницу в большую литературу.

В Астрахань Лариса Михайловна приехала с мужем, Федором Федоровичем Раскольниковым, назначенным командующим Волжско-Каспийской флотилией.

Раскольников — тогда это было, наверно, самое громкое имя на флоте.

Коренной петербуржец, партийный журналист, сотрудник «Звезды» и «Правды», Федор Федорович после исключения из технологического института, ареста и ссылки умудрился окончить военно-морское училище, совершить дальние плавания. Весь 1917 год он был там, куда его посылала партия, — заместителем председателя Совдепа в Кронштадте, бойцом в Октябрьских боях на Пулковских высотах, комиссаром морского генштаба. В 1918 году двадцатишестилетнего Раскольникова назначили заместителем народного комиссара по морским делам. Он тотчас же сократил многословное наименование своей должности, представляясь друзьям так:

— Замком по морде.

Шутка прославила его раньше, чем боевые подвиги.

Ему посвящали стихи, его величали красным адмиралом, а в товарищеском кругу звали просто Фед-Фед.

Когда Ленин велел потопить в Новороссийске Черноморский флот, чтобы суда не достались интервентам, а моряки сгоряча запротестовали, разбушевались, туда командировали Раскольникова. Трагический приказ Совнаркома моряки выполнили. С Черноморья — на Каму и Волгу, где, командуя флотилией, Федор Федорович громил белогвардейщину. На Балтике в дерзкой разведке он потерпел аварию. Схваченный англичанами и увезенный в Лондон, сидел в тюрьме. Раскольникова обменяли на группу английских офицеров, арестованных в Советской России за неблаговидные дела.

Раскольников был тем, в ком нуждалась Волжско-Каспийская флотилия. Тем, в ком нуждался Сергей Миронович. Киров и Раскольников навсегда подружились в боях за Астрахань.

5

Пока XI армия планомерно формировалась, обрастала нужными ей людьми и ожидала обещанного возвращения 33-й дивизии, положение Астрахани осложнялось. С востока надвигалась казачья армия колчаковского генерала Толстова, с Северного Кавказа — кавалерия деникинского генерала Драценко.

22 мая Ленин писал, что из донесений Реввоенсовета XI армии вытекает с несомненностью абсолютная необходимость покончить с донским мятежом немедленно, ибо иначе нельзя отстоять Астрахань. Однако подавление мятежа затягивалось, и вопреки предположениям Владимира Ильича воевавшая на Дону 33-я дивизия в XI армию не возвращалась.

Не имея резервов для переброски в Астрахань, главнокомандование сочло оборону ее безнадежной.

Кирову было известно: превосходство в силах действительно на стороне белогвардейщины. Он также знал, что деникинцы и колчаковцы намереваются взорвать оборону Астрахани изнутри. По сведениям чекистов, готовился заговор.

Все же Сергей Миронович не сомневался — город и край можно отстоять.

Но главнокомандование, которому XI армия непосредственно подчинялась, рассудило по-своему, отказалось от нее.

4 июня XI армию и вовсе расформировали. Ее части передали

X армии, входившей в Южный фронт. Командование этого фронта, ведя бои с деникинцами, наступавшими на Царицын, растерялось, задумало эвакуировать Астрахань, избавиться от хлопот о ней.

14 июня в Астрахани получили телеграмму фронтового командования, требовавшего подтвердить необходимость ускоренной эвакуации города. Категорически возражая против эвакуации, Киров, представитель Реввоенсовета Южного фронта, немедленно издал приказ: всем штабам и учреждениям бывшей XI армии работать нормально, нарушение работ будет рассматриваться как злостный саботаж, за который первыми понесут беспощадную кару начальники и комиссары.

17 июня Киров опубликовал свой приказ и на пленуме горсовета призвал астраханцев защищать город и край.

18 июня деникинская кавалерия генерала Драценко пошла в наступление. Наши части отошли.

19 июня Сергей Миронович побывал на передовой. Советские войска, хотя и мужественно сопротивляясь, отдали противнику и новые позиции.

20, 21, 22 июня отступление продолжалось. Деникинцы уже были километрах в шестидесяти от Астрахани.

Сергей Миронович еще до того сделал чрезвычайно важный вывод: Астраханский край тяготеет не к Южному, а к Восточному фронту, воюющему с колчаковщиной.

Астраханский край для Южного фронта лишь дальний, небоеспособный, голодный фланг, которым стоит пожертвовать, поскольку и без него тяжко. Но потеря края, если и снимет некоторые трудности с Южного фронта, то повредит общестратегической задаче Красной Армии. Едва Деникин и Колчак соединятся в устье Волги, они затормозят продвижение нашего Восточного фронта на Урал. Замедлять же успешно развивающееся продвижение недопустимо. Недаром как раз в те дни, 15 июня, пленум ЦК РКП(б) решил: обязательно продолжать наступление на Колчака.

Стало быть, потеря Астраханского края преступна, его целесообразно, выгодно, необходимо отстаивать, в чем больше всего заинтересован Восточный фронт. Притом от него требуется не так уж много. В тылах его, в Средневолжье, имеется продовольствие, которым он может, должен поделиться с астраханцами, что будет порукой их боеспособности. Писал же Ленин 17 июня, что оборона Астрахани и края зависит от местных запасов продовольствия, которые там в данный момент ничтожны.

Сергей Миронович обратился с телеграммой в Реввоенсовет

Восточного фронта и был правильно понят.

Он обратился туда вторично, просил разъяснить обстановку членам Реввоенсовета Южного фронта, только и думающим что об эвакуации Астрахани. Он просил также помочь хлебом и фуражом. Он добивался включения войск бывшей XI армии в Восточный фронт.

Но пока, к двадцатым числам июня, добился одного: приказа об эвакуации Астрахани командование Южного фронта не отдавало.

23 июня Астрахань и подступы к ней объявили крепостным районом.

Между тем в город понаехали представители командования Южного фронта, приемщики, интенданты — за имуществом бывшей XI армии. Сыпались телеграммы об отгрузке военной техники. Что — в Козлов, где находилось фронтовое управление. Что — в Камышин, куда намечали эвакуировать астраханские учреждения и предприятия. Что — в Тамбов, Балашов, Воронеж.

Насколько позволяли права, Киров противился этой вакханалии. Чтобы не распоряжался транспортными судами кто вздумает — стянуть все суда в Астрахань, кроме тех, которые выполняют существенные задания, дать им единое командование. Собираются демонтировать армейскую радиостанцию — не трогать ее. Остальные радиостанции подчинить ей. 13-й железнодорожный полк, прикрывающий войсковой тыл от банд, хотят забрать — ни в коем случае. Не отдавать и железнодорожно-ремонтные отряды:

«Временно, впредь до особого распоряжения, оставить и немедленно использовать для работ по обороне Астрахани и подступов к ней».

Авиаотряду нужен ангар — строить его, никакой эвакуации не будет. На Ставропольском тракте мало колодцев — рыть новые, пусть 34-я дивизия побеспокоится о деньгах. Пустопорожние разговоры об эвакуации вредят промышленности — подчинить все предприятия «тройке», названной военно-техническим советом.

Одновременно бить врага, отрешившись от старых шаблонов, как потребовал Владимир Ильич. Ленин советовал в прифронтовых местностях, особенно в Поволжье, вооружить поголовно всех членов профсоюзов. Это могло казаться не подходящим для Астрахани, где при царе крупная торговля соседствовала с жалкой промышленностью и где часть рабочих, полупролетариев, погрязла в мещанстве. Однако только рабы шаблонов сетовали на небоеспособность Астрахани — боеспособен любой город, где есть коммунисты.

Партийная организация призвала сотни коммунистов в ударные отряды и роты. Комсомольцы с восемнадцати до двадцати трех лет объявили себя мобилизованными. Члены профсоюза добровольно записывались в рабочий батальон. Военкоматы края мобилизовали двадцать возрастов.

Всех, кого поставили в строй, под ружье, Киров слал на фронт. Кроме того, командные пехотно-пулеметные курсы, чекистские подразделения, штабных работников. Еще и военморов с кораблей, не сражающихся под Царицыном. Всех, всех — на фронт.

26 июня в Астрахань прибыл Серго Орджоникидзе. Он до последней возможности воевал на Тереке, потом проник в Грузию, а оттуда в Баку и с несколькими кавказцами тайно пересек в лодке Каспийское море. Будущие друзья, Киров и Орджоникидзе впервые увиделись. Серго и его спутники спешили в Москву. Сергей Миронович дал им отдельный вагон, теплушку № 449–913, и 27 июня, провожая гостей, был в прекрасном настроении, улыбался, шутил.

Он был в прекрасном настроении потому, что на дальних подступах к городу, на взморье, шел бой, задуманный 19 июня.

Тогда, 19 июня, Киров, посоветовавшись на передовой с командирами частей, удостоверился в своих предположениях. Деникинский генерал Драценко шаблонно полагался на численное превосходство сил или на астраханский заговор. Так или иначе, у наступающих деникинцев значительных резервов поблизости не было. Вражеский слух о тысячных полках, надвигающихся из Дагестана через Калмыцкую степь, наша разведка опровергла. А заговорщиков чекисты держали под наблюдением. Это и определило замысел Кирова.

Наши части, хотя и ценой некоторого отступления, изматывали деникинскую кавалерию, вынудив ее остановиться, спешиться. Между тем на взморье, в районе селения Басы, скапливались подкрепления, присылаемые Кировым для намеченного контрнаступления.

Деникинцам дали двухдневный бой, строго, всесторонне обеспеченный. И стрелки 34-й дивизии, и курсанты, и старые рабочие, и комсомольцы, называвшиеся юными коммунарами, дрались изумительно. Пехота громила вражескую кавалерию, не раз штыком отбивала конные контратаки.

Ошеломленные деникинцы удирали и вопреки обыкновению не убирали ни убитых, ни раненых. А с тыла обходным маневром на отступавших деникинцев обрушились полки нашей 7-й кавалерийской дивизии.

Группировку генерала Драценко разбили наголову.

Победе этой не уступала другая. Советское главнокомандование согласилось с доводами Кирова, Войска Астраханского края передали Восточному фронту — точнее, его Южной группе, которую возглавляли Михаил Васильевич Фрунзе, Валериан Владимирович Куйбышев и видный военный специалист Федор Федорович Новицкий.

Приказ еще подписывался в штабах, когда 30 июня пал Царицын.

За ним, по замыслу белых, должна была пасть к их ногам и Астрахань: 1 июля заговорщики окончили подготовку к выступлению.

Но в ночь на 2 июля их выловили в разных частях города.

6

Раскрыл заговор чекист Георгий Александрович Атарбеков, мыслитель по призванию и юрист по образованию.

Он учился в Баку и Эривани, прежде чем поступил в Московский университет. Эриванская жандармерия устраивала у него обыски, московская полиция арестовывала его. Атарбекова как большевика арестовывали и в Тифлисе, преследовали и в родном армянском городке Эчмиадзине. Послереволюционные события бросали Георгия Александровича на передовую то в Сухуме и Гаграх, то в Майкопе и Армавире. О профессии адвоката не доводилось и вспоминать..

Чекистский талант Атарбекова открыли в Пятигорске руководители Северокавказской республики, вскоре убитые авантюристом Сорокиным. Назначенный в августе 1918 года заместителем председателя ЧК, Георгий Александрович обнаружил умело замаскированное вражеское гнездо накануне мощного мятежа. По выражению Орджоникидзе, рука Атарбекова обезглавила этот контрреволюционный заговор.

Чекисты выследили шайку фальшивомонетчиков. Георгий Александрович без крайней надобности ввязался в поимку их. Раненный в перестрелке с ними, он лежал в госпитале, когда взбунтовались сорокинцы. Из-за высокой температуры, из-за пылающей раны Атарбеков ничего не в силах был сделать для погибающих северокавказских руководителей. Его самого прятали от бандитствующих сорокинцев. Тогда или несколько позднее, пережив в Калмыцкой степи распад XI армии, Атарбеков стал по-настоящему зрелым чекистом.

Знакомый с ним по Пятигорску, Киров в Астрахани поручил

Георгию Александровичу всю чекистскую работу. Ровно за неделю Атарбеков раздобыл достоверные сведения о назревшем мятеже. С ценностью сведений сочеталось глубокое истолкование их. В значительной степени именно это позволило Ревкому встретить во всеоружии мятеж 10–11 марта 1919 года. Предсказания Атарбекова сбылись математически точно.

Легко было уверовать, что с подавлением мятежа астраханские контрреволюционеры сокрушены. Но Атарбеков предостерегал от самоуспокоения.

Постепенно выяснилось, что в городе существует хорошо налаженная белогвардейская организация, получающая помощь извне и поддерживающая постоянную прочную связь с Колчаком и Деникиным. В ней не было ни одного рабочего, ни одного крестьянина, она состояла из царских офицеров, купцов, чиновной знати и попов, среди которых выделялись епископы Митрофан и Леонтий.

Им поставили цель: изнутри взорвать оборону Астрахани, чтобы упростить соединение деникинских и колчаковских войск. Вражеские лазутчики проникли в важные советские учреждения и в воинские части. Прибывший из Москвы граф Нирод счел, что наиболее стойки рабочий батальон и чекистский полк. Весь личный состав их, а также нескольких ответственных работников заговорщики решили отравить. Одни заговорщики хотели дожидаться, пока деникинцы вплотную подойдут к городу, другие настаивали на самостоятельном выступлении.

Образованные и умные, опытные и злобные, заговорщики изощрялись в хитрости понапрасну: каждый шаг их прослеживали чекисты.

Заговорщиков насчитывалось свыше шестидесяти. Всех их обнаружили, обезвредили. У них изъяли огромное количество цианистого калия и морфия, подложные паспорта и служебные удостоверения, секретные военные карты, оружие.

6 июля Атарбеков на пленуме горсовета рассказал о провалившемся заговоре, предупреждая:

— Не нужно сидеть и думать, что больше уже контрреволюции в Астрахани не существует. Нет. Это далеко не так. Белогвардейцы не успокоятся…

Они и не успокоились, умело расквитавшись с чекистами за свой провал.

Белогвардейцы пустили по городу клеветнический слух, изображая Атарбекова и его помощников преступниками. Заодно с обывателями клевету подхватили некоторые ответственные работники. Это привело к авантюре, в закоперщики которой втравился некий Аристов.

Он был сложной личностью, положительное в нем густо перемежалось с отрицательным.

Жизнь Аристова Мины Львовича могла сложиться ярче. Сын казака-урядника, он увлекся социал-демократическими взглядами на гимназической скамье, был исключен из университета за участие в студенческих волнениях. Сменив университет на юнкерское училище, Аристов с 1910 года служил в казачьих войсках, заведовал станицами. В 1917 году, решительно порвав сословные путы, подъесаул стал большевиком.

Солдаты избрали его командиром пехотного полка, единственной в Астрахани воинской части. В январе 1918 года Аристов руководил подавлением контрреволюционного мятежа. Успех возвел бывшего подъесаула на пост губернского военкома. А попойки, местничество, запальчивость и необузданность характера скинули с поста еще задолго до приезда Кирова в Астрахань. Бывший губвоенком командовал то боевыми отрядами, то ударными ротами.

Вечером 21 июля Аристов запиской пригласил Атарбекова в порт, будто бы для срочного секретного разговора. Атарбеков хворал и направил туда своего помощника Шаварша Меграбовича Амирханяна, недавнего учителя, будущего председателя Центральной контрольной комиссии Компартии Армении. Подосланные Аристовым молодчики напали на чекиста, затащили в каюту отшвартованного у пристани парохода, избили, хотели утопить. Вмешался матрос, удержавший их от самосуда. Запертого на замок Амирханяна утром освободили с извинениями: выручил Киров.

Призвать Аристова к ответу местные руководители не пожелали. Наоборот, они требовали суда над чекистами, заученно повторяя белогвардейскую клевету.

Это не было случайностью.

Слабость подлинно пролетарской прослойки усугублялась в Астрахани тем, что самые стойкие коммунисты сражались на передовой. Губернскими и городскими организациями руководили люди, которые, как правило, были в партии без году неделю или долго развращались меньшевистско-эсеровской средой, очень сильной в этом торгашеском городе даже после Октября. Кичливо-заносчивые, они твердили, что местные работники, «тутошние», сами справятся с обороной Астрахани, и высокомерно относились к приезжим, «назначенским».

Вмешательство ЦК партии зимой утихомирило «тутошников», а обходительность Кирова, деловито заставлявшего всех работать по способностям, почти полгода приглушала кляузы еще в зародыше. Благотворно сказывалось и то, что в Астрахани почти

безвыездно находился старый большевик Иван Петрович Бабкин, чрезвычайный уполномоченный ЦК РКП(б) и Совнаркома.

Летом, с расформированием XI армии, местничество вновь дало себя знать.

Все более зарываясь, «тутошники» жаждали полновластья, и им не давало покоя, что чекисты, несмотря на расформирование армии, по-прежнему подчиняются военным, а не местным органам. Именно поэтому астраханские работники — кто по недомыслию, кто из карьеристской корысти — затеяли авантюристическую интригу, основанную на белогвардейской клевете.

Да и подоспела клевета в удачный для них момент. Уже не было Реввоенсовета. Механошин уехал, получив новое назначение. Отозвали из Астрахани и Колесникову, председателя губкома РКП (б). Бабкин и Бутягин отсутствовали, находились в Москве, Киров был поглощен военными заботами. Около двух месяцев на его плечах лежали почти все организационные тяготы обороны края в неимоверно сложных условиях, вызванных и белогвардейским наступлением, и контрреволюционным заговором, и теребившими войска бесконечными реорганизациями, и продовольственными нехватками. И поскольку клевета была направлена против чекистов, они не могли суровыми мерами пресечь ее, как это следовало сделать по законам военного времени.

Самое же главное, Сергей Миронович, никогда прежде не сталкивавшийся с чем-либо подобным, не допускал мысли, что коммунисты способны пасть так низко, как пали те несколько астраханских работников, которых обуяла ненависть к Атарбекову.

Киров на бурном совещании урезонивал их, опровергая клевету. Они не внимали ни его доводам, ни увещеваниям своих, более благоразумных астраханских товарищей. Упорствовали, спекулируя на том, что тревожное время не позволяет ни долго возиться с этой интригой, ни выносить ее на широкое обсуждение партийной массы. Было ясно: чем бы ни кончилось затянувшееся совещание, оклеветанные чекисты все равно не смогут успешно продолжать работу в Астрахани. И Киров решительным маневром разрядил накаленную обстановку, согласившись освободить, отправить в столицу Атарбекова и его ближайших помощников: пусть там разберутся в приписываемых им преступлениях.

Маневр оправдывал себя втройне. Даже самые ретивые «тутошники» унялись, и, значит, интрига заглохнет, не перерастет в конфликт между гражданскими и военными организациями. Чекисты, вне сомнения, в Москве докажут свою безупречность.

Это авторитетно, полностью, неопровержимо опровергнет клевету, а заодно ударит по местничеству, как оно потом и вышло.

Обстановка действительно разрядилась.

Однако Аристова это никак не устраивало. Он вздумал убить чекистов накануне их отъезда в Москву. В ночь с 24 на 25 июля он объявил себя военным диктатором. Стоявшие в крепости местные подразделения подчинились ему.

Георгий Атарбеков и его помощники, собираясь в дорогу, среди ночи заметили, что дом, где они жили в общей квартире, оцепляют. Бросились звонить Кирову, но телефон не действовал, был отключен.

— Отстреливаться, живыми не сдаваться, — решил Атарбеков.

Товарищи возразили, что это никуда не годится, да он и сам тут же совладал с минутным порывом нервозности.

— Бегу к Миронычу, — нашелся Амирханян.

Шаварш Амирханян незаметно выскользнул на улицу.

Сергей Миронович, поняв его с полуслова, сказал:

— Ни единого выстрела.

— Ясно, сдадимся без сопротивления.

Сергей Миронович на считанные мгновения задержал Амирханяна:

— Все мыслимое сделаю я, чтобы спасти вас. Если же вам придется погибнуть, то знайте, что партия сохранит о вас добрую память… Георгию передайте… Такого верного и стойкого своего сына, такого железного бойца великой революции, как Атарбеков, большевистская партия никогда не забудет…

Не замеченный оцеплением, Амирханян возвратился к товарищам.

Светало, когда их вывели из дому. Атарбеков был совершенно спокоен. Старался угадать, что предпринимает Киров для спасения чекистов и сколько ему на это понадобится времени. Важно было оттянуть развязку. Находчивость не изменила Атарбекову — замедлить путь удастся. Может статься, все равно спасения нет. Что же, пусть зато передают потом из уст в уста, как встречали смерть свою оклеветанные коммунисты. Выше голову:

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов…

Шагая медленно, размеренно, чеканно, Атарбеков громко пел. Товарищи вторили ему. Невольно шагали в ногу с арестованными чекистами, одетыми в красноармейскую форму, и

конвоиры-красноармейцы. Улицы уже не были безлюдны, прохожие с недоумением озирались на красноармейцев, поющих «Интернационал» под красноармейским же конвоем. Глядя на странное шествие, прохожие останавливались. Остановился и Атарбеков:

— Товарищи красноармейцы, матросы и все, кто меня слушает!..

Проникновенно и просто говорил он о вражеской провокации. Конвоиры не прерывали его.

А потом опять запел и зашагал дальше. Товарищи опять вторили ему. Он останавливался на каждом взгорке и, обращаясь к окружающим, говорил о коварстве контрреволюционеров и недомыслии людей, легко поддающихся провокационным слухам.

Рассвело. У крепостных ворот кто-то велел конвою скорее покончить с арестантами. Но, как писал впоследствии Амирханян, в глубине крепости, когда они были уже у стены, где все было приготовлено для расстрела чекистов, их вдруг повернули обратно и отвели на гауптвахту.

«Конечно, здесь сыграли роль принятые Кировым меры».

Спасая чекистов, Сергей Миронович успел сделать все необходимое, чтобы авантюра Аристова не могла разрастись, не причинила городу зла. Оставалось без шума, не применяя силы, вызволить арестованных товарищей. Участь их очень тревожила Кирова.

Ранним утром ему доложили о присланных Фрунзе и Куйбышевым политработниках. Среди новоприбывших назвали Петра Георгиевича Галактионова и Владимира Аркадьевича Тронина. Обоих прочили в Реввоенсовет Астраханской группы войск, которую приравняли к армии. Галактионов был рабочим, старым большевиком, а Тронин, молодой самарский учитель, вступил в партию только в 1917 году, но отзывы о нем были превосходные.

Начальник политотдела армии Траллин в фурмановском «Чапаеве» — это Тронин. Под Уфой, в бою, к нашим дрогнувшим цепям прискакали Фрунзе, Траллин, несколько верных друзей их. Они, спешившись, с винтовками в руках увлекли бойцов за собой в штыковую атаку, повернувшую колчаковцев вспять. Траллина-Тронина тяжело ранило.

Кирову рассказывали о бое под Уфой и о том, что оперировать Тронина после ранения нужно было незамедлительно, а запас обезболивающих средств иссяк.

— Куревом не заменим? — осведомился Тронин.

Пока его резали, удаляли пулю из груди, зашивали рану, он попыхивал из трубки.

Одним из первых в стране его наградили орденом Красного Знамени.

Сергей Миронович пригласил к себе Тронина. Владимир Аркадьевич понравился и интеллигентностью, и осанкой, и высоким ростом. У Кирова созрело решение. Раз права позволяют, трата времени на формальности преступна в критический момент. Сергей Миронович в два счета учредил Реввоенсовет Астраханской группы войск: Галактионов, Раскольников, Тронин.

Член Реввоенсовета Владимир Тронин тут же получил мандат и первое задание, которое могло стать последним в жизни. Задание вдвоем обсудили. Все, что мыслимо предусмотреть, Киров предусмотрел.

Крутились ручки телефонов. Штабисты передавали телефонограмму всем, всем: назначен Реввоенсовет. Передали телефонограмму и в крепость, командиру ударной роты Аристову. Следом ему вручили вторую телефонограмму: его сейчас навестит член Реввоенсовета.

Тронин пошел в крепость.

Аристов встретил его полупочтительно-полуразвязно, не сумев утаить смятения.

Представившись, Тронин скомандовал:

— Руки по швам!

Бывший подъесаул Аристов вытянулся в струну.

Не дав ему опомниться, Тронин неожиданно потребовал отрапортовать о боевых делах роты, убывшей на передовую месяц с лишним назад, 22 июня в двадцать ноль-ноль.

Этот рапорт доконал Аристова, вымотанного и месяцем боев, и авантюрой, и телефонограммами, и спокойной суровостью невесть откуда взявшегося орденоносца, за которым стоит невесть кто.

— Вольно. Идемте.

Чуть-чуть смягчившись и полусочувственно беседуя с растерявшимся Аристовым, как с оплошавшим храбрым командиром, способным новыми подвигами искупить свою вину, Тронин повел его к церковной сторожке, где сидели арестованные чекисты, распевая революционные песни. Аристов снял свой караул.

Тронин поставил армейских часовых, намекнув, что их, часовых, незримо оберегают внушительные силы. Раскольникова и начальника 34-й стрелковой дивизии Александра Сергеевича Смирнова исполняющего обязанности командующего Астраханской группой войск.

Вечером активных участников авантюры исключили из

партии.

Аристова отправили на передовую — искупать вину в боях.

В Реввоенсовет Астраханской группы войск, кроме Галактионова, Раскольникова и Тронина, срочно включили Куйбышева. Фрунзе, командовавший уже всем Восточным фронтом, а не только его Южной группой, согласился на понижение Куйбышева в должности единственно ради того, чтобы перевести его ненадолго в Астрахань. Фрунзе уловил по аристовской авантюре, насколько там шатка местная верхушка, хотя и не мог предвидеть, что оздоровление ее займет не месяцы, а годы.

Георгий Атарбеков и его помощники уехали в Москву.

Поначалу обстоятельства складывались очень неблагоприятно для Георгия Александровича — его в дороге обогнала астраханская кляуза, содержавшая, помимо прежней белогвардейской клеветы, еще и новые измышления. Он обратился в ЦК партии. Работник, командированный в Астрахань, проверил кляузу. Мандаты на расследование ее ЦК выдал также Кирову и Куйбышеву. В Москве комиссия при участии секретаря ЦК партии Елены Дмитриевны Стасовой и председателя ВЧК Феликса Эдмундовича Дзержинского перепроверила кляузу и не обнаружила ничего порочащего Атарбекова. Георгий Атарбеков рассказывал своему брату, Липариту Александровичу, что при разборе его дела в комиссию пришел Ленин. Ему хотели сообщить о подробностях, но он возразил, что это излишне:

— Мне известно мнение Кирова.

ЦК партии выразил полное доверие Атарбекову. Дзержинскому предложили оставить его на ответственной работе. Георгий Александрович на фронтах продолжал разить контрреволюцию с почти непостижимой меткостью и отвагой.

После гражданской войны он был заместителем наркома рабоче-крестьянской инспекции Закавказской федерации, в которую входили Азербайджан, Армения и Грузия, а также членом Закавказского крайкома партии.

Весной 1925 года Атарбеков погиб при авиационной катастрофе.

Провожая его в последний путь, Орджоникидзе говорил о Георгии Александровиче как об исключительном человеке, который, несмотря на серьезную болезнь, никогда не знал отдыха, весь принадлежал партии:

— Не стало героя, отважного революционера!.. Пусть его жизнь будет примером, путеводной звездой для нашего поколения.

Киров говорил:

— Именно потому, что это был самый честный, самый бескорыстный в революционном смысле слова, революционный бессребреник, именно поэтому мы и бросили его на эту тяжелую и ответственную работу — на борьбу с контрреволюцией. И нужно сказать, что, несмотря на всю тяжесть, которую должен взвалить на себя каждый член партии, оказавшийся на работе в карательном органе, товарищ Атарбеков сумел сохранить чистоту своего коммунистического сердца до последних дней своей жизни…

Память Атарбекова увековечили в родных краях и в Москве, где его именем назвали улицу. Перестройка столицы потом унесла ее. Близ прежней растет ныне новая улица Атарбекова.

7

Разгром кавалерии Драценко и предотвращение заговора спасли Астрахань, но передышка была мимолетной. С северо-запада, вдоль обоих берегов Волги, наступали пехота и кавалерия деникинских генералов Бабиева и Улагая, с юго-запада — обновленная группировка Драценко, с запада — местные банды, с востока — казаки колчаковской армии генерала Толстова. Уверенные в успехе, белогвардейцы уже назначили генерал-губернатора Астрахани.

А оборонять ее было гораздо труднее прежнего. После падения Царицына край очутился в мешке. Сообщение с центральными губерниями по Волге прекратилось в разгар навигации и продолжалось лишь по крайне уязвимой, подверженной постоянным вражеским нападениям железной дороге с ее скудной грузопровозностью. Астрахани угрожал голод.

Киров обратился к Владимиру Ильичу. Вполне разделяя доводы Кирова, Ленин ответил:

— Астрахань защищать до конца.

XI армия опять возродилась. Членами ее Реввоенсовета утвердили Кирова и Куйбышева. Фрунзе получил возможность выкроить для XI армии кое-какие подкрепления, а для населения — продовольствие. До глубокой осени не затихали оборонительные бои, наиболее ожесточенные близ городка Черный Яр, выстоявшего в долгой осаде под командованием уездного военкома Никифора Аврамовича Нестеровского, бывшего царского подполковника. Его наградили вскоре орденом и золотыми часами, на которых от имени Реввоенсовета

выгравировали: «За презрение к смерти во имя идеалов коммунизма».

Как и прежде, Сергей Миронович бывал то в частях и на кораблях, то на фабриках и заводах, то на промыслах и в селах — выступал с докладами, речами, и эта зримая, внешне ощутимая военно-политическая работа сочеталась с сугубо тайной работой.

Киров руководил большевистским подпольем, партизанским движением на огромных пространствах Ставрополья, Терека, Дагестана, где против врагов сражались и Асланбек Шерипов, и казак-коммунист Александр Зиновьевич Дьяков, и видные в будущем партийные деятели Николай Федорович Гикало, Борис Петрович Шеболдаев, Джемалутдин Аселдерович Коркмасов, Нажмутдин Эфендиевич Самурский и многие другие герои гражданской войны. Через Кирова наладил ЦК партии контакт с коммунистическими организациями Закавказья.

По суше, по морю, по эфиру Сергей Миронович держал нелегальную связь с Баку, Тифлисом, Эриванью, Петровском, Грозным, Кизляром, Святым Крестом, Ставрополем, Пятигорском, Владикавказом. Он посылал, переправлял туда и людей, и оружие, и партийные директивы, и литературу, и деньги. Он инструктировал подпольщиков, давал им задания, помнил все шифры и явки, клички и подлинные имена. Следил за ремонтом, отправкой и прибытием парусных и моторных лодок, рыбниц и баркасов. Сам вел всю переписку. Сам вел всю денежную отчетность, а распоряжался Сергей Миронович большими миллионами.

Особенно крепкой была связь с бакинским подпольем, которое возглавлял член Кавказского краевого комитета партии Анастас Иванович Микоян. По предложению Кирова бакинские товарищи с необычайной смелостью систематически доставляли в Астрахань для Красной Армии бензин и машинное масло, которые были дороже любых драгоценностей.

Обрисовать в полном объеме эту подспудную работу Сергея Мироновича почти невозможно — многие документы уничтожались по конспиративным соображениям. Но некоторое представление о ней можно составить по сохранившимся в личном архиве Кирова копиям его писем в Баку. Вот три выдержки из них.

31 августа 1919 года.

«То, что вы у нас просите, пошлем при первой возможности, как только удастся организовать отправку без риска провала… Здесь упорный слух, что Красноводск занят нашими войсками. Проверить это никак не можем. Не знаем также, что у Азербайджана и Грузии с Деникиным. Что он наглеет по

отношению к Закавказью, это нам известно, но перешел ли он от угроз к действию, сведений не имеем… Думаем, что Деникин теперь едва ли решится на агрессивные действия в отношении Закавказья, так как на

Южном фронте наши войска повели весьма определенное наступление»,

16 сентября 1919 года.

«Совершенно необходимо в самом срочном порядке оборудовать встречу двух моторных рыбниц где-нибудь в окрестностях Баку, так как в самом Баку приставать рискованно. На рыбницах приедут шестьдесят товарищей из центра. Провала их нужно избежать во что бы то ни стало. Они остановятся или у Рачьих промыслов, или где найдете удобнее, откуда двое-трое из них на маленькой лодке приедут в Баку и здесь при вашем содействии оборудуют все необходимое. Конспирация должна быть абсолютная. В Баку нужно приготовить им надежные квартиры и теперь же заняться Организацией их переправы на Северный Кавказ, в Новороссийск или Таганрог. Имейте в виду — с товарищами будет груз пудов сто… Для немедленного ответа на изложенные здесь вопросы, особенно вначале, воспользуйтесь каким-нибудь моторным судном, так как парусное идет слишком долго, а ответ нам нужен в самом скором времени. Предупредите едущих, что в районе Лагани часто бывают суда противника, поэтому нужно проходить к Астрахани так называемой Белинской банкой».

Сентябрь 1919 года.

«Всех лодок с бензином сюда прибыло пять; крайне необходимо продолжить посылку бензина. Кроме того, нужно во что бы то ни стало наладить у вас верный прием лодок, идущих отсюда. Самое же важное — нам совершенно необходимо довести до максимума боевую работу в тылу деникинцев, разрушение дорог, мостов, флота и проч. Я уже неоднократно просил вас обратить самое серьезное внимание на происходящую во флоте белых замену англичан добровольцами, что дает возможность проникнуть на суда нашим людям… Нужно дать для этого специалистов: машинистов, кочегаров, радиотелеграфистов и проч. Полагаем, что в этом отношений вами кое-что сделано, но нам ничего определенного не известно… Сообщите шифром, не медля ни одной минуты, что вами сделано уже и каковы ваши планы на ближайшее время… Необходимо поставить работу в этом направлении в Петровске. Сообщите о состоянии неприятельского флота в данное время с указанием, что вам известно точно и что требует проверки… Также необходимо знать, как идет работа в указанном смысле на Северном Кавказе,

о котором вы очень скудно сообщаете… Примите все меры к созданию возможности захвата нашими судами барж или пароходов с нефтью. Обратите серьезное внимание на Красноводск в смысле дезорганизации его изнутри и содействия нашим войскам…»

Подпольщики все чаще просили направить к ним Кирова. Его и самого влекло в подполье. Однако ЦК партии считал, что в XI армии он нужнее.

«Оставить Кирова в Астрахани» — было решено после очередной его просьбы об откомандировании на зафронтовую работу.

«Откомандировании работы Закавказье Цека отказывает, — телеграфировали Сергею Мироновичу в другой раз. — Постановлено оставить вас Астрахани».

«Предложение принимается с той разницей, что вы остаетесь на месте», — ответили из Москвы, когда Киров хотел провести объединение северокавказских партизанских отрядов.

Осенью Сергей Миронович вместе с Раскольниковым подготовил очень серьезную военно-морскую операцию. Встретить советских моряков в одном из вражеских портов должен был Киров и только Киров. Его авторитет, его личное знакомство с руководящими большевиками-подпольщиками и командирами флотилии служили порукой надежного взаимодействия их в сложной обстановке, требовавшей исключительной оперативности. И никто другой не знал столь досконально военно-политическое положение по обе стороны Каспия, как Сергей Миронович.

Оргбюро ЦК РКП (б) одобрило план операции и ради нее освободило Сергея Мироновича от всех прежних обязанностей. 30 сентября ему из Москвы передали, что он должен поскорее пересечь линию фронта.

Операция эта, сулившая Красной Армии большой успех, сорвалась, не начинаясь. Сергея Мироновича задержала в Астрахани, приковала к ней вторая авантюра «тутошников».

Авантюра была направлена против Реввоенсовета XI армии и прежде всего против Кирова.

8

Главным закоперщиком оказался губвоенком Чугунов.

Бондарь из предместья Форпост, он в царской армии прошел кое-какую военную выучку. Участвовал в подавлении январского

мятежа 1918 года, приведя в город отряд форпостинских рабочих. Сражался умело.

В марте 1919 года Киров включил Чугунова в «тройку», которой доверил подавление мятежников. Летом Сергей Миронович назначил его членом совета Астраханского крепостного района и начальником гарнизона, что тоже было обоснованно: жизненный опыт рабочего сочетался у Чугунова с напористостью, храбростью и незаурядной военной сметкой.

Но от множества рабочих, развернувших свои способности в годы гражданской войны, Чугунова отличали некоторые отрицательные черты. Его влюбленность в собственную персону граничила с комизмом. Каждое распоряжение его представлялось ему перлом создания. Скажем, о действиях своих при очередном авианалете он сочинит длинный напыщенный рапорт:

«В момент взрыва я лично находился на автомобиле в районе города, и автомобиль мой сейчас же на месте был предоставлен, по моему личному приказанию, для оказания помощи раненым товарищам, для отвоза их в лазарет № 5. Кроме того, мною был задержан случайно попавший грузовой автомобиль и несколько извозчиков для той же цели. Наряду с этими распоряжениями мною… Вместе с тем мною…

Я обратился к собравшейся толпе и указал ей… Я подчеркнул… Мною было заявлено…»

Самовлюбленность, неимоверная переоценка собственных заслуг и, конечно же, местничество довершали склонность к авантюризму. Это и привело Чугунова к преступлению еще в ночь с 24 на 25 июля, когда арестовали Атарбекова.

Сергей Миронович поднял тогда на ноги всех. Через несколько минут после того, как у него побывал Шаварш Амирханян, — буквально через несколько минут — к дому, где жили чекисты, примчались и преемник Атарбекова, и председатель губкома РКП (б), и губвоенком, начальник гарнизона Чугунов.

Командир подразделения, оцеплявшего дом, не пожелал подчиниться им и увести красноармейцев:

— Выполняю приказ Аристова.

Чугунову велели пойти в крепость и положить конец авантюре. А он присоединился к авантюре Аристова.

Чугунова тогда простили, поверив его раскаянию.

Раскаяние было, очевидно, притворным.

Теперь, в ночь с 6 на 7 октября, Чугунов совершил несколько преступлений подряд. Он объявил Астрахань на осадном положении. Поднял гарнизон в ружье. Телефонной станции приказал прекратить работу.

Взяв с собой нескольких приятелей, двух приезжих москвичей, которых ввел в заблуждение, да красноармейцев, Чугунов около трех часов ночи отправился на Эспланадную улицу, к Кирову. В его квартире до середины лета было многолюдно. Одну комнату занимал он, вторую отдал Мямлиной с детьми, третья, гостиная, превратилась в общежитие. Вела хозяйство коммуны Мямлина, и за стол садилось человек двадцать, если не тридцать. С тех пор как она уехала, в квартире, кроме Сергея Мироновича, проживали двое: секретарь Реввоенсовета Михаил Григорьевич Шатыров и управляющий делами Дмитрий Сергеевич Козлов.

По дороге чугуновская компания встретила, военкома армейского штаба Виссариона Мелхиседековича Квиркелия, старого члена партии, возвращавшегося от Кирова. У Квиркелия потребовали оружие. Он был безоружен. Ему не поверили, его обыскали:

— Следуйте за нами.

Дверь открыл Козлов. Чугунов наставил на него наган.

— Ты что, Чугунов, здоров ли? — обомлел Козлов.

— Где Киров?

— Уснул.

— Разбудить.

Сергей Миронович вошел в гостиную. Чугуновцы и красноармейцы были мрачны. Все с револьверами в руках. Молчали, первым заговорил секретарь губисполкома Иванов, учинив Сергею Мироновичу допрос: кто он, откуда, как попал в Астрахань и так далее.

Впоследствии Сергей Миронович рассказывал, что поначалу в душе немного волновался.

Было от чего. Все точь-в-точь напоминало авантюру Сорокина в Пятигорске. Бандитские аресты там проводил начальник гарнизона. Там учиняли допросы, чтобы на другой день состряпать клеветническую фальшивку. Ничто не позволяло заключить, то же ли это, что произошло в Пятигорске, или нет. Быть может, это похуже сорокинщины. Быть может, измена. Ведь среди шестидесяти с лишним заговорщиков, выловленных летом, нашелся советский командир-предатель, и тот единственный предатель служил в помощниках у Чугунова. Быть может, перед ним, Кировым, сейчас предатели. Быть может, уже арестованы и расстреляны и Куйбышев, и исполняющий обязанности командарма Бутягин, и сотрудники Реввоенсовета. Быть может, городом уже завладели мятежники и пала твердыня, стоившая жертв и жертв.

К счастью, Киров был Киров.

Он видел не только Иванова и Чугунова, все более наглеющих. Двое чужих, приезжих, держали себя достойно, озабоченно вслушиваясь в каждое слово. А вопросы Иванова становились все мельче, глупее.

Киров понял, что перед ним не предатели. Никакого мятежа нет. Сергей Миронович и до того говорил совершенно спокойно, хладнокровно. Теперь в его голосе зазвучала ирония.

Удалив Кирова, пришедшие поочередно допросили Шатырова, Козлова, Квиркелия.

Вызвали снова Сергея Мироновича.

Внезапно приказали закрыть глаза.

К счастью, и в это мгновение, которое могло оказаться роковым, Киров не потерял самообладания. Как признавали потом сами авантюристы, на лице Сергея Мироновича, в уголках губ пряталась тонкая улыбка. Он невозмутимо закрыл глаза.

— Откройте.

На столе лежал старый журнал с изображением какого-то человека во всю обложку.

— Вы похожи на него?

Глянув на портрет, Сергей Миронович прочел надпись и рассмеялся:

— Вот так номер…

То же проделали с Шатыровым, Козловым, Квиркелия.

Посовещавшись наедине, чугуновцы стали извиняться перед Кировым: вышло недоразумение. Что-то пытались растолковать. Что-то бормотали, пряча револьверы.

Киров спросил:

— Зачем вы заварили такую кашу? Почему не обратились в партийный комитет?

Чугуновская компания, ничего не ответив, убралась восвояси.

Ответ все же нашелся.

Какой-то белогвардеец, и безусловно умный, всучил сестре милосердия Вассерман дореволюционный журнал «Искры» с портретом иеромонаха Илиодора, известного всей России царицынского церковника.

— Похож на Кирова?

В этих ли точно словах был выражен провокационный намек или нет, но Вассерман начала шастать из дома в дом, кликушествовать. Вскоре вся или почти вся астраханская верхушка смаковала белогвардейскую сплетню, будто Киров не революционер, а замаскировавшийся иеромонах. Не выискалось ни одного честного человека, который хотя бы пристыдил, высмеял Вассерман, отобрал у нее журнал.

Журнал использовали для того, чтобы сподручней было

сколачивать авантюристическую компанию. Раздобыв снимок Кирова, сличали с изображением на обложке. Сличали почерки по подписанным Кировым бумагам и автографу церковника на журнальном снимке.

6 октября, в одиннадцать часов вечера, в Реввоенсовет, к Валерию Владимировичу Куйбышеву пришли Иванов с приятелем. Показали журнал, спрашивая, похож ли Илиодор на Кирова.

Куйбышев успокаивал пришедших, говорил, что, хотя знаком с Кировым не очень давно, уверен во вздорности сплетни.

— У меня с Кировым много общих знакомых по Сибири, мы порой вспоминаем такие мелочи из томской подпольной жизни, которые никакой Илиодор знать не может.

Куйбышев обещал без промедления, утром, раздобыть о Кирове еще массу подробностей, которые полностью рассеют все сомнения.

— Жду вас завтра.

Но авантюристическая компания уже была сколочена и ровно через час начала свои преступные действия, завершившиеся полным провалом.

7 октября Киров и Куйбышев встретились в Реввоенсовете. Сергей Миронович считал, что случившемуся нецелесообразно придавать особое значение: участники авантюры с контрреволюцией не связаны и, опозорившись, уже наказаны. Куйбышев согласился с ним, но предлагал сместить Чугунова.

Член Реввоенсовета и исполняющий обязанности командарма Бутягин, по его собственным словам, метал громы и молнии: авантюру нельзя оставить безнаказанной, особенно в этот сложный момент. Куйбышев, назначенный членом Реввоенсовета Туркестанского фронта, уезжает. 'Чрезвычайный уполномоченный ЦК РКП (б) и Совнаркома Бабкин — в отъезде, в Москве. Кирова ждет катер, на котором он собирается во вражеский тыл. Преемник Кирова не прибыл и вроде бы отказывается работать в Астрахани, Командарм болен, лежит в тифу. Начальника штаба нет. Начинается очередная реорганизация, передача XI армии новому, Юго-Восточному фронту. Противник наступает и вот-вот, оседлав железную дорогу, полностью отрежет Астрахань от остальной России. Армейские резервы исчерпаны, заткнуть прорывы нечем. Бутягин настаивал на своей отставке, клялся, что никогда в жизни не подаст руки ни одному астраханскому работнику.

Сергей Миронович унял Бутягина, советуя проследить за войсками, поскольку в части проникли кривотолки о ночном происшествии. Бутягин занялся делами.

К чести войск, нигде не случилось из-за авантюры ни единой заварушки, ни единого нарушения дисциплины.

Армейский трибунал, независимый в своих обязанностях и правах, отнесся к авантюре строже, сообщив о ней в Москву и начав следствие.

Кирова и Куйбышева встревожила участь Чугунова. Было ясно, какой приговор вынесут взбунтовавшемуся губвоенкому, начальнику гарнизона. Киров и Куйбышев решили, что надо немедленно удалить Чугунова из XI армии и дать ему возможность до суда искупить свою вину в боях. Чугунова отправили к Фрунзе, командующему Туркестанским фронтом.

Следствие продолжалось. Его вел уже не армейский следователь, а представитель Ревтрибунала республики, срочно командированный из Москвы. Обнаружилось, что авантюристическая компания намеревалась арестовать Кирова, затем весь Реввоенсовет и самовольно заменить арестованных астраханцами.

В конце ноября был суд. Он определил, что авантюра могла открыть Астрахань врагу. Чугунова Петра Петровича, храбро сражавшегося против белогвардейцев, заочно приговорили к тюремному заключению — условно. Условное наказание дали также нескольким другим участникам авантюры. Военных — в штрафной батальон. Вассерман Рахиль Яковлевну и Иванова Ивана Ефимовича, подбиравшего участников преступной авантюры, приговорили к расстрелу.

Вассерман расстреляли. Иванов бежал из тюрьмы и очутился за границей. Говорят, спустя несколько лет он обратился к Кирову с просьбой содействовать в пересмотре дела, и Киров просьбу его выполнил. Очевидно, так оно и было: в 1925 году Иванова амнистировали. Он возвратился в Советский Союз.

А некоторые астраханские работники еще долго не желали избавиться от пагубных недугов. В марте 1922 года ЦК РКП (б) счел, что наиболее непредубежденно в их делах разберется Киров. Но он был перегружен основной работой как секретарь ЦК Компартии Азербайджана. Местную верхушку удалили из Астрахани, перевели кого куда. Летом ЦК РКП (б) повторил прежнюю просьбу-поручение. Поехав в Астрахань, Сергей Миронович ознакомился там с положением и просил ЦК РКП (б) никого оттуда больше не отзывать. Сделал все необходимое для оздоровления местной партийной организации, а о причинах ее недугов потом писал, что их четыре:

1. Отсутствие достаточного кадра подлинно пролетарского элемента, преобладающая масса рабочих — сезонные крестьяне, рыбаки и так далее.

2. Чрезвычайно низкий партийный уровень работников.

3. Молодость их по стажу: из ста двадцати четырех делегатов последней губернской конференции только одиннадцать вступили в партию до революции.

4. Старая болезнь — местничество, борьба с пришлым и «назначенским» элементом.

9

14 октября 1919 года XI армию передали Юго-Восточному фронту.

15 октября ЦК РКП (б) решил: высвободив часть своих войск для защиты Тулы и Москвы, этот фронт должен остающимися силами вести оборонительные бои, чтобы не дать Деникину соединиться с астрахано-уральскими казаками Колчака.

Несмотря на всяческие нехватки, XI армия строго выполняла партийное решение.

Близ Черного Яра, выдержавшего полуторамесячную осаду, восьмидневное наступление отбросило врага прочь. Преследуя его, наши части в ноябре приближались к Царицыну.

На другом фланге, в дельте Волги, готовился общий удар пехоты, кавалерии и судов флотилии по казачьей группировке колчаковцев. Колчаковцы намертво пристыли к своим богато укрепленным позициям, и не было пока уверенности, что удастся взломать вражескую оборону.

Киров изо дня в день часами беседовал со штабистами — ничего они не могли придумать для возмещения неравенства сил. Глубокой ночью от фронтового командования прибыла телеграмма: после отдыха погрузился в эшелон и едет в Астрахань десантный отряд Кожанова. Сергей Миронович повеселел — кожановцы не шутка. Пригласил Бутягина:

— Тут что-то наклевывается.

Противник о кожановцах вряд ли успеет проведать, да и снять их надо с поезда не в Астрахани. Стоит придать им все, что в городе есть боеспособного. Собрать все резервы, двинуть в обход противнику. Молниеносно ударить с тыла. И тогда развернуть намеченную раньше операцию, несколько перегруппировав части.

— Кожановцы пройдут здесь, — показал Киров две-три точки на карте. — Где никто не пройдет и откуда никого не ждут.

До утра думали вдвоем, прикидывали, советовались с наиболее ответственными штабистами, набрасывали приказания-

записки.

Заведующему пехотными курсами:

«Приказываю не позднее 23 часов приготовиться в составе 300 штыков с пулеметами к выступлению для погрузки водой с обозом — налегке, взяв довольствие на 5 дней. Дополнительный приказ и направление получите перед выступлением».

Утром, в восемь ноль-ноль, Бутягин и Киров поставили свои подписи под приказанием. Тут же, в восемь ноль-ноль, приказание вручили военкому курсов, дожидавшемуся в приемной: с ним предварительно побеседовали.

Губвоенкому:

«Приказываю с получением сего приступить к выделению из караульного полка строевых и, слив в батальон не менее 300 штыков, приготовиться к выступлению по моему добавочному приказанию не позднее 12 часов 12 ноября с приданной из армейского запасного парка пулеметной командой в 2 взвода».

В восемь ноль-три Бутягин и Киров поставили свои подписи. В восемь ноль-три приказание вручили присутствовавшему здесь новому губвоенкому.

Такие же приказания дали еще нескольким командирам, военкомам.

Десантников-кожановцев встретили на станции Бузан. Долго растолковывать им приказ не понадобилось.

Для них не существовало невозможного. Их дисциплине могла позавидовать любая воинская часть. Поэтому, возможно, кожановцам позволяли называть друг друга братками, братишками, а командиров — Ванями да Колями. Только одного человека они величали не по имени, а по отчеству Кузьмичом — худощавого юношу, до застенчивости скромного — Кожанова, которого звали еще и Кажановым.

На флагмане флотилии, рядом с командующим Юго-Восточным фронтом Василием Ивановичем Шориным, Лариса Рейснер однажды увидела и запечатлела Кожанова таким:

«Дальше профиль, неправильный и бледный, выгнутый, как сабля, с чуть косыми глазами и смутно улыбающимся ртом, словом, один из тех, которые могут позировать художнику для тонкого и выносливого бога мести в казацкой папахе. Бесшумная походка, легкий запах духов, которые он любит, как девушка, и на черной рубашке красный орден — это и есть Кажанов, ставший почти легендой начальник десантных отрядов Волжской флотилии».

Иван Кузьмич действительно питал слабость к духам, но вряд ли годился в бога мести, так как мстительность была чужда ему, а папахи он не носил, хотя и был кубанским казаком — казаком,

променявшим степное раздолье на воды Камы и Волги, на их побережья.

Он ценил порядок в быту, ненавидел водку и наказывал новичков за выпивку — бывалые кожановцы поводов для наказания не давали. Он ценил порядок в бою. В сапогах и кожаной фуражке, в черной шинели нараспашку, с маузером на ремешке, во время сражения он обычно похаживал-посматривал, заложив руки за спину. После боя, поначистившись до лоска, отдыхал, читал, пел. Пел, рассказывают, с упоением, забывая все на свете:

Я с ватагою верной поеду,
Захвачу я хоть сто городов…

Городов он не захватывал, но славился среди красных и белых. Когда сообщали, что на подмогу кинут кожановцев, этому радовались в наших частях, как обрадовался Киров. Когда разведка белых доносила начальству, что на передовой замечены кожановцы, офицерики на всякий случай срезали погоны. Напрасная предосторожность: кожановцы отправляли в штабы наравне с рядовыми белогвардейских офицеров, сдававшихся в плен.

Кожанов был образован, умен и, командуя обычно полутысячью, тысячью десантников, на большее не соглашался, хотя ему дали бы полк, бригаду. Окончив после гражданской войны академию, он в тридцатых годах был командующим Черноморским флотом, членом Военного совета при наркоме обороны СССР.

На станции Бузан кожановцы под покровом ночи высыпали из эшелона, растаяли в степи. Их насчитывалось четыреста пятьдесят штыков, два эскадрона, батарея. Прятались, ходили в разведку. В нужный день и час на сигнал ответили:

— Даешь!

В течение суток кожановцы прошли девяносто километров — девяносто километров за сутки — то песками, то вязкими топями, то по пояс, то по шею в воде.

Более доступными, но менее выгодными путями к десантникам подтягивались отряды, роты, группы, собранные в Астрахани. Белогвардейцы не обнаружили и их.

18 ноября обходная колонна внезапно ударила по белоказакам и выбила их из двух сел. На другой день белых выжили из третьего села, еще через день — из трех сел. Тогда двинули в наступление основные части. Противник уходил по единственному пути, который не удалось отрезать, — к селению

Большое Ганюшкино, где закрепился. Десять дней длились победные бои. Только малый кавалерийский отряд белых уцелел, улизнул. Кроме тысяч пленных, было взято много техники и снаряжения — никогда столько трофеев XI армия еще не брала у врага.

1 декабря Киров и Бутягин телеграфировали Ленину:

«Части XI армии спешат поделиться с вами революционной радостью по случаю полной ликвидации белого астраханского казачества. Свыше полугода назад по устью Волги и по побережью Каспия сбилось контрреволюционное казачество. Прекрасно снабженное всем необходимым господствовавшими в Каспии бандитами английского империализма, оно представило весьма серьезную угрозу красной Астрахани и получило задачу запереть великую советскую реку и взять Астрахань. Нужно было положить раз и навсегда предел такой дерзости, и ныне это выполнено… Чрезвычайно тяжелая географическая обстановка не могла явиться препятствием для самоотверженных красноармейцев и военных моряков. После непрерывных боев противник в районе Ганюшкино был крепко прижат к Каспию, а сегодня ему был нанесен окончательный удар, смертельно сокрушивший белое астраханское казачество».

Оборона Астрахани завершилась.

10

На царицынском направлении XI армия тоже била противника, сбросив его в Волгу близ города Царева, у хутора Букатина. Крупные победы Красной Армии, особенно на главном, Южном фронте, благоприятно отзывались и на Юго-Восточном фронте. XI армия начала получать подкрепления.

Прибыла только что сформированная Таманская дивизия. Ею командовал герой гражданской войны Епифан Иович Ковтюх, выведенный под именем Кожуха в «Железном потоке» Серафимовича. 50-й Таманской дивизии выпала большая честь — 3 января 1920 года она первой ворвалась в Царицын, полностью освобожденный в тот же день от белогвардейщины.

Укрепилось и армейское руководство. По просьбе Кирова членом Реввоенсовета вместо уехавшего Куйбышева вновь прислали Механошина. Прислали талантливого командарма, бывшего полковника Матвея Ивановича Василенко. Дали нового начальника штаба, бывшего генерала Александра Кондратьевича Ремезова, пожилого, уважаемого специалиста. После гражданской

войны, когда он вышел в отставку, его достойно вознаградили за верную службу. Ремезов поселился на юге, у моря, жил на государственный счет в особняке с личным поваром, имел автомобиль с личным шофером, что по тем трудным временам почиталось жизнью княжеской.

XI армию включили в новый, Кавказский фронт. Она победно шла на Северный Кавказ, по краям и в края, где прежде терпела поражения.

Ранней весной, когда армия уже достигла Терека, пора было Кирову и командарму Василенко перебраться туда. Калмыцкую степь развезло, терять недели на поездку они не могли. Оставалось лететь. Лететь, хотя подобных рейсов в истории авиации никто и не помнил. Четыреста километров без трассы, без предварительной разведки, без аэродромов, без городов. А самолеты — «Фарсаль» и «Ваузен», старые галоши, летающие гробы.

Вылетели утром 17 марта. Сергею Мироновичу предоставили «Фарсаль XXX», который вел герой гражданской войны Сократ Александрович Монастырев. Спустя несколько лет он издал об этом перелете книгу, в которой Сергей Миронович упоминается как член РВС К-в.

В книге рассказывается, что рельеф местности не совпадал с изображениями карты. А вскрывшаяся Волга разлилась и затопила высотки, по которым намечалось ориентироваться. Там, где должно было находиться селение Яндыки, лежало несколько деревень, окруженных водой. Отыскать с воздуха Яндыки помог Киров. Сели благополучно, хотя площадка была настолько скверна, что резервный самолет, везший механика и запасные части, разбился, приземляясь. Пилот и механик только чудом уцелели среди груды обломков.

Поднялись вновь. Ветер трепал изношенный «Фарсаль», мотал во все стороны. На высоте в две с половиной тысячи метров «Фарсаль» пошел ровнее. Но вновь неладно. «Ваузен», на котором летел Василенко, взял неправильный курс и, не замечая сигналов Монастырева, мчался в глубь степи. А заранее условились лететь на виду друг у друга. Пришлось лететь по заведомо ложному пути. Внизу простиралась совершенно голая земля, сплошь покрытая песками — ни растительности, ни рек, ни дорог, ни селений. Никаких признаков жизни. «Ваузен» пошел на посадку. Сел. Рядом сел и «Фарсаль». В моторе «Ваузена» что-то испортилось, и пилоты принялись чинить его.

Темнело. Кругом ни души. Но Василенко успел высмотреть калмыцкую юрту. Направились к ней. За изгородью, возле коров, баранов, верблюдов, в углу двора тесно жались плечом к плечу

мужчины, женщины, дети. Сергей Миронович приблизился, поздоровался. Один из калмыков кое-как говорил по-русски. Он признался: увидев машины, все решили, что с неба спускаются злые духи, шайтаны.

— Поздравляю, — рассмеялся Сергей Миронович. — За чертей приняли.

Окончательно убедившись, что перед ними не злые духи, хозяева очень обрадовались. Зарезали барашка, изжарили его на костре. Все уселись вокруг огня. Гостей наперебой угощали и мясом, и топленым молоком, и лепешками, и солоноватым чаем. Монастырев писал, что сроду такого вкусного молока не пил. Василенко рассказывал, что чай, хотя и странный на вкус, понравился ему и Сергею Мироновичу.

Летчики ночевали неподалеку, возле машин. Кирову и Василенко отвели лучший угол в юрте, на нарах, устланных коврами и кошмой. Гости улеглись. Однако вскоре встали. Торопливо поблагодарив хозяев, простились. Василенко впоследствии рассказывал, что они с Кировым сбежали в степь от блох.

Следующий этап был для «Фарсаля» попроще, но при посадке в Святом Кресте ветер снес машину немного вбок. Она угодила колесом в канавку. Колесо смялось. Машина передним концом гондолы уперлась в землю. Ни Киров, ни Монастырев не пострадали. «Ваузен» закапризничал и, приземляясь, разбился, не причинив, впрочем, вреда ни командарму, ни пилоту.

Сергей Миронович снова был с войсками.

29 марта он послал в Астрахань прощальную телеграмму:

«Красные бойцы XI армии шлют свой боевой привет астраханскому пролетариату.

Шествуя победоносно по Северному Кавказу, XI армия твердо помнит 18-й год, когда она, усталая, больная, раздетая и голодная, вынуждена была отступить под натиском противника по безмерным астраханским степям в красную Астрахань, где нашла братский приют астраханского пролетариата. Защищая в течение долгих месяцев Астраханский край от контрреволюционных набегов бандитов, она вынуждена была черпать источники питания и обмундирования за счет астраханского пролетариата.

Ныне мощная XI армия отвоевала лучшие источники хлеба и топлива, астраханский пролетариат скоро увидит в своих краях ставропольский хлеб и грозненскую нефть.

Захваченный у противника бронепоезд «Терек», державший в когтях белых грозненскую нефть, назван нами «Красной Астраханью»…

Да здравствует пролетариат красной Астрахани!»

11

К концу марта деникинцев разгромили на Северном Кавказе. В те дни Киров вновь увиделся с Орджоникидзе — Серго был членом Реввоенсовета Кавказского фронта. Серго был председателем Северокавказского Ревкома, а Киров — заместителем председателя. Их пути сплелись. Киров и Серго были почти неразлучны, работали сообща. Завязалась и крепла их дружба.

В Азербайджане тогда готовилось пролетарское восстание против мусаватистов — местных буржуазно-националистических контрреволюционеров. Бакинские пролетарии по радио обратились к Ленину с просьбой о военной помощи. Оказать эту помощь было поручено XI армии.

28 апреля, незадолго до рассвета, мусаватистское правительство было свергнуто. Тогда же в Баку вступили бронепоезда, а вслед за ними возглавляемые Микояном кавалерия и пехота XI армии.

30 апреля в освобожденный Баку прибыли Орджоникидзе и Киров.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Кирова вызвали в Москву. Ему дали неожиданное назначение. Поглощенный новыми для него заботами, он между делом заглядывал к портным. Его обшивали-одевали по последней моде. Собственно, Сергей Миронович и в осажденной Астрахани хорошо одевался, был всегда в свежей сорочке, при галстуке, чем немало дивил приезжих, как и тем, что не носил военной формы; красная звездочка на фуражке, и только. Теперь — прощайте и фуражка, и кожаная куртка, и сапоги. Заменили их синий костюм, макинтош, мягкая шляпа, перчатки.

Доложили, что на станцию подан салон-вагон. В кармане лежал дипломатический паспорт, написанный по-русски и по-французски:

«Объявляется всем и каждому, что предъявитель сего Российский Гражданин Сергей Миронович Киров, полномочный представитель РСФСР в Грузии, отправляется в Тифлис».

Грузия была тогда меньшевистским подобием отдельного государства; полномочными представителями, полпредами, называли советских послов. Послу полагался салон-вагон. К салону-вагону прицепили два пассажирских, товарный и платформу с легковой автомашиной.

Повсюду у нас еще царила разруха, железная дорога, как говорится, хромала на все четыре колеса. Персональный поезд Кирова с сотрудниками полпредства и торговой миссии шел медленно. На станциях комендант «персоналки» бежал к начальнику или дежурному, возвращаясь сияющим, — все улажено. Сергей Миронович, отрываясь от книг и бумаг, посмеивался, предпочитая дипломатическим изысканностям народную поговорку:

— Не говори гоп…

Стояли и по часу, и по два, и куда дольше. Железнодорожники гнали эшелоны на фронты, где Красная Армия воевала и с панской Польшей, напавшей на нашу страну по наущению империалистов, и с Врангелем, собравшим в Крыму неразгромленные остатки белогвардейщины.

Харьков был запружен эшелонами — придется терпеть чуть ли не сутки. Почти все сотрудники разошлись по городу. Вдруг на извозчике — комендант поезда. Он через местную власть добился

немедленной отправки «персоналки». Ее действительно отправили, только без полпреда, без большинства сотрудников.

Никто из отставших не растерялся — с ними был Сергей Миронович. А он пригласил их прогуляться:

— Догоним на станции Основа.

Шагая по шпалам, догнали «персоналку» в Основе.

Бахмут. Поздним вечером обещали сию минуту открыть семафор. Паровоз лихо засвистел. Все легли спать. Наутро пригляделись: та же станция Бахмут. Пассажиров целую ночь убаюкивали, возили по запасным путям, чтобы «персоналка» не мешала эшелонам.

В Ростове-на-Дону Киров переговорил с Владикавказом, с приехавшими туда грузинскими товарищами. Успел с их слов послать телеграмму о положении в Закавказье. Успел навестить бывшего управделами Реввоенсовета XI армии Козлова, чтобы поздравить его и жену — у них родилась девочка. Жалел, что новорожденную не назвали Розой в честь Люксембург. Сергей Миронович никогда не видел Розу Люксембург, погибшую в 1918 году, но нередко вспоминал ее, восхищался ее умом и энергией.

Свою ползучую «персоналку» он бросил и, велев первому секретарю полпредства все оборудовать в Тифлисе, подался в Баку, где были неоконченные дела. Оттуда с Орджоникидзе — во Владикавказ. Серго проводил друга до Дарьяльского ущелья, где в те дни была советская граница.

20 июня, под Тифлисом, церемонно застыли меньшевистские правительственные чины. Встретили советского посла. Поздоровались с ним, обменялись десятком-другим любезных слов. Поехали в город. Две чиновные машины, нарушая дипломатический этикет, шли впереди. На городской окраине Киров обогнал их, и вся автомобильная кавалькада покатила за ним.

У полпредства, на Ртищевской, было полным-полно. Это наперекор воле меньшевистских правителей пришли тифлисские рабочие. Киров мимо почетного караула поднялся на балкон и сказал собравшимся несколько приветственных слов.

После визитов, приличествующих дипломатическим условностям, наступили будни.

2

Будни полпреда осложнялись с каждым днем.

Меньшевистская Грузия была содержанкой Антанты, блока

империалистов Англии, Франции, США и Японии, зачинщиков военной интервенции против Советского государства. А именовали себя грузинские правители социалистами. Это определило их беспринципную двойственность. Ленин говорил:

— Недавно меньшевистская газета в Грузии писала: «Есть две силы на земле: Антанта и Советская Россия». Что такое меньшевики? Это люди, которые держат нос по ветру. Когда мы были в международном отношении слабы, они кричали: «Долой большевиков». Когда мы начали усиливаться, они кричали: «Мы — нейтральны». Когда мы врагов отбили, они говорят: «Да, тут две силы».

2 января 1920 года Советское правительство предложило Грузии заключить соглашение о совместной борьбе против деникинщины, общего врага всех народов бывшей царской России. 12 января Грузия отвергла предложение, а главарь меньшевиков Жордания изрек:

— Предпочту империалистов Запада.

К весне обстановка изменилась. Красная Армия разгромила деникинцев. Английские империалисты убрали свои войска из Грузии. Грузинский народ все более настойчиво требовал воссоединения республики с Советской Россией. Боясь пролетарского восстания, меньшевистские правители спешно послали делегацию в Москву, добиваясь, чтобы РСФСР признала Грузию как государство.

Советское правительство, по-прежнему желая наладить с Грузией добрососедские отношения, заключило с ней мирный договор. По этому договору, подписанному 7 мая, Грузия обязалась разоружить все находящиеся на ее территории воинские части и политические группировки, враждебные Российской Федерации. Кроме того, Грузия обязалась освободить из тюрем всех, кто арестован за приверженность к Советской России, а также легализовать коммунистическую партию.

Однако Жордания и компания его никак не хотели честно выполнять мирный договор.

Бывший первый секретарь советского полпредства Андрей Алексеевич Андреев вспоминал впоследствии, что Кирова окружили сыщиками, провокаторами. Куда бы он ни поехал на своей краснофлагой автомашине — кстати, самой лучшей в городе, — за ним всюду следили. Сотрудников полпредства и торговой миссии без всяких оснований арестовывали, дипломатических курьеров пытались обыскивать. Почти всех, в том числе советских подданных, посещавших полпредство или торговую миссию, задерживали, бросали в каталажки, высылали из Грузии.

Среди множества других арестовали приват-до-цента, закупавшего в Тифлисе пробирки, колбы и тому подобное стекло для лабораторий Владикавказского политехникума. Арестовали кустаря, и лишь потому, что он взялся сделать знамя для советской торговой миссии. А когда знамя все-таки было сделано, меньшевистская жандармерия, именовавшаяся почему-то гвардией, вздумала снять его — впрочем, совершенно безуспешно.

Еще хуже было то, что, грубо нарушая мирный договор, грузинское правительство не только ни в чем не препятствовало белогвардейцам, но всесторонне поддерживало их. Тифлис стал гнездом контрреволюционных банд, получавших военную помощь от правительства Жордания. Пароходы с белогвардейцами, а также с нефтепродуктами и различными военными грузами шли из грузинских портов в Крым, к Врангелю.

Всех нежелательных, всех, кто выражал хотя бы малейшую симпатию к Советской России, меньшевистские власти под предлогом разгрузки городов высылали в Крым, обрекая ни в чем не виновных людей на белогвардейскую расправу.

Обязательство о легализации компартии Жордания и его правительство словно не давали. Коммунистов всячески преследовали. Ими заполнили и Метехский замок в Тифлисе, и тюрьмы всех городов, и административные здания, превращенные в казематы. Без всякого повода были разогнаны большевистские комитеты, закрыты их газеты, причем в тюрьму засадили не только литературных, но и технических сотрудников редакций.

Киров был настойчивым защитником советско-грузинского договора. Нарушения договора, явные и тайные, где бы ни происходили они, не ускользали от него. Он работал под непосредственным руководством Ленина, систематически получал указания от наркома иностранных дел Георгия Васильевича Чичерина. Кирову помогал народ Грузии. Благодаря этому и партийному да и журналистскому опыту Сергею Мироновичу не понадобилось долго овладевать искусством дипломатии. В нотах и при встречах он загонял в тупик меньшевистских деятелей своей осведомленностью, объективностью, вынуждая грузинское правительство отрекаться от собственных незаконных решений, отменять нелепые приказы, выставлять себя в смешном свете.

20 августа Киров писал Владимиру Ильичу:

«Ваши предвидения о моей работе здесь подтверждаются блестяще и на каждом шагу. О том положении, в котором оказалось здесь наше представительство, Вам Чичерин, вероятно, сообщал.

Достаточно сказать, что до сих пор не изжиты еще самые уродливые формы проявления к нам совершенно своеобразного внимания со стороны агентов Грузинского правительства. Эта невероятная «бдительность» привела к тому, что даже такие невинные органы наши, как представительство Наркомвнешторга, оказались не в состоянии вести какую бы то ни было работу; всякий, выходящий из помещения представителя Наркомвнешторга, подвергался задержанию или аресту, или высылке за пределы Грузии. Все мои дипломатические шаги, предпринятые к устранению этого, ни к чему не привели, и я вынужден был заявить категорически Грузинскому правительству, что мы должны будем поставить Грузинское представительство в Москве в такое же точно положение, в каком находимся мы здесь. И только после этого стало замечаться несколько иное отношение к нам. Много содействовало такому действию Грузинского правительства по отношению к нам развитие операций Врангеля. Каждый успех Врангеля вселял здесь большие надежды, и это чувствовалось во всем. Совершенно иное настроение замечается теперь, когда мы так блестяще громим поляков…

Подробно о ходе своих работ здесь я сообщаю Чичерину и сейчас у Вас не буду отнимать время. Скажу только, что, как и следовало ожидать, пункт нашего договора, предусматривающий легальное существование коммунистической партии, оказался не по зубам здешним меньшевикам. Организованные в высшей степени прочно, грузинские меньшевики, освободив заключенных коммунистов и дав возможность остальным объявиться, немедленно предприняли широкие репрессии в отношении партии коммунистов… Тем не менее местные товарищи делают все к тому, чтобы так или иначе продолжить свое легальное существование и ни в коем случае не забираться в подполье».

Через десять дней Сергей Миронович сообщал Ленину:

«Здесь особых новостей нет. Грузинское правительство по-прежнему стоит в раздумье, не зная, куда ему совершенно определенно качнуться, — к нам или к Антанте».

Не зная, куда качнуться, меньшевики, по выражению Кирова, больше склонны были смотреть в Крым, к Врангелю, наемнику Антанты, чем в Москву, и лицемерили. Сергей Миронович извещал о том Чичерина:

«Все представители Грузинского правительства при каждой встрече неизбежно задают один и тот же вопрос: неужели я и мое правительство серьезно думают, что Грузия может стать на сторону борющихся с нами сил? И каждый раз получают от меня один и тот же ответ, в котором я указываю, что нашему правительству и рабочим России даже самые красноречивые

словесные заверения мало необходимы. Нам нужны совершенно реальные факты, на которых мы будем основывать свое отношение к нашим соседям. Этот принцип нашей политики мы проводим неизменно, и было достаточно времени для всех, чтобы убедиться в этом».

Некоторые грузинские коммунисты не понимали, как это РСФСР признала клику Жордания. В центре же, в Москве, подчас превратно истолковывали это непонимание, в связи с чем Сергей Миронович писал Чичерину:

«Вы совершенно правильно отмечаете сложное положение, создавшееся здесь. Однако не могу не отметить, что Ваше предположение относительно существования глубокого противоречия между стремлениями революционно настроенных местных товарищей и политикой центра не совсем правильно. Необходимо отметить, что действительно факт заключения договора произвел на местных товарищей весьма отрицательное впечатление. Тем не менее большинство из ответственных работников по моем приезде сюда скоро усвоило нашу точку зрения и вполне согласилось с повелительными моментами окружающей объективной обстановки».

Хотя суть работы советского полпреда была известна лишь узкому кругу людей, население Грузии видело в Кирове искреннего друга. К нему обращались за помощью, когда невмоготу было сносить меньшевистский гнет.

В Южной Осетии, одной из областей Грузии, крестьяне восстали — меньшевики притесняли их так же, как в прошлом царские чиновники. Образовался Ревком, председателем его избрали Абаева. Это был тот учитель и общественный деятель, статью которого о Коста Хетагурове некогда напечатал Киров в «Тереке»: Абаев в 1918 году стал коммунистом.

Повстанцы прогнали притеснителей, но долго продержаться у власти не смогли — Жордания понаслал карательные отряды. В расправах участвовал начальник меньшевистской гвардии-жандармерии Джугели. Свои похождения громилы он запечатлел в дневнике:

«12 июня. Теперь ночь. И всюду видны огни!.. Это горят дома повстанцев…

13 июня. Я со спокойной душой и с чистой совестью смотрю на пепелища и клубы дыма.

14 июня. Горят огни. Дома горят!.. Осетины бегут и бегут. Бегут в горы, на снеговые горы. И там им будет холодно. Очень холодно!»

Единственный человек в Грузии, от которого обездоленные крестьяне могли ждать действенной помощи, был Сергей

Миронович. Они прислали ему телеграмму:

«Красные повстанцы Южной Осетии, оставшись без патронов, вынуждены были отступить вместе с частью мирных жителей, женщин и детей, до двадцати тысяч, в советскую Терскую область. Огромная же масса осталась в лесах Южной Осетии. Меньшевистские банды правительства Жордания и К^0 преследуют и истребляют их. Села и деревни, где была провозглашена советская власть, сожжены. Просим товарища Кирова принять срочные меры к ограждению граждан советской — Южной Осетии от преследования и истребления».

Киров немедленно откликнулся, найдя дипломатичный ход, не позволяющий утверждать, что советский полпред вмешивается во внутренние дела Грузии.

Сжигая дома, каратели выселяли крестьян, лишившихся крова, в Терскую область. На этом и построил Киров ноту № 851: беженцы и выселенцы из Южной Осетии обостряют продовольственное и санитарное положение на советской территории, где ищут пристанище.

Заботясь будто бы лишь об интересах своей страны, полпред настаивал — надо прекратить выселение из Южной Осетии, надо принять беженцев обратно и пресечь действия администрации, агентов и войск грузинского правительства, ставящего своих подданных в такое положение, что те вынуждены покидать насиженные места.

Все это получило широкую огласку. Меньшевистскому правительству пришлось поутихомирить карателей.

3

Кирову дали новое поручение. Хотя и очень серьезное, оно вызвало у Сергея Мироновича недоумение. Своим недоумением он не без улыбки поделился с секретарем ЦК РКП (б) Стасовой:

«Вы, вероятно, уже знаете из радио, что я назначен членом делегации для ведения мирных переговоров с поляками. Для меня это так же неожиданно, как и для Вас. Все я ожидал, но только не этого. Что мне Польша и что я ей? Послал Чичерину телеграмму с просьбой разъяснить, что это значит. В ответ получил повторение радио и предложение немедленно выехать. Если я действительно так необходим для мира с поляками — поеду. Но все-таки мне кажется, что брать меня с Кавказа нецелесообразно. На Западе я не только не работал, но никогда там не был и всегда думал так, что на Кавказе я найду лучшее

применение, чем где бы то ни было».

На пути в Ригу, где с 1 по 12 октября проходила советско-польская мирная конференция, Сергей Миронович остановился в Москве. Он долго беседовал с Лениным. Владимир Ильич нашел, что Киров должен поскорее вернуться из Риги и работать на Кавказе.

На Рижской конференции был заключен мир с Польшей.

4

После этой конференции Сергей Миронович в Грузию не поехал — он работал на Северном Кавказе, где подготавливал создание Горской республики. Эта республика, провозглашенная 17 ноября, была блестящим достижением ленинской национальной политики. Народы, долго угнетаемые и натравливаемые друг на друга царизмом, теперь добровольно объединились в мирную семью.

А за горами и перевалами чередовались события, завершившиеся полной советизацией Закавказья.

29 ноября армянский народ сбросил иго дашнаков, местных буржуазно-националистических контрреволюционеров, подобных азербайджанским мусаватистам. Не утихали классовые битвы и в Грузии. Меньшевики привели ее к политическому и экономическому развалу.

В феврале 1921 года трудящиеся Грузии восстали. Так как меньшевистскую армию поддерживали извне, восставшие рабочие и крестьяне обратились за вооруженной помощью к Советской России. Из Баку на Тифлис повел части XI армии Серго Орджоникидзе. Другие части ее с Терека слал Сергей Миронович, находившийся во Владикавказе.

16 февраля во время партийной конференции в городском театре Кирову, примостившемуся на скамейке в отдалении от президиума и беседовавшему с кем-то, подали записку: в нескольких словах телеграфной ленты сообщалось, что повстанцы приближаются к Тифлису.

Сергей Миронович изменился в лице, побледнел. Ему дали слово. Никогда еще владикавказцы не видели Кирова таким взволнованным и вдохновенным.

Речь он закончил под гром рукоплесканий. В зале и на сцене творилось невообразимое. Восторженные крики, грохот скамеек и стульев, приветствия, ура. Среди делегатов и гостей, были грузины, местные, владикавказские, вовсе и непричастные к

восстанию, — все равно их поздравляли, обнимали, целовали, качали, высоко подбрасывая в воздух, им дарили что у кого найдется и прежде всего самое ценное — кисеты с табаком. Кто-то запел и кто-то стал вторить ему, и уже все вместе мощно и стройно пели «Интернационал».

Киров с конференции уехал в горы, где задумал провести трудную военную операцию.

Было важно поскорее освободить Кутаис. Сергей Миронович предложил бросить туда воинскую часть кратчайшим путем, через Мамисонский перевал, неприступный зимой. Это выглядело фантазией, если не бессмыслицей. Зима стояла снежная. Двадцать километров гор и ущелий, скал и трещин. Не пройти там. И коней не провести. И орудий не протащить. Не выручат ни бурки, ни шинели, ни подручные средства, ни струги. Одолеть Мамисон не удастся. Кажется, верно, что какой-то специалист сказал:

— Это невозможно даже теоретически.

Кажется, верно, что Киров возразил:

— Теоретически невозможно, а коммунистически возможно.

Войсками Терской области командовал Левандовский, тот командир, которому двумя годами раньше Сергей Миронович доверил образцовую 33-ю дивизию, сформированную в Астрахани. Левандовский был сейчас здесь, во Владикавказе, и 33-я дивизия была здесь. Киров беседовал с Левандовским, с ветеранами. Они решили: коммунистически возможно, 98-я бригада 33-й дивизии пройдет. Приказы по фронту и XI армии изменили.

Киров сзывал горских коммунистов — как хотите, а каждый, кто считает себя мужчиной, в селениях, соседствующих с перевалом, должен помогать 98-й бригаде. Сергей Миронович побывал в тех селениях, и не раз. В ауле Заромаг он собрал стариков. Иные уклонялись от разговора, боясь опозорить свои седины, если Мамисон станет белой могилой жертв неосторожного совета. Другие же говорили гордо и возвышенно:

— Нам ли не ведать, чем дышат снега в горах. Зимой здесь никто не ходил. Но если нужно, чтобы мы были первыми, скажи, и мы поведем твои войска.

У этих стариков 25 февраля поприбавилось седины. Они потом любили вспоминать тот день, но не любили вдаваться в подробности:

— Нам ли хвалиться или жаловаться? Было трудно. Если хочешь, спроси у Кирова, он знает.

Когда 25 февраля красные войска входили с Орджоникидзе в Тифлис, 98-я бригада и приданный ей горский отряд одолели без

потерь неприступный зимой перевал Мамисон.

Сергей Миронович не видел, как покорители перевала братались с грузинским населением, как неукоснительно шли к цели на плечах у расшвыриваемых или удирающих меньшевистских частей. Киров был в Москве, на X партийном съезде.

На этом съезде Кирова избрали кандидатом в члены ЦК РКП (б).

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Ленин пригласил в Совнарком нескольких азербайджанцев, делегатов проходившего в Москве III конгресса Коминтерна, чтобы побеседовать о нуждах разоренной мусаватистами бакинской нефтяной промышленности. Прежде чем углубиться в хозяйственные подробности, Владимир Ильич сказал, что хочет передать собеседникам добрую весть: Политбюро ЦК РКП (б) рекомендует Кирова в руководители азербайджанской партийной организации.

Весть действительно была добрая. Работая на посту секретаря ЦК Компартии Азербайджана, Киров оставил глубокий след в истории этой республики, всего Закавказья.

Четыре с половиной года жизни в Баку были очень значительными и для самого Сергея Мироновича. Они принесли ему и радость больших достижений, и богатейший опыт партийного руководства социалистическим строительством, и дружбу людей, которой Киров всю жизнь дорожил.

Серго и он трудились, словно братья. Сергей Миронович обрел еще одного друга — Александра Федоровича Мясникова, иначе Мясникяна. Юрист, профессиональный подпольщик-ленинец, он в 1917 году командовал революционными войсками Западного фронта, утверждал советскую власть в Белоруссии, был потом секретарем Московского комитета РКП (б).

Весной 1921 года Александра Федоровича откомандировали в родные места. Его избрали секретарем Закавказского крайкома РКП (б), назначили заместителем председателя Совнаркома Закавказской Федерации. Сергей Миронович считал Мясникова подлинным генералом-от-революции, любил его и, как все близкие, звал его по партийной кличке Алешей. В 1925 году Мясников вместе с Атарбековым погиб при авиационной катастрофе. Сергей Миронович говорил тогда:

— Товарищ Мясников в последние дни своей жизни стоял у главного руля советской, партийной и всякой другой работы в Закавказье… Алеша Мясников был незаменим, и мы это знали…

Большой портрет Мясникова в домашнем кабинете у Кирова всегда напоминал в Баку и Ленинграде о погибшем друге.

Спустя много лет после авиакатастрофы обнаружились дневниковые записи Мясникова. В них есть строки о Кирове, о его

тактичности, сдержанности, умении действовать не по настроению.

«Без него мы бы совершили в Азербайджане массу ошибок. Там он всех и все сплачивает вокруг себя».

Мясников видел в Кирове одного из лучших представителей партии.

«Он большой демократ, и это не по форме, а по содержанию; он действительно может жить и трудиться в самых обыкновенных условиях, в обстановке простоты и бедности. Он прост, мил и доступен».

С некоторыми местными работниками Киров познакомился еще в Астрахани, куда после падения Бакинской коммуны переселились на время сотни азербайджанских коммунистов.

Это были и председатель Совнаркома, видный писатель и врач Нариман Наджафович Нариманов, и наркомпрод, тоже врач, будущий председатель Совнаркома Газанфар Махмудович Мусабеков, и заместитель председателя АзЦИК Мирбашир Фаттахович Касумов, которого Киров в 1919 году тайно переправил в бакинское подполье. Этот путь в подполье, по Каспию, с путевкой Сергея Мироновича проделали также нарком земледелия Дадаш Ходжаевич Буниатзаде и комиссар внутренних дел Гамид Гасанович Султанов. Султанов, преклонявшийся перед Кировым, всегда опасался за него, видя его в гуще пожарных, когда полыхали бакинские промыслы, часто поджигаемые эсеровскими диверсантами из подпольной банды «Пылающее сердце».

И с Ильдрымом познакомился Киров в Астрахани, но заочно. Инженер Чингиз Ильдрымович Ильдрым в бакинском подполье помогал «морским экспедициям», нелегально снабжавшим XI армию бензином. Первый наркомвоенмор свободного Азербайджана, он потом был наркомом путей сообщения. Когда Киров уже жил в Ленинграде, Ильдрыма назначили заместителем начальника, затем начальником Магнитостроя. В печати как похвала мелькнуло тогда, будто Ильдрым «не человек, а меч, гром и молния». Чрезмерно ли это сравнение или нет, но с Кировым крупный строитель Чингиз Ильдрым чувствовал себя чуть ли не тихоней-школьником, влюбленным е учителя.

Прибыв на Магнитку, он писал Сергею Мироновичу в Ленинград:

«Рапортует курд из Азии. На великой стройке t ниже 0—23–27°R. Выносливость курда по 5-балльной системе 4 и 5, Питание не организовано. Квартиры нет, живет в гостинице пока. Уже ознакомился с делами. 10–12.I выезжаю на площадку. Грехов немало — работаю над ознакомлением не менее 14 часов в сутки.

20.I напишу тебе и Серго мои выводы».

Из другого письма:

«Вот уже 2 м-ца, как от тебя не имею ни строчки. Как нехорошо забыть курда, заброшенного в морозный угол Урала».

Вслед за строками о трудностях стройки:

«Ну, Мироныч, дорогой, помоги мне, мне нужны трактора, 10 шт., как-нибудь выцарапай мне, а то задыхаюсь без транспорта. Возьми шефство над нами».

Их было много, людей, которые еще раньше сложились в активных деятелей или которых Киров приметил, учил, растил, выдвигал. Председатель АзЦИК Самед Ага Агамалиоглы, нарком рабоче-крестьянской инспекции Султан Меджидович Эфендиев, секретари Бакинского горкома партии Рухулла Алиевич Ахундов и Левон Исаевич Мирзоян, начальник Азнефти Александр Павлович Серебровский и его заместитель Михаил Васильевич Баринов, рабочие и инженеры, люди, самые различные по уровню, происхождению, образованию.

Не счесть всех, для которых Сергей Миронович, уже работая в Ленинграде, оставался другом и наставником, желанным судьей в деловом споре. С Кировым делились удачами, у него искали справедливости, защиты от обид, ему жаловались на недуги. А то писали просто так — о летнем отдыхе жёны и детей, о бакинских новостях, в том числе о реконструкции водопровода и канализации, или о сыновьях, которые первыми в роду получили дипломы. Еще и о том писали Сергею Мироновичу, что с его отъездом-де вся охотничья компания распалась, на утей довелось охотиться только три раза, а на кабанов Только два раза, но зато удачно.

Если кто-либо из прежних товарищей, сотрудников, подопечных долго не давал знать о себе, из Ленинграда в Баку, бывало, отправлялась телеграмма вроде такой:

«Благополучно ли дома?»

Все это брало свое начало в астраханском 1919 году или в середине 1921 года, когда Кирова перевели на работу в Азербайджан.

2

Знойный, голодный Баку обрушил на него сотни жгучих дел.

Киров добился присылки продовольствия, обещанного нефтяникам Лениным, и малой толики добра сверх того — хлеба и круп с Северного Кавказа, сахара с Украины, рыбы и соли из

Астрахани. Рабочие были раздеты, разуты, и в Баку срочно доставили значительную партию обуви, готовых костюмов, пальто, белья, мануфактуры. Мануфактуру раздобыли также для поощрения крестьян, лучших сдатчиков продовольственного налога. Сергей Миронович посоветовал часть бязи и ситца выделить бесплатно сельским инвалидам. Но самое лучшее шло нефтяникам. Заработную плату нефтяникам увеличили.

В городе было много недавних бойцов и командиров XI армии. Они, и не только они, запросто приходили к Кирову, звонили ему по телефонам № 10–34 и № 12–43. Не заставая первого секретаря в ЦК, люди, которым он был нужен, нередко находили его у себя на производстве.

Он часами сиживал в тресте «Азнефть», дни проводил в промысловых и заводских районах Баку, в Балаханах и Сураханах, в Раманах и на Биби-Эйбате, в Черном и Белом городе. У вышек, у станков и агрегатов советовал рабочим и инженерам, устраивая авралы, разбирать накопившиеся за годы груды металла. Из остатков и обломков делали неплохое оборудование для бурения скважин, добычи и переработки нефти.

С водниками Сергей Миронович обсуждал, как быстрее гнать нефть по морю. С кооператорами — как усилить товарообмен с соседними республиками. С просвещенцами готовил к учебному году школы. С первыми азербайджанками, снявшими чадру, продумывал, как втягивать женщин в общественную работу. Профсоюзников торопил с переустройством особняков и вилл в дачных пригородах Бузовны и Мардакяны. Там, где раньше не ступала нога рабочего, открыли первые дома отдыха и санатории для нефтяников.

Город был невероятно запущен. На промыслах, на фабриках и заводах, на улицах и в порту проходили субботники. Жители своими руками приводили в порядок столицу республики, освобождали ее от грязи и мусора. Газеты и плакаты пестрели незатейливыми, но горячими призывами:

Грязь и мусор — наш позор.
Очищайте каждый двор,
Каждый камень мостовой
В град-столице нефтяной

Стихи были далеки от поэзии. Киров улыбался:
— Лишь бы поближе к санитарии, к чистоте.

Была необходима и чистота иного порядка.

Незадолго до приезда Кирова в Баку Троцкий навязал партии дискуссию о профсоюзах. Сергей Миронович, работавший тогда на Тереке, руководил разгромом троцкистов. На партийной конференции, проходившей во Владикавказе, сто шестьдесят делегатов, гневно осудив антипартийную вылазку, отдали свои голоса за ленинскую платформу, отстаиваемую Кировым. Троцкисты же получили всего-навсего восемь голосов. И здесь, в Азербайджане, Сергей Миронович продолжал сокрушать троцкистов. Они потерпели полный провал, как и позднее, когда после смерти Ленина возобновили нападки на партию. Разоблачая эти нападки, Сергей Миронович говорил:

— Вокруг Троцкого группируется все то, что против большевизма, против ленинизма, против Коммунистической партии.

Расширенный пленум Бакинского комитета партии постановил:

«Попытки заменить ленинизм троцкизмом должны встретить сильный и решительный отпор со стороны всей партии, как это было не раз в предшествующие годы».

Партийная организация Азербайджана была засорена также национал-уклонистами. В августе 1921 года пришлось удалить из Азербайджана в другие республики группу наиболее ярых национал-уклонистов. Осенью прошла партийная чистка. Она вскрыла множество. преступлений. Армян и русских исподтишка выживали с промыслов, в нескольких уездах бедняков и середняков обложили непомерными налогами, неплательщиков публично избивали, сочиняя, будто этого требует диктатура пролетариата, крестьян натравливали на бакинских рабочих, срывали смычку города и села, в Нагорном Карабахе вернули землю прежним владельцам, отдали советские учреждения на откуп мусаватистам, кулацким сынкам, белогвардейским офицерам.

Чистка оздоровила партийную организацию республики. Трудящиеся города и деревни узнали истинные причины преступлений, которые враги приписывали советской власти. Благодаря этому всюду, и особенно в Баку, снова окреп интернационализм, который большевики выковывали здесь десятилетиями. Будни каждодневно подтверждали это. Киров обратился к трудящимся республики с призывом помочь голодающему Поволжью — побережья великой реки, через которую не смог переступить Колчак, превращены неурожаем в пустыню. Над просторами, где Красная Армия долго черпала

хлеб, витает голодная смерть, и нужно разбудить все честное в Азербайджане, протянуть руку помощи крестьянам Поволжья. Рабочие, сами нуждаясь, откликнулись по-рабочему: «Десятеро сытых кормят одного голодающего». Столетние старцы из аулов от своего имени написали обращение к азербайджанскому крестьянству — надо отдать последнее родным братьям, русским. Важнее продовольствия, денег, драгоценностей, отданных в фонд помощи Поволжью, было то, что старики — впервые в жизни, вероятно — назвали русских родными братьями.

Руководимый компартией бакинский пролетариат вновь, как и в дореволюционное время, стал головным отрядом трудящихся Закавказья. Бакинские рабочие, и прежде всего коммунисты, были застрельщиками множества начинаний, содействовавших единению и сотрудничеству закавказских народов.

Бакинцы на очередном профсоюзном съезде подали замечательную мысль — от хозяйственного сближения пора перейти к государственно-политическому объединению Азербайджана, Армении и Грузии. Поддержав эту мысль, Кавказское бюро ЦК РКП (б), которым руководили Орджоникидзе, Киров и Мясников, постановило: необходим федеративный союз трех республик. Ленин счел постановление абсолютно правильным. Несмотря на новую волну национал-уклонизма, федерацию создали.

За несколько месяцев Союзный совет — высший орган федерации — уладил острые споры о пастбищах и оросительных каналах в пограничных районах, о товарообмене между республиками Закавказья, ввел единую денежную систему. Так как Союзный совет справедливо считался с нуждами каждой из трех республик федерации, теперь гораздо лучше прежнего использовались огромные средства, которые Закавказью по-братски давала РСФСР.

Поэтому у многих, особенно у бакинских пролетариев, крепло желание пойти дальше — пусть Азербайджан, Армения и Грузия сольются воедино в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Вместо трех республик пусть будет одна, ЗСФСР. Кавказское бюро ЦК, преобразованное в Закавказский крайком РКП (б), полностью одобрило это желание.

Объединительное движение было массовым, повсеместным. Оно охватило почти всю страну. В народных массах зародилась, созрела великая идея — надо всем республикам страны образовать единое государство — Союз ССР. В Азербайджане, Армении и Грузии трудящиеся одобрили эту идею, как и на Украине, в Белоруссии и РСФСР.

10 декабря 1922 года в Баку собрался Закавказский съезд Советов. С докладом о ЗСФСР и СССР выступили Киров и Орджоникидзе. Съезд полностью одобрил их предложения, решив создать ЗСФСР и войти в СССР.

30 декабря 1922 года в Москве, на съезде Советов, было создано первое в истории человечества государственное объединение свободных народов — Союз Советских Социалистических Республик.

4

Страна требовала нефти. Без нее восстановление народного хозяйства было немыслимо. Но добыча ее в Баку едва превышала треть довоенного уровня. Там, где скважины бездействовали, в нефтеносных горизонтах скоплялась вода, что, как правило, приводит месторождение к полной непригодности. В феврале 1921 года академик Иван Михайлович Губкин писал о том Ленину:

«Что же касается небывалого сокращения эксплуатационной деятельности, то это может грозить порчей месторождения настолько глубокой, что потом не исправить этой порчи самой напряженной и буровой и эксплуатационной деятельностью».

Создавшееся положение очень тревожило Владимира Ильича. Он в течение зимы, весны и начала лета подробно изучал возможности оживления нефтяной промышленности. Ленин писал тогда:

«И в прессе и в сообщениях с мест все учащаются' известия об ухудшении дела в Баку.

Необходимо усилить внимание и заботу о Баку».

Когда Киров приехал в Азербайджан, промысловые районы, принадлежавшие ранее тремстам крупным и мелким владельцам, разделили на участки. Руководить ими поручили испытанным большевикам, старым нефтяникам, бывшим командирам и политработникам XI армии. Под особый надзор взяли те семьсот семьдесят семь скважин, которые кое-как действовали. Приводились в порядок и заброшенные участки.

Бакинская промышленность восстанавливалась сравнительно быстро. К 1 октября 1922 года, через год с небольшим после приезда Кирова, уже действовали тысяча сто скважин. Производительность труда, подскочив вверх, на треть превысила довоенную, что, кстати, совершенно обескуражило американскую делегацию, побывавшую в Баку. Добыча и переработка нефти

размеренно увеличивались из месяца в месяц.

Можно было бы и дальше так идти. Но Киров вел их путем, более трудным, основанным на точном расчете.

При прежнем изношенном и устаревшем оборудовании нефтяная промышленность не могла достигнуть подлинного расцвета. Было решено восстановление ее увязать с коренной технической реконструкцией. Намечалось в течение трех лет дедовский ударный способ бурения скважин заменить передовым, вращательным, иначе — роторным, способом. Добычу механизировать, вытеснив допотопное тартание, то есть вычерпывание нефти из скважин желонками. Переработку усовершенствовать. И еще: электрифицировать хозяйство, так как нефтемоторы по-варварски поглощали свыше трети всей бакинской добычи. И еще: обзавестись собственными машиностроительными заводами.

Это выглядело фантазией. Ведь в 1921 году многие специалисты и видные партийные деятели полагали, что своими силами разруху в бакинской нефтяной промышленности не одолеть и что часть ее придется сдать в концессию иностранным капиталистам. Такого мнения придерживался и Ленин. 2 апреля 1921 года Владимир Ильич писал руководителю азербайджанской нефтяной промышленности Серебровскому:

«Крайне важно, чтобы бакинские товарищи усвоили правильный (и одобренный X партсъездом, т. е. обязательный для членов партии) взгляд на концессии. Архижелательно 1/4 Баку (а то и 2/4) сдать концессионерам (на условиях помощи из-за границы и продовольствием и оборудованием сверх размеров, необходимых для концессионера). Только тогда есть надежда на остальных 3/4 (или 2/4) догнать (а затем и обогнать) современный передовой капитализм. Всякий иной взгляд сводится к вреднейшему «шапками закидаем», «сами сладим» и т. п. вздору, который тем опаснее, чем чаще прячется в «чисто-коммунистические» наряды.

Если у Вас в Баку есть еще следы (хотя бы даже малые) этих вреднейших взглядов и предрассудков (среди рабочих и среди интеллигентов), пишите мне тотчас: беретесь ли сами вполне разбить эти предрассудки и добиться лояльнейшего проведения решения съезда (за концессии) или нужна моя помощь».

По воспоминаниям Серебровского, письмо Ленина было необходимым, своевременным, поскольку многие бакинцы относились к концессиям неправильно. Ошибочно воспринимал советскую концессионную политику и сам Серебровский. Под влиянием Владимира Ильича Серебровский полностью отказался от своих ошибочных взглядов и был послан за границу для

переговоров с нефтяными компаниями. Однако существенных результатов переговоры о концессиях не дали. Зарясь на советскую нефть, капиталисты жаждали не только прибылей, а еще и власти. Киров говорил о том:

— Сейчас ясно вырисовывается картина, что западная буржуазия считает для себя возможным прийти на русскую землю только в том случае, если ей будут обеспечены со всех сторон гарантии, то есть, другими словами, они просто желают полного крепостничества.

Открывать капиталистам какую-либо лазейку для крепостничества никто, конечно, не собирался. Понадобилось найти приемлемый выход из тяжелого положения. Его искали, он был найден, одобрен Лениным.

Решение X съезда РКП (б), принятое в марте 1921 года, о целесообразности привлечения концессионеров в советскую промышленность Киров, естественно, считал совершенно правильным. Вместе с тем действительность позднее убедила его, как и Орджоникидзе, Мясникова, Серебровского, что бакинцы смогут обойтись и без концессионеров.

Как выразился однажды Сергей Миронович, в телегу Серебровского следовало запрячь трех китов. В отличие от некоторых иных отраслей народного хозяйства, и в частности золотодобывающей, бакинская нефтяная промышленность сосредоточилась в обжитом краю, в старом пролетарском центре, имеющем многотысячную партийную организацию. Ясно, добиться подъема здесь было легче, чем, скажем, на сибирских золотых приисках. Во-вторых, страна избавлялась от разрухи гораздо быстрее, чем ожидалось. И советские республики в обмен на нефть могли давать бакинцам продовольствие, технику, материалы не в намеченных, а в повышенных размерах. Наконец, в-третьих, оправдывало себя и такое самоограничение: несмотря на острую нехватку нефти, вывозить ее понемногу за границу и покупать там все, чем страна не в силах пока снабжать бакинцев.

Бремя восстановления нефтяной промышленности бакинцы взвалили на себя. Они трудом своим подтвердили, что способны на большее, чем от них требуют: восстанавливая свое хозяйство, перевооружать его технику. Смелый план реконструкции был реален, потому что энергию сверхмощного напряжения давали два встречных потока — воля бакинского пролетариата и внимание к нему Ленина, партии, всей страны.

Не было, пожалуй, индустриального центра, откуда продукция не шла в Баку. Туда переводили целые заводы. Туда направили специалистов из десятков городов. Туда откомандировали нефтяников, специально для того

демобилизованных из армии. Не хватало грамотных людей, способных скоро овладеть новой техникой, и трест «Азнефть» со согласия Ленина завез из Константинополя несколько тысяч белогвардейцев-врангелевцев, вчерашних врагов, просившихся на родину.

Азнефти отпускали кредиты в золоте для заключения договоров с иностранными техническими фирмами. Азнефти позволили самой торговать своей продукцией за границей и распоряжаться выручкой по своему усмотрению. Кое-кого в Москве пугала «бакинская вольница» — ведь нарушается государственная монополия внешней торговли. Но никакой вольницы, никаких нарушений советских законов не было. Все делалось с разрешения Ленина.

Наибольших забот требовало бурение скважин. От него зависело не только увеличение добычи, но и само существование многих промыслов. Лишь быстрые темпы бурения могли предотвратить обводнение недр. Владимир Ильич писал:

«От недостатка бурения мы гибнем и губим Баку».

Поэтому азербайджанские нефтяники прежде всего внедряли роторное, вращательное бурение. Рутинеры встретили его в штыки. Нашлись геологи и хозяйственники, утверждавшие, будто для грунтов Апшеронского полуострова новый способ проходки скважин неприменим, а отсутствие опыта и нехватка оборудования тем паче приведут к провалу: лучше потихоньку, по старинке, но наверняка.

Киров полагался на американский опыт и доводы советских ученых, в том числе академика Губкина, и тоже говорил, что лучше идти наверняка, но не по старинке. Роторное бурение внедрялось, вполне оправдывая себя.

Азнефть заключила договор с американскими подрядчиками — с «Барнсдальской корпорацией», обязавшейся поставлять станки и бурить скважины. Подрядчики срывали выполнение договора, и Киров говорил:

— Несколько месяцев назад одна почтенная американская компания предложила нам услуги в деле наиболее совершенных способов бурения нефтяных скважин, и мы эти услуги приняли. Но теперь мы видим, что ловить за фалды заокеанских бурильщиков нам не приходится. И то, что они немного замешкались, что до сих пор целые полгода везут к нам станки и никак не довезут, особенной беды не вызовет… Кривая добычи нефти, правда, не дает головокружительных цифр, но повышается настолько заметно, что каждый прошлый день отличается от предыдущего.

Вместе с роторным бурением внедрялось новое и в добычу

нефти. Было не просто и это. Рутинеры цеплялись за дедовскую желонку — ведро с клапаном в дне. Замена желонок глубоконасосными станками-качалками всполошила рутинеров еще больше, чем роторное бурение. Была и трудность похуже: тартальщики боялись, что механизация лишит их куска хлеба. Меньшевистско-эсеровские и оппозиционные отбросы усиливали предубеждение против новой техники. Националисты, спекулируя на отсталости тартальщиков, наименее квалифицированного слоя нефтяников, выдумывали, будто глубокие насосы завезены для того, чтобы увеличить безработицу, выжить азербайджанцев с промыслов.

Коммунисты, опровергая враждебные измышления, обращались непосредственно к рабочим. Рассеивая их уныние, тревогу, десятки раз выступал среди тартальщиков и Киров. Он говорил: пролетарская власть не выбрасывает рабочего человека на улицу, есть курсы, подучитесь, станьте масленщиками, монтерами, слесарями, будете зарабатывать больше теперешнего, вас потом к желонке и калачом не приманишь.

Ни одного тартальщика не уволили. Глубокие насосы, прозванные «красными тартальщиками», уже никого не пугали. На станках мерно качались балансиры, как бы отбивая молитвенные поклоны. Насосы прозвали еще и «богомолками».

Старые площади давали все больше нефти. А на новых — разведка опровергала косные утверждения об истощенности апшеронских недр.

Первый советский промысел создали на бывшем рынке. Сергею Мироновичу рассказали, что там, на Солбазе, то есть Солдатском базаре, еще до революции заложили несколько скважин, но получили только воду. Над бурильщиками смеялись. А они говорили Кирову: если бурить глубже, не пожалеете. Передовые геологи согласились с их доводами. Солбаз разведали. Заложили скважины. Первой достигла нефтеносного горизонта скважина № 22, за ней № 31 и № 7. Промысел строился и строился. Он стал крупнейшим в Баку по добыче.

Другое детище Кирова — промысел в Биби-Эйбатской бухте. На поверхности воды здесь часто видели выходы газов. Бросят в воду горящую паклю, и газы воспламеняются. Никто не сомневался, что морское дно богато нефтью. Слепой инженер Павел Николаевич Потоцкий годами вынашивал мечту о засыпке бухты. Еще до мировой войны засыпку начали, но бросили.

Сергей Миронович увлекся проектом Потоцкого, тем более заманчивым, что его поддерживал знаток бакинских недр, профессор Московской горной академии Дмитрий Васильевич Голубятников. Правда, Потоцкий, поговаривали, недолюбливает

большевиков. Что из того — Киров угадал, откуда это идет у больного, слепого инженера. Тот просто не верил, что большевикам по плечу его трудный проект. Не верил, затем, убедившись в своей ошибке, охотно трудился, несмотря на недуги.

На топких пустырях повели изыскания. Продолжали и засыпку бухты, отвоевывая у моря драгоценные недра. Но бурение ничем не радовало. Сплошь вулканическая порода. Ни единого признака нефти. Кое-кто, злорадствуя, сообщил в Москву, будто в бухте швыряют деньги на ветер, точнее, в болото и воду. Пришлось отвечать на грозные запросы. Тем временем геологи, поддерживаемые Кировым, не переставали думать, где все-таки лучше бурить.

Заложили новые скважины. Одна из них — № 5 — зафонтанировала. С тех пор бухта поражала щедрыми дарами. Там, где ожидали нефть с пятого горизонта, она била со второго. Там, где надеялись на десять-двенадцать тонн в сутки, шло в три-четыре раза больше. Образцовый промысел вступил в строй, давая почти десятую часть всей бакинской добычи.

Промыслу в бухте присвоили имя Ильича.

А реконструкция ширилась, охватывая все новые отрасли и звенья производства, в том числе нефтепереработку, усовершенствованию которой отдавал много труда Матвей Алкунович Капелюшников, будущий член-корреспондент Академии наук СССР. Киров, как и Орджоникидзе, очень ценил этого ученого и, живя уже в Ленинграде, не переставал интересоваться его исследованиями, изобретениями, всегда передавая при случае привет и добрые пожелания. Впоследствии на весь мир прославился изобретенный Капелюшниковым турбобур для проходки скважин. В начале двадцатых годов при участии этого ученого, восстанавливая и обновляя старые нефтеперегонные предприятия, сооружали первые в Советском Союзе крекинг-заводы: они давали высококачественный бензин, без которого немыслимо было развитие авиации.

Крепла также собственная машиностроительная и ремонтно-механическая база. Промысловые мастерские, оснащенные новой техникой, превратились в заводы — имени Дзержинского, имени Фрунзе, «Бакинский рабочий». Машиностроительный завод имени лейтенанта Шмидта расширили настолько, что он изменился до неузнаваемости. Электрификация производства вытесняла невыгодные паровые двигатели, нефтяные моторы.

К концу 1924 года, на год раньше намеченного срока, подавляющее большинство бакинских предприятий оснастили передовой техникой. Нефтяная промышленность Азербайджана

реконструировалась быстрее, чем другие отрасли народного хозяйства страны. По выражению Кирова, совершалась подлинная техническая революция. Она позволила в 1927 году перешагнуть довоенный объем производства, перешагнуть на таком высоком техническом уровне, что вскоре бакинские нефтяники одержали блестящую победу — они выполнили первую пятилетку за два с половиной года.

5

Среди бакинских рабочих при царизме преобладали русские, армяне и выходцы из Ирана. Ни те, ни другие, ни третьи, естественно, не имели корней в азербайджанской деревне. Поэтому революционные бури, охватывавшие Баку, почти не задевали крестьян. До самой революции они оставались крепостными беков и ханов. В некоторых местах господствовал феодальный уклад жизни с унизительнейшими законами и обычаями, превращавшими простого труженика в полураба.

После советизации Азербайджана крестьяне, отсталые, темные, отнюдь не сразу избавились от вековечной запуганности. Бедняки успели убедиться в справедливости новой власти, но не верили в прочность ее, и, хотя им дали землю, боялись переступить межу своих наделов. Опасения усиливались тем, что прежние хозяева, феодалы, сидели в своих имениях, распространяя слухи, будто пролетарскую власть скоро свергнут.

Киров с ленинской решимостью призывал покончить с беко-ханским строем. Феодалов выгнали. Их скот, дома, сельскохозяйственный инвентарь полностью передали трудовым крестьянам. Они почувствовали себя единственными хозяевами земли.

Много занимался Сергей Миронович западными пограничными районами республики. С древних времен крестьяне Таузского и Казахского уездов пасли свои стада на горных пастбищах — эйлагах Армении. Там же, в Армении, рубили лес для себя. Крестьяне Закатальского уезда пахали землю, косили сено в Грузии. Дашнаки лишили азербайджанских крестьян их давних прав. Это было одной из главных причин азербайджанско-армянской вражды. Притесняло азербайджанцев и меньшевистское правительство Грузии. Теперь Киров вместе с Орджоникидзе улаживал споры.

Плодородной земли в Азербайджане не хватало. Выход подсказал Ленин. На юго-востоке республики, в Куринской

низменности, раскинулись Муганская, Мильская, Ширванская степи. Там властвовала засуха. Дождей выпадало мало, речушки и ручьи, стекавшие с гор, в знойную пору иссякали, не достигая Куры. Сероземы и солончаки были бесплодны, росли только полынь, солянка, верблюжья трава. В низовьях Куры и Аракса кое-где пестрели заросли тургаев — сырых лесов, камыша и рогоза, а на болотах рос лишь каспийский лотос. Владимир Ильич советовал орошать земли полупустыни, осушать болота.

Киров двинул на Мугань тысячи людей — рабочих и крестьян, мелиораторов и гидротехников, агрономов и строителей. Советское правительство выделило значительные средства, включая золотую валюту, а также лес, металл. Возникла одна из крупнейших строек страны.

Стройка располагала большим парком землечерпалок и других машин, в том числе таких, о которых раньше и представления не имели в Азербайджане. Между Баку и Муганью курсировали самолеты. Развернулось и орошение в Мильской, Ширванской степях. Уже в 1923 году началось заселение степных земель. К новому местожительству первые поселенцы ехали по грунтовым дорогам, заблаговременно проложенным на Мугани. В труднейших условиях сооружалась и железная дорога Баку—Джульфа, которая, по выражению Кирова, врезалась в самые дебри степей.

Осваивая новые земли, целину, внедряли технические культуры, особенно необходимые стране. Ленин, постоянно следивший за оросительными работами в Азербайджане, советовал развивать хлопководство. Киров призывал: «Лицом к хлопку». Чем тратить на него валюту, лучше самим выращивать, а за границей покупать машины. Хлопковые посевы ширились. Одна тысяча десятин в 1922 году — семьдесят тысяч в 1924 году. Сергей Миронович настаивал, чтобы темпы не сбавляли, и тогда республика достигнет невиданных успехов.

Благодаря прочным основам хлопководства, заложенным при Кирове, Азербайджан стал впоследствии второй хлопковой базой Советского Союза.

Сельскохозяйственная техника была очень бедна. Главным орудием земледельца оставался хыш — деревянная соха.

— Местами мы достигли кое-чего, например электрифицировали села, но, к сожалению, наше крестьянство не перешагнуло еще через те орудия, которыми ковыряло землю еще при святом Владимире, — говорил Сергей Миронович, не уставая напоминать, что с этим злом долго не покончить, если засиживаться на чужом иждивении.

Всюду создавали хотя и мелкие, но специализированные

предприятия, поставлявшие деревне металлический инвентарь. Из Центральной России в Азербайджан перебросили станки и инструмент крупного завода сельскохозяйственных орудий.

Тракторы раньше всех в стране получил Азербайджан. Первую партию их, купленную за границей с разрешения Ленина, отдали Мугани. Вскоре не было такого уезда, где бы они не применялись. Не всем это нравилось. Рутинеры причитали: скачок от хыша к трактору не по силам азербайджанцу, а посему слишком сложен, хлопотен. Киров однажды сказал в докладе:

— У нас имеются агрономы, чуть не профессора, которые говорят, что с тракторами успеха не будет, что буйвол гораздо лучше, что у буйвола ноги хорошие и что буйвол очень хорошее и смирное животное, очень симпатичное, такое, которое можно использовать во всех направлениях…

Послышался дружный смех.

— Это, товарищи, не смешно! — воскликнул Сергей Миронович, потребовав пристального внимания к технике, заменяющей каторжный хыш.

Бедой азербайджанских полей была саранча. Она уничтожала подчас посевы целых уездов. Всюду создавали агрономические станции, крестьян учили обнаруживать площади, зараженные кубышками, истреблять вредителей. Уничтожение саранчи Киров считал подлинным фронтом. Когда она приближалась, партийная организация республики поднимала в бой тысячи людей. Киров говорил в 1923 году:

— Опасность надвигающейся беды настолько серьезна, что требуется массовое напряжение сил и энергии, массовый подъем всех рабочих и крестьян… Этому фронту все органы, как в центре, так и на местах, должны уделить максимум внимания.

Через год в бой шли уже не по старинке, а вооруженные химией.

— Вы знаете, что если в России сельское хозяйство на восемьдесят процентов зависит от настроения Ильи-пророка, то здесь, в Азербайджане, сельское хозяйство зависит на все сто процентов, пожалуй, в наиболее плодородных районах от той проклятой козявки, которая называется саранчой… Скажу только одно, что за все время существования советской власти мы за этой саранчой гонялись нисколько не с меньшей энергией, чем за Колчаком, Деникиным… Достижения были большие, и все-таки целиком и полностью овладеть этой стороной дела мы никак не могли. Только в этом году, и это надо отнести в заслугу нам всем, мы как будто бы вышли на настоящую дорогу. Мы уже подходим к саранчовому фронту, вы меня простите, не по-азиатски, с метлой, огнем, мечом и дубинкой, а уж с химией, что называется,

дело ставим на научную ногу… И тут, боюсь, не к ночи будь сказано, дело у нас в этом году идет как будто бы хорошо.

Не удовлетворяясь химизацией и массовостью так называемых противосаранчовых кампаний, Киров предложил истреблять вредителей прежде, нем они заберутся в пределы республики. Саранча прилетала с юга, из Ирана. С иранским правительством заключили договор, и советские агрономы, химики морили вредителей на полях и в болотах соседней страны. Эффект это дало исключительный. Уже в 1924 и 1925 годах саранча почти никакого ущерба не нанесла азербайджанским крестьянам.

По возделыванию хлопка республика в 1924 году намного превысила довоенный уровень. Посевы кукурузы увеличились в три раза, посадки картофеля — в полтора раза. Из года в год уменьшалась надобность в завозном хлебе.

В селениях и аулах строились электростанции, водокачки, школы, больницы. В быт деревни входили телеграф и телефон. Михаил Васильевич Фрунзе, побывав в Азербайджане, рассказал в газетном интервью:

— Я был поражен в Закатальском, Ганджинском и отчасти Нахичеванском уездах наличием телефонной связи уездных центров не только с волостными участками, но даже с отдельными деревнями. Очень большие успехи наблюдаются в области электрификации. Так, Ганджа предполагает через полгода осветить электричеством большинство селений. Уезды Азербайджана оставили далеко позади наши русские и украинские деревни.

Сельскохозяйственное производство республики, хотя и хорошо развивалось, перешагнуло всего лишь скудный уровень царской России. Киров поэтому предостерегал от самоуспокоения:

— Можно произносить много красивых речей, можно сколько угодно хвалить свою работу, но до тех пор, пока мы не выведем крестьян из нынешней обстановки сельского хозяйства, наша работа не достигнет настоящих успехов.

Путь к настоящим успехам он видел в машинизации, в коллективизации. Это отразилось в постановлении очередного съезда Компартии Азербайджана, происходившего незадолго до того, как Сергея Мироновича перевели в Ленинград:

«Энергично содействовать возникновению коллективных хозяйств среди маломощного и середняцкого крестьянства, оказывая им льготы и предоставляя особо льготные условия приобретения сельскохозяйственных машин. Наряду с этим способствовать развитию простейших видов коллективизации,

как-то: машинных товариществ, товариществ по совместной обработке земли, супряжничества и т. д.».

Азербайджанское крестьянство сворачивало на социалистический путь коллективного труда.

6

Орджоникидзе никогда не мог забыть страшное наследие мусаватистов — то, что он застал в Азербайджане весной 1920 года. Города и села, разрушенные во время азербайджано-армянских столкновений. Редкие уцелевшие дома, где никто не откликается на зов: их обитатели погибли или бежали. Даже спустя полтора десятилетия Серго рассказывал, что все еще с ужасом вспоминает картину, которую увидел в Шуше. Красивейший город, населенный армянами, был разгромлен, в колодцах находили трупы детей и женщин. Тот же разгром, разорение в азербайджанских деревнях.

Мусаватский яд национальной розни отравил сознание многих азербайджанцев. Самая отсталая часть населения, сплошь неграмотная, скованная невежеством, обуреваемая религиозным фанатизмом, не ожидала, что может наступить межнациональный мир, да вряд ли и хотела его. А компартия, выступая перед отсталыми слоями населения, особенно ’ в деревне, была чрезвычайно ограничена в своих возможностях, почти не имея квалифицированных азербайджанских агитаторов и пропагандистов.

По совету Кирова поступали так. В ЦК Компартии Азербайджана собирали десять-пятнадцать грамотных, толковых людей и помогали им изучить одну-единственную тему, касающуюся подлинных причин национальной вражды и подсказывающую, как нужна дружба народам Закавказья, всей бывшей царской России. Разъезжая по уездам, эти коммунисты проводили беседы в красных уголках, в кружках, на собраниях. Через некоторое время начинающие агитаторы изучали в Баку вторую тему, третью. Всего-навсего кустари от агитации, они вместе с тем были подвижниками, смелыми и скромными сеятелями ленинского интернационализма, переоценить которых невозможно. В 1922–1923 годах удалось создать первые в республике пять партшкол, в которых преподавание велось на азербайджанском языке.

Азербайджанцев, достаточно подготовленных для партийной, советской и хозяйственной работы, не хватало. Чтобы поскорее

растить их, выдвигали азербайджанцев в республиканские и местные учреждения. Там, где руководителем был, скажем, русский или армянин, заместителем назначали азербайджанца. Азербайджанцев, в том числе крестьян, включали в коллегии наркоматов. Уже в 1923 году из тысячи ответственных работников, насчитывавшихся в республике, около пятисот были азербайджанцы.

Баку впитал в себя лучшие силы, но многим азербайджанцам не давали там засиживаться: их направляли в уезды, в деревню. В уездах создавали курсы для советских и хозяйственных работников. Местные кадры пополнялись и возвращающимися из армии бойцами. Они накануне демобилизации проходили специальные курсы по работе в деревне.

Культурный уровень населения оставлял желать лучшего и в Баку, а в некоторых уездах был ужасен. Киров говорил о том без прикрас:

— Принято думать, что половина населения Азербайджана снимает свою чадру. Это глубокая ошибка. Чадру носит не только половина населения Азербайджана… Девяносто процентов нашего населения до сих пор пребывает в чадре темноты, невежества, безграмотности и — надо сказать прямо — в культурном невежестве. Вот эту чадру нам и надо снять с гораздо большим рвением, с гораздо большей смелостью, чем те чадры, которые снимаются в женских клубах… Нужно добиться всеми средствами, силами и мерами, чего бы это ни стоило, чтобы «чадру» эту дальше не носили.

Школ ликвидации безграмотности было свыше тысячи. Их бесплатно снабжали учебниками, тетрадями, карандашами. В 1925 году эти школы для взрослых, к слову, израсходовали шестьдесят пудов грифельного мела — цифра, которая сама за себя говорит. Одолев грамоту, многие сельские жители закрепляли первые азы в крестьянских школах-передвижках: в них преподавали бакинские педагоги и лекторы. Кто хотел, учился дальше в стационарных учебных заведениях.

Киров, все коммунисты Азербайджана не упускали из виду и чадру без кавычек. В Баку славился «Клуб освобожденной азербайджанки». В его мастерских и кружках женщины получали образование и профессию. Первые азербайджанки, ставшие телеграфистками и машинистками, матросами и электромонтерами, обучались в этом клубе, как и многие акушерки, фельдшерицы, медицинские сестры. Там же обучали портновскому, сапожному, переплетному делу, ковроткачеству, лепке и выжиганию по дереву. Женских клубов действовало в республике несколько.

С каждым днем увеличивалось число женщин в нефтяной промышленности и на водном транспорте, а на многих табачных, швейных, шелкопрядильных, пищевых предприятиях и в кооперативных артелях уже в 1924–1925 годах женщин было большинство.

Женщин вовлекали в общественную, государственную работу. Вслед за народными заседательницами в суды пришли женщины-адвокаты по семейным и бытовым делам, так называемые правозаступницы. В 1924 году впервые избрали азербайджанок секретарями сельских и волостных Советов. Мужское самолюбие иных работников безумно страдало — рушились твердые, как булыжник, восточные и не только восточные каноны, казавшиеся незыблемыми, продиктованными навечно самой природой. Кое-кто трубил, что с выдвижением женщин надо повременить, пока они разовьются да наберутся опыта. Сергей Миронович высмеивал таких работников:

— В Одессе был один градоначальник в старые добрые времена. Появились первые автомобили в Одессе, и когда автомобили проходили по улицам, то лошади кидались в сторону оттого, что боялись этих машин. Градоначальник издал приказ: «Запретить езду на автомобилях, пока лошади не привыкнут к этой езде».

Киров говорил, что если уподобиться одесскому градоначальнику, женщины и через сто лет не овладеют высоким искусством управления государством.

Очень заботился Сергей Миронович о молодежи, напоминал юношам и девушкам, что именно им предстоит своим трудом обогащать и народное хозяйство и азербайджанскую культуру, социалистическую по содержанию и национальную по форме. Киров радовался успехам передовой молодежи, комсомольцев.

— Самая отрадная работа в Азербайджане — это работа комсомола. Во многих местах наши комсомольцы перещеголяли своих отцов, местами комсомольская ячейка проявляет больше жизни, больше деятельности, чем взрослая коммунистическая ячейка.

Оппозиционеры всех мастей заигрывали с комсомольцами, и, чтобы не сбиться им с верного пути, Сергей Миронович советовал юношам и девушкам:

— Изучите Ленина, знайте его жизнь от доски до доски, знайте великие заповеди гениальнейшего во всем человечестве вождя до последней запятой.

Воспитание своей смены коммунисты нередко подменяли сплошными похвалами, что вело к зазнайству, и Киров предостерегал от этой ошибки:

— Мы расшаркиваемся перед молодежью и говорим ей: мы, конечно, состарились, сгорбились, у нас душа замозолилась, а вы — молодежь, вы — оплот, вы — самый пуп.

Иному недалекому юнцу легко было, чего доброго, возомнить, будто знает он больше всех, будто уже и секретарь укома, то есть уездного партийного комитета, ничто и никто в сравнении с ним, комсомольцем.

— Он уходит и говорит себе: на самом деле я пуп, и мне не только секретарь укома не брат, но и сам черт нипочем. Он закусил удила и идет куда попало и меньше всего занимается настоящим делом, которое могло бы из него создать подлинного наследника социалистического строя.

В Азербайджане, как и раньше, на Северном Кавказе, Киров делал все необходимое, чтобы изжить беспризорничество, наследие войны, доставлявшее партии, государству, народу немало тревог и забот. И характерно, что беспризорные, не признававшие никаких авторитетов и не подпускавшие к себе представителей власти, подчас сами тянулись к Кирову со своими желаниями, требованиями, мечтами.

Жил-был в Баку беспризорный Карапет Айрапетов, подросток, влюбленный в автомашины. Повадился он ходить на авторемонтный завод. Подкармливаемый рабочими, года два вертелся в прессовом и кузнечном цехах, без зарплаты, без собственного угла. Научился ремонтировать, водить машины.

В гараже Автотранса, вспоминал потом Айрапетов, он часто видел Кирова. Киров понравился. Айрапетов набрался смелости:

— Товарищ, устройте меня на такую службу, где бы я мог получить квалификацию.

Киров улыбнулся:

— Хорошо, приходи.

На другой день Айрапетов пришел в ЦК. Сергей Миронович спросил:

— Хорошо, а вот ты мне скажи, куда бы ты хотел поступить.

— Сергей Миронович, я хотел бы работать с вами.

Киров помолчал, озадаченный.

— Ладно.

Айрапетов почти четыре года водил автомашину Сергея Мироновича, до самого его отъезда в Ленинград.

Когда Киров погиб, в «Правде» опубликовали воспоминания студента по фамилии Маяк:

«Помню, хорошо помню, это было в Баку во время советизации Азербайджана. Я был беспризорным мальчиком, так лет двенадцати-тринадцати. Ноги босые, грязное тело, и едва была прикрыта грудь; в большом лохматом мужском полупальто

до пят. Все мое тело было черное, кроме зубов. И так около года я проводил свою жизнь на улицах Баку.

Однажды я зашел к военному наркому товарищу Караеву просить, чтобы он меня послал на работу. Вместо работы он послал меня в детский дом… Но через три дня я оттуда удрал. Это было рано утром. Никто меня не заметил. Я бежал до здания, где работал товарищ Киров. Подошел я к часовому.

— Разрешите мне к товарищу Кирову, — сказал я.

— Убирайся вон сейчас же!

Прогнал он меня… Ясно, такой вид я имел, что красноармеец думал, что я шучу.

Решил я: как бы там ни было, но должен сегодня видеть товарища Кирова. Голодный и жалкий, сидел я на лестнице до самого вечера, пока вышел товарищ Киров с двумя товарищами. Он был одет в кожаную тужурку и сапоги. Я, как орел, бросился к нему. Держался я за его тужурку, смотрел в его доброе лицо и сказал:

— Товарищ Киров, посылай меня на работу.

— Какую тебе работу, мальчик? — сказал он с улыбкой.

Его веселое лицо подбодрило меня.

— Я хочу на завод Каспийского товарищества, туда, где мой товарищ работает.

— Нет, хочешь в детский дом, мы тебя пошлем, — держал он меня за руку, — там ты будешь работать, там тебе дадут питание, там ты будешь учиться и будешь хорошим человеком.

— Нет, нет, не хочу в детский дом, я оттуда убежал, там ребята меня били. Пошлите меня на завод, я хочу на завод, товарищ Киров, — сказал я в слезах.

Товарищи его засмеялись и уговаривали Кирова исполнить мою просьбу.

— Ну, ладно, — сказал товарищ Киров.

На следующий день с большой радостью я стал работать на заводе имени Джапаридзе. Четыре часа работал в день и был первым ударником среди своих товарищей. Работал и жил на этом заводе».

7

Баку был одним из самых крупных, но и самых жутких городов России. Роскошь соседствовала с вопиющей нищетой. В двадцатых годах Горький писал о дореволюционном Баку:

«Нефтяные промыслы остались в памяти моей гениально

сделанной картиной мрачного ада… Я — не шучу. Впечатление было ошеломляющее…

Среди хаоса вышек прижимались к земле наскоро сложенные из рыжеватых и серых неотесанных камней длинные, низенькие казармы рабочих, очень похожие на жилища доисторических людей. Я никогда не видел так много всякой грязи и отбросов вокруг человеческого жилья, так много выбитых стекол в окнах и такой убогой бедности в комнатках, подобных пещерам. Ни одного цветка на подоконниках, а вокруг ни кусочка земли, покрытой травой, ни дерева, ни кустарника».

Горький писал о мирном времени, а война и мусаватистское владычество поприбавили зол. Тем не менее или именно поэтому годы работы Кирова в Баку были годами коренной перестройки города.

Рабочие казармы снесли, землянки исчезли. На Забрате и у горы Степана Разина выросли первые рабочие поселки со стройными рядами розовых коттеджей, окруженных зеленью. Вдоль новых, мощеных улиц высаживали деревья. Старые дома переделывали, создавая в них такие удобства, о которых рабочие раньше и не мечтали. Шолларская станция дала населению воду. Электричество и газ входили в быт. Город украшали новые бульвары, парки, сады.

Всюду, где что-либо делалось для рабочих, для всего населения, Киров бывал так же часто, как и на промышленных предприятиях, требуя прежде всего высокого качества работы.

В Балаханах, у строящегося дома, громко спорили. Прораб хотел, чтобы рабочая артель разобрала несколько рядов камня, неправильно уложенных. Рабочие не соглашались.

— Брошу это дело, — горячился старшина артели.

— Почему? — раздалось вдруг откуда-то со стороны.

Глянули — Киров.

Прораб рассказал, о чем спор.

— Ты родом откуда? — спросил Сергей Миронович у старшины.

— Из Шуши.

— У тебя случайно нет родственников в Баку?

— Как нет, шесть человек, все рабочие. Трое тут живут, в Балаханах.

— Так вот, если одному из них достанется квартира в этом доме, проживет он здесь год-два, и все развалится. Как ты думаешь, скажет он тебе спасибо?

Старшина опешил. Сергей Миронович продолжал:

— Нам нужны крепкие дома. Оплошал, сам и переделай.

Старшине деваться было некуда.

Еще чего требовал Киров, кроме высокого качества, — это быстроты. Сроки между словом и его исполнением сокращались предельно. Рабочие поселки в Раманах и Кишлах, в Баилове и на Биби-Эйбате заложили 1 мая 1923 года. А к декабрю сдали пятьдесят три дома, еще семьдесят возводились.

О том, как хорошо и быстро все делалось тогда в Азербайджане, сохранились воспоминания видного московского энергетика Владимира Александровича Радцига. Это был, к слову, младший брат казанского преподавателя Антона Радцига, тот самый, которого в 1902 году вышвырнули из института за причастность к студенческим волнениям. Встречаясь в Баку с Кировым, Владимир Александрович и думать не думал, что перед ним бывший ученик его брата, бывший питомец Казанского промышленного училища Костриков.

В январе 1923 года по распоряжению Ленина выделили деньги на сооружение трамвая в Баку. Тогда же, в январе, в Баку пригласили Владимира Радцига. Так как маршруты общей протяженностью в двадцать километров были заблаговременно определены и утверждены, свой доклад Баксовету составил Владимир Александрович ровно за два дня. Все его соображения тотчас же утвердили. Согласились и с его желанием пригласить специалистов, с которыми он строил трамвай в Царицыне и Воронеже. Зарплату дали Радцигу гораздо большую, чем в Москве.

В три месяца удалось заказать вагоны, электрическое оборудование и материалы для подстанций, воздушных и кабельных сетей. Приобрели и мачты-столбы и рельсы. Шпалы заготовили в азербайджанских лесах. Тянули пути, построили депо с мастерскими И кузницей, контору, гараж, склады, семиквартирный дом для персонала. Все без проволочек и задержек.

Поэтому первую линию, кольцевую, шестикилометровую, соорудили за десять месяцев. Еще через два месяца сдали вторую линию. Третью — осенью 1924 года.

Радциг получил новое задание: электрифицировать пригородную железную дорогу Баку — Сабунчи, ведущую на промыслы, чтобы езда отнимала у рабочих не полтора часа, а двадцать три минуты. Опыта никакого — дорог с электротягой в стране еще не было. Но все помогали, и с Сабунчинки сняли паровозы в более короткий срок, чем на линии Москва — Мытищи, электрификацию которой начали раньше, а закончили позже.

За сооружение бакинского трамвая Радцига наградили орденом, что было редкостью редчайшей. Во многих местах еще

не изжили спецеедства — отвратительной придирчивости к старой технической интеллигенции. Узнав о награждении Радцига, московский профессор-коммунист Петр Алексеевич Козьмин, знакомый с Кировым, написал ему в Баку:

«Я прямо-таки удивлен, что у вас могут работать хорошие, честные спецы. Вы, очевидно, обогнали в этом отношении РСФСР… Приезжайте в Москву заводить ваши хорошие порядки».

8

Заводить хорошие порядки привелось не в Москве, а в Ленинграде, хотя и вопреки собственной воле: Киров породнился с бакинским пролетариатом и его партийной организацией, с партийными организациями и народами Закавказья, всего Кавказа. Сергей Миронович считал, что переводить его куда-либо с Кавказа не следует.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Киров был в совершенно несвойственном ему удрученно-тревожном настроении, когда на исходе 1925 года открылся XIV съезд партии. Сергей Миронович писал Марии Львовне:

«Из газет ты узнаешь, что на съезде у нас идет отчаянная драка, такая, какой никогда не было. Читай аккуратно «Правду», будешь в курсе дела. В связи с этой дракой здесь стоит вопрос о посылке меня на постоянную работу в Ленинград. Сегодня об этом говорили очень определенно. Я, конечно, категорически отказываюсь. Серго также против моей посылки туда. Не знаю, чем это кончится. Через неделю, а быть может, раньше, съезд закончится, немедленно выедем домой».

То, что Киров назвал в письме отчаянной дракой, было развернувшейся на съезде острой борьбой против зиновьевско-каменевской «новой оппозиции».

Страна тогда завершала восстановление народного хозяйства. Она крепла день ото дня, шла к социализму. XIV партийная конференция подтвердила ленинское положение о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой стране — в СССР. Но экономика страны приближалась лишь к уровню отсталой царской России, и удовлетвориться этим было нельзя. XIV съезд партии обсуждал, как ускорить движение к социализму. Проводить в жизнь ленинский план индустриализации страны — одно из основных решений XIV съезда. Зиновьев и Каменев отвергали ленинский план, считая, что построить социализм в СССР не удастся, раз нет революций на Западе. Всего лишь весной 1925 года оба они критиковали Троцкого, твердившего примерно то же. Потом сами скатились к троцкизму и сколотили, главным образом в Ленинграде, «новую оппозицию». Съезд разоблачил меньшевистскую суть этой оппозиции, осудил ее, призывая зиновьевцев-каменевцев не подрывать единства партии, отказаться от раскольнической обособленности. К этому на съезде призывал раскольников и Сергей Миронович, говоря, что им пора выбраться из своего ленинградского обособленного уголка:

— Выйдите вот сюда, товарищи. Здесь, в этом зале, где заседают представители всей нашей Коммунистической партии, мы действительно единодушно разрешим все те вопросы, которые

стоят перед нами, и прекратим то, что делается в первой советской столице, на родине Коммунистической партии, в Ленинграде.

Однако главари «новой оппозиции», потерпев поражение, не подчинились воле съезда и ринулись в Ленинград, пытаясь превратить его в свою цитадель.

Оттого после съезда Сергей Миронович вопреки своим предложениям не вернулся домой. ЦК ВКП(б) направил его в Ленинград, куда Серго Орджоникидзе втихомолку послал записку, адресованную товарищам, непричастным к оппозиции:

«Ваша буза нам обошлась очень дорого: отняли у нас тов. Кирова. Для нас это очень большая потеря, но зато вас подкрепили как следует. У меня нет ни малейшего сомнения, что вы там справитесь и каких-нибудь месяца через два все будет сделано. Киров — мужик бесподобно хороший, только, кроме вас, он никого не знает. Уверен, что вы его окружите дружеским доверием. От души желаю вам полного успеха».

Не ограничиваясь этим, Серго добавил:

«Ребята, вы нашего Кирыча устройте как следует, а то он будет шататься без квартиры и без еды».

Сергею Мироновичу отвели комнату в «Европейской гостинице», о нем заботились, но ему было не до квартиры, не до еды. По его выражению, работы хватало на двадцать четыре часа в сутки. Приехав 5 января 1926 года, он писал жене на третий день: «Положение здесь очень тяжелое…»

Очень тяжелое. Главари «новой оппозиции» внесли разлад в партийные ряды. Через своих приверженцев, рассевшихся в губкоме и райкомах, они повлияли на значительную часть рабочих, интеллигентов. Повели за собой и множество юнцов, из тех, кого уговорили, будто они пуп земли, партийной и комсомольской. Не гнушались ни ложью, ни клеветой, ни расправами над честными большевиками, отстаивающими генеральную линию партии. Не то что в Азербайджане — в Баку. Там партийные и непартийные большевики умом и сердцем восприняли — уже нет Ленина, Ленина нет, и оттого единство еще во сто крат важнее, чем прежде. Там вылазки троцкистов, национал-уклонистов и всех иных оппозиционеров неизменно получали отпор.

— Большее единодушие, чем у нас в Азербайджане, пожалуй, редко где найдем, — по праву говорил Киров в 1924 году.

Сокрушить оппозиционеров, воссоздать единство в Ленинграде необходимо было немедленно. Что бы ни твердила «новая оппозиция», сомкнувшись с троцкизмом, все сводилось к неверию в рабочий класс, к неверию в возможность построить

социализм в нашей стране.

С этим капитулянтством не могло быть ни примирения, ни подобия примирения. Иначе как двигаться дальше, как призывать трудящихся завершить восстановление народного хозяйства и реконструировать его, развернуть индустриализацию, намеченную XIV партийным съездом? Иначе нечего сказать миллионам безработных, все еще насчитывающихся в городах. Иначе в глаза нельзя будет смотреть тем, кто во имя революции сидел в царских тюрьмах, отбывал каторгу. Тем, кто сражался на фронтах в годы гражданской войны и интервенции.

По поручению ЦК ВКП(б) в Ленинграде вместе с Кировым находились некоторые виднейшие партийные деятели, в том числе старые петербуржцы Михаил Иванович Калинин и Григорий Иванович Петровский. Они не затевали кабинетных споров с главарями оппозиции. Чтобы поскорее оставить зиновьевско-каменевских главарей генералами без армии, было гораздо лучше, по выражению Кирова, брать, опрокидывать коллективы — идти к рабочим и говорить им чистейшую правду о XIV съезде, убеждать, убеждать, убеждать их, отвоевывая у оппозиции одну партийную организацию за другой. Сергей Миронович выступал среди тысяч и тысяч рабочих. На «Электросиле», считавшейся оплотом зиновьевцев. На фабриках «Красный ткач» и «Красный маяк». На Монетном дворе. На заводе имени Егорова. На объединенном партсобрании заводов «Красный гвоздильщик» и «Электроаппарат». У комсомольских активистов Выборгской стороны.

Рабочие правильно понимали и хорошо известных посланцев ЦК ВКП(б), и нового для ленинградцев деятеля Кирова, и всех других, кто был за генеральную линию партии. Оппозиционерам рабочие говорили: «Довольно споров, не мешайте трудиться, убирайтесь».

Многие коммунисты, целые коллективы требовали, чтобы оппозиционных главарей немедленно разогнали. Это требование, как ни странно на первый взгляд, пришлось по душе зиновьевским губкомщикам и райкомщикам. Им хотелось выглядеть страдальцами — последний козырь в безнадежной игре. Но и последний козырь они проиграли, не получив его, потому что Киров противился каким-либо нарушениям демократии: пусть выразят свою волю партийные конференции.

С конференциями он не спешил, хотя положение резко улучшилось буквально в считанные дни. 15 января Сергей Миронович говорил:

— Я думаю, что здесь, в Ленинграде, мы с полным правом можем сказать, что большинство членов партии ленинградской

организации вышло на правильную дорогу.

Киров и другие посланцы ЦК ВКП(б), все активные ленинцы продолжали выступать на предприятиях, несли ленинскую правду о съезде в гущу рабочих. Сергей Миронович 16 января писал Марии Львовне:

«Не обижайся, что пишу мало, очень я занят, работаю, ни минуты нет свободной… Занят так, что даже на улице не был ни разу, бываю только в машине… Каждый день на собраниях».

В первой половине февраля районные и губернская партийные конференции, осудив оппозицию, выразили свою верность генеральной линии партии.

Кирова избрали первым секретарем губкома ВКП(б).

За редкими исключениями, заблуждавшиеся рабочие порвали с оппозицией. Комсомольцы, совращенные зиновьевцами, опоминались, утихомиривались, Самых петушливых по предложению Кирова посылали учиться. Они впоследствии там же, в Ленинграде, и работали, получив дипломы инженеров, преподавателей. Все они пережили Кирова.

В конце декабря 1926 года Сергей Миронович говорил: партийная организация блестяще добилась того, что генералы-от-оппозиции в Ленинграде остались без армии. Через месяц Киров подтвердил это:

— Шлагбаум по дороге в Ленинград для оппозиции закрыт, закрыт окончательно.

Еще много раз партия давала бой тем, кто поднимался против ленинского курса. Зиновьевцы и троцкисты, спевшись, образовали антипартийный блок. Возник бухаринско-рыковский правый уклон. Выныривали право-левые. Однако в Ленинграде уже не было разлада.

Все, кто шел против партии, все оппозиции, группки, уклоны, загибы терпели поражение. Шлагбаум по дороге в Ленинград для окончательно закрыли. Партийная организация Сохраняла почетное звание передового отряда ленинской партии. Великий город революции вновь был крепостью большевизма.

Это имело отнюдь не местное значение.

Уже идейный разгром зиновьевцев в их главном центре, на берегах Невы, принес партии огромную пользу — замедлил, пресек расползание «новой оппозиции» по стране. И сбылось предвидение Орджоникидзе, писавшего после XIV съезда, что восстановить единство в ленинградской организации Сергей Миронович сумеет быстро и наиболее безболезненно. Старого большевика, будущего наркома лесной промышленности СССР Семена Семеновича Лобова, работавшего в середине двадцатых годов в Ленинграде, поражало, как трудился и как держал себя

Киров в пору тяжких сражений с оппозиционерами. Они навязывали небывалые в большевистской партии, уродливые формы борьбы, а Сергей Миронович всем выпадам и позорным выходкам зиновьевцев противопоставлял ленинскую принципиальность, наистрожайшую правдивость, спокойствие и терпеливость. Он побеждал, сохраняя в партийной организации всех честных коммунистов, введенных в заблуждение главарями оппозиции. По свидетельству Лобова, эти блестящие победы, одержанные на глазах у всей страны, стали школой для множества большевистских деятелей, а Кирова заслуженно выдвинули в одного из основных руководителей партии, ее ленинского ЦК Сергея Мироновича избрали кандидатом в члены Политбюро.

И чем ожесточенней приходилось партии в дальнейшем сражаться против уклонов и загибов, против разномастных оппозиционеров и перерожденцев, тем сильнее, мощнее на всю страну звучал голос Кирова, непоколебимого ленинца.

Он говорил на XV съезде ВКП(б):

— Можно, конечно, все утверждать, можно какие угодно ошибки найти, можно бичевать Центральный Комитет по поводу того или другого недостатка, но сейчас доказывать то, что нам хотят доказать, что единственным наследником великого учителя — Ленина — является Троцкий, я думаю, что ни один сколько-нибудь честный рабочий, ни один партиец ни на одно мгновение не могут эту действительно невозможную мысль допустить…

Каждый рабочий понимает, что когда нам говорят о недостатках, недочетах и пр., то мы, может быть, болеем во сто раз больше, чем товарищи из оппозиции, по поводу недостатков, недочетов и извращений в нашей работе и практике. Но мы знаем вместе с нашими рабочими: то, что пять лет назад являлось пропастью, разорением, нищетой, нуждой и голодом, теперь сменяется достижениями, которые могут удивлять не только европейских рабочих, являющихся нашими друзьями по самой своей природе, но и кое-кого другого…

Для того чтобы нам успешно, без помехи продолжать наше дело, для того чтобы нам пожалеть, посочувствовать и по чувству человечества не трепать нервов представителей оппозиции, я думаю, на теперешнем XV съезде надо действительно доделать то, что не было доделано на XIV съезде партии: нашу оппозицию нужно отсечь самым решительным, самым твердым и самым беспощадным образом… Все то, что путается под ногами, что колеблется и сомневается, должно быть оставлено в исторической пропасти, а нам с вами дорога только вперед и только к победам!

На XVI съезде, за две недели до избрания Кирова в члены

Политбюро, снова прозвучал голос Кирова:

— Генеральная линия партии заключается в том, что мы осуществляем крепкий курс на индустриализацию нашей страны, на основе этой индустриализации мы проводим перестройку нашего сельского хозяйства на началах обобществления, коллективизации…

Правые выступили совершенно открыто и решительно против взятых партией темпов индустриализации страны. Их проповедь «равнения на узкие места», снижения темпов индустриализации в конечном итоге неизбежно привела бы к срыву индустриализации страны и ее социалистического преобразования…

Партия не пошла по этому пути. Партия взяла еще более решительный курс на осуществление своих ленинских лозунгов и развернула напряженную борьбу с правыми оппортунистами…

У нас принято думать, что троцкизм — это неизбежное скатывание в лагерь контрреволюции. Это верно, но верно также и то, что правооппортунистические дела, если на них настаивать по-серьезному, могут завести весьма и весьма далеко, откуда выбраться будет чрезвычайно трудно…

На XVII съезде ВКП(б):

— Миллионы рабочих, с ними в союзе еще большие миллионы крестьян во главе с твердой, железной, стальной ленинской партией пошли в бой. В этом бою, товарищи, нам пришлось потерпеть немало от-, дельных неудач и невзгод, но в итоге мы вышли к XVII съезду партии на такие новые победные высоты, что все эти изъяны и все эти недочеты стушевываются перед величием наших побед… Впереди еще очень много хлопот и забот для всей партии, для каждого из нас и для всего рабочего класса. И может еще случиться, что кое-кому, отдельным товарищам, а может быть, отдельным группам снова придется кое в чем разочароваться; это не исключено… То, что мы победили, то, что сейчас эти разбитые оппозиционеры пытаются всячески подладиться к нашим победам, это еще ни в какой степени, товарищи, не снимает с порядка дня вопроса о том, что нам и впредь нужно беречь чистоту и неприкосновенность генеральной линии нашей партии.

2

Как и в борьбе за ленинское единство партии, год от года возрастала роль Кирова в развитии промышленности. Особенно ощутимо это было, разумеется, на одном из решающих участков

социалистической индустрии, на ленинградском ее участке.

Уже в начальную пору работы в Ленинграде, пока велись сражения с «новой оппозицией», Киров увидел многое такое, чего до него не видели или видели, но неправильно истолковывали. Этот крупнейший промышленный центр застыл на распутье. Никто не представлял себе точно, в каком направлении он должен развиваться. Сомневались, стоит ли вообще развивать его.

— Считалось, что у города нет будущего, — вспоминал впоследствии Иван Федорович Кодацкий, председатель Ленсовета.

— Оппозиционеры с их фальшивыми гимнами городу революции думать не думали о его будущем, хотели превратить Ленинград в памятник его былому величию, в иждивенца страны, — добавлял Борис Павлович Позерн, старый большевик, ведавший в обкоме ВКП(б) пропагандой и агитацией.

— Кирову обязаны мы тем, что ленинградская промышленность стала арсеналом индустриализации страны, — говорил Михаил Семенович Чудов, второй секретарь обкома ВКП(б).

Доводы против развития ленинградской промышленности не высасывались из пальца. Империалисты готовились к нападению на СССР, и первый удар мог прийтись по Ленинграду, пограничному городу. Ни сырья, ни топлива своего он не имел. Металл доставляли издалека. Доставляли издалека в свое время не только металл — импортировали детали машин и приборов. Каменный уголь петербуржцы зачастую называли кардиффом. И неспроста: антрацит получали из Англии, через порт Кардифф.

Прежние импортные связи нарушились, ухудшились или вовсе оборвались, и некоторые ленинградские предприятия действовали вполсилы, искали заказы.

В 1924 году сильное наводнение нанесло городу огромный ущерб. Года через два многие улицы еще оставались непроезжими. Пострадали и дома, да их и не ремонтировали давно. На Выборгской стороне сохранилась лишь половина довоенного жилого фонда, теснота донимала рабочих и за Нарвской заставой. Чтобы устранить последствия наводнения, требовалось лет пять. В довершение всего кормить Ленинград было труднее прежнего. Отъединились, стали иностранными государствами Финляндия, Эстония, Латвия и Литва, снабжавшие при царизме Петербург продуктами питания,

Советская страна располагала скудными средствами, и выходило, будто целесообразно вкладывать их лишь в районы, богатые сырьем и топливом, удаленные от внешних границ, а слишком рассчитывать на Ленинград нечего и незачем.

В пору было напомнить то, что Сергей Миронович говорил в 1924 году:

— Мы, как настоящие большевики, должны налечь на промышленное хозяйство как следует. Правда, мы народ еще не особенно искушенный в этом деле, мы пока только каменотесы, а не архитекторы государственного строительства… У нас в одном случае получается широко, а в другом — штанов не из чего сшить.

Киров глубоко изучил истинное положение, арифметическому мышлению противопоставил партийное. Решение XIV съезда укреплять обороноспособность страны, не поддаваться на провокации поджигателей войны, срывать их замыслы позволило сделать вывод: непосредственной угрозы Ленинграду пока не предвидится. А город обладает свободными фабрично-заводскими мощностями, умелыми рабочими, и здесь легче, чем где-либо, выиграть для индустриализации самое дорогое — время. Нужно только правильно выбрать профиль. Вот он: производство средств производства, выпуск продукции, которая ныне импортируется. И главное, строго учитывать факторы, не поддающиеся простому учету.

Чудову запомнился эпизод, относящийся к более позднему времени. Работники обкома прикидывали, с чем Ленинград вступил в первую пятилетку. Подбили итог. Тем-то и тем-то богаты предприятия, научные организации, стройки. Столько-то имеется инженеров, техников, мастеров, рабочих. Еще и еще графы и пункты.

— Как экономисты, — улыбнулся Сергей Миронович.

И он, волнуясь, заговорил о факторах, не поддающихся простому учету. Обо всем, что, по его словам, экономисты оставляют за скобками. О том, что не укладывается в графы и пункты. Об уверенности партии в силах рабочего класса. О преданности рабочего класса делу социализма, ленинизма.

— Если хотите, можно кое-что и перечислить…

Чистота и единство партийных рядов. Раз. Стотысячная семья большевиков, и среди них почти две трети — рабочие от станка. Два. Шестьдесят тысяч рабочих-комсомольцев. Три. Беспартийный актив, особенно профсоюзный. Четыре. Пролетарская критика и самокритика. Пять. И всемерная поддержка ЦК ВКП(б). Быть может, это не шестой, а первый, второй или третий фактор. Семь: дружная помощь всей страны. И так далее.

— Итога нет, это бесконечно возрастающая величина…

Киров и раньше видел, как значительны такого рода факторы. Начав работать в Ленинграде, он, полностью поддержанный ЦК

ВКП(б), учил использовать их. К концу 1926 года ленинградская промышленность уже давала пятую часть всех изготавливаемых в стране машин, половину всей химической и две трети всей электротехнической продукции.

— Все объективные условия говорят за то, что город Ленинград и ленинградская промышленность в деле индустриализации страны должны будут сыграть примерно ту же самую роль, какую этот город и пролетарии Ленинграда сыграли во всех этапах нашей великой революции.

Город выпускал оборудование для действующих и строящихся заводов и фабрик, для важнейших сооружений, которые вошли затем в золотой фонд советской индустрии. Ленинград стали называть арсеналом индустриализации.

Предприятия и стройки, а также сельское хозяйство нуждались во многих машинах и агрегатах, никогда не производившихся в России, и Киров требовал: побольше новых видов продукции взамен импорта, надо освобождаться от иностранной зависимости.

«Красный путиловец» в пустовавшей пушечной мастерской впервые изготовил пять тракторов. Заводу поручили освоить серийный выпуск их, но опыта было недостаточно, и некоторые инженеры боялись, что трудностей не одолеть и что без помощи Форда не обойтись. В цехи, называвшиеся по старинке мастерскими, зачастил Киров. Именно тогда окрепла его дружба с краснопутиловскими коммунистами, со всеми рабочими — в одном из цехов завода он состоял на партийном учете. По воспоминаниям рабочих, секретарь губкома говорил им:

— Довольно нам фордов. Учиться мы готовы хоть у самого черта, если эта учеба идет на пользу социалистическому строительству. Но кто утверждает, что победивший пролетариат никогда ничему не сможет научиться, ничего не сможет освоить, тот дурак или враг. А когда народ строит социализм, ни дуракам, ни врагам ходу на этой стройке давать нельзя!

За несколько месяцев краснопутиловцы сделали четыреста тракторов. Одновременно налаживался выпуск турбин на Металлическом заводе, текстильных машин — на заводе имени Карла Маркса. Вступила в строй Волховская гидроэлектростанция.

В 1927 году удалось значительно обогнать довоенный уровень промышленного производства. Пустили завод «Электроприбор». Начали сооружать Свирскую гидростанцию. Металлический завод, «Красный путиловец», «Севкабель», Ижорский и Невский заводы выполняли заказы Днепростроя. Вступили в строй Сясьский бумажно-целлюлозный комбинат,

мощный хлебозавод в Ленинграде, Кондопожская гидростанция.

Все достигнутое было лишь подготовкой к еще более крутому подъему в первой пятилетке. В Ленинграде не только строили предприятия. Заново создавались гиганты в стенах старых заводов — Металлического, Балтийского, «Красного гвоздильщика», Северной судоверфи.

Пятилетка требовала от ленинградцев все больших усилий. Наше машиностроение не выпускало таких очень нужных черной металлургии механизмов, как доменные подъемники, перекидные клапаны для мартенов, чугуновозные ковши большой емкости. Киров сказал: ленинградцы будут делать все это.

Новые виды продукции, выпуск которых впервые освоили ленинградцы, множились, их уже насчитывали десятками, а к концу пятилетки двумя сотнями, — и первые турбины в пятьдесят тысяч киловатт, и тракторы для пропашных культур и торфоразработок, и буровые станки, и пишущие машинки, и мотоциклы.

Ленинградские электрики первыми стали выпускать ртутные выпрямители, турбогенераторы и гидрогенераторы большой мощности, рентгеновские приборы.

Ленинградские химики первыми выпускали целлулоид, фотопленку, искусственные лаки и цветной фарфор, лекарственные препараты, в которых была великая нужда.

Ленинградская марка значилась также на первых партиях корунда, фибролита, газобетона, тканей для приводных ремней, изделий из искусственного шелка.

Киров порой лучше, чем непосредственные руководители, видел, сколь велики скрытые возможности предприятий:

— Наша ленинградская промышленность может выполнять сейчас ответственнейшие технические: задания, о чем мы сами иногда и не подозреваем.

Побывал Сергей Миронович на Ижорском заводе. Завод выполнял рядовые заказы. Изучение техники и кадров завода привело к тому, что ижорцам поручили изготовить первый советский блюминг. Шлифовальные камни, необходимые для обработки шарикоподшипников, тоже начали делать по совету Кирова. Большой завод, добиваясь заказа на лесопильные рамы, просил у Кирова содействия. Просил и получил такой ответ: надо делать более сложные машины, например банкаброши и ленточные машины для текстильных фабрик.

Иностранная фирма взялась поставить Днепровскому алюминиевому заводу печи «Миге-Перрон», мощные электродомны, такие, каких было лишь несколько во всем мире. Фирма обанкротилась. Предполагалось искать за рубежом нового

поставщика, но по просьбе Кирова заказ доверили ленинградцам. Десять предприятий трудились кооперируясь: и «Электросила», и Балтийский завод, и Ижорский, и «Большевик», и Северная судоверфь, и «Красный выборжец». Заказ выполнили.

Нередко новые производства осваивались туго, с перебоями, непомерными издержками времени, средств. Киров требовал, чтобы причины этих неурядиц тщательно изучались. В первую очередь он обращался к партийным руководителям. Надо не только изучать, но и обобщать причины. Не только обобщать, но и вести партийный коллектив, хозяйственников, рабочих к немедленному устранению недостатков. Не только к устранению, но и к заблаговременному предотвращению новых недостатков.

Сергей Миронович говорил об этом, в частности, секретарям райкомов партии Ивану Ивановичу Алексееву и Петру Ивановичу Смородину. Впоследствии они вспоминали, что Киров добавил: когда-то хорошему газетному репортеру полагалось прибыть на пожар по крайней мере за пять минут до пожара. Хотя шутка не больше, чем шутка, выводы напрашиваются резонные. И ставил в пример Ивана Ивановича Газа, секретаря горкома ВКП(б), бывшего рабочего, бывшего комиссара путиловского бронепоезда № 6, прославившегося в гражданскую войну. На предприятиях рабочие теряли зря много времени. Сергей Миронович попросил Газа вникнуть в причины. Газа и его помощники на нескольких заводах в течение нескольких месяцев анализировали, как проходит у рабочего трудовой день. Глубокие обобщения позволили улучшить организацию производства везде и особенно там, где выпускают не привычную, а новую продукцию. Это уберегло от серьезных провалов.

А когда затруднения все-таки возникали, Киров поднимал на ноги фабрично-заводские партийные организации, райкомы, горком, обком. Если было необходимо, Сергей Миронович и сам помогал и партийным работникам, и хозяйственникам, и инженерам, и рабочим, как на Металлическом заводе, где делали первую турбину для Днепростроя, как на «Светлане», где совершенствовали технологию производства, стремясь обогнать европейскую электропромышленность.

Сотни людей помнят, сколько бессонных ночей провел Сергей Миронович на «Красном путиловце», когда там не ладилось с тракторами. От трех тысяч тракторов в год — к десяти тысячам. Сразу, без передышки. Этого потребовали от краснопутиловцев. Вступали в действие — вводились в бой, как тогда выражались, — новые, хорошо оснащенные цехи. Все же было трудно. Поточное производство осваивалось медленнее, чем требовалось. Еще труднее было совладать с нытиками, маловерами. Тогда утро

начиналось у Сергея Мироновича с того, что он в Смольном изучал заводскую сводку за минувшие сутки. Продумывал, как помочь руководителям. Ночью же ездил к рабочим, называвшим себя тракторщиками. Учил, как на ходу устранять недостатки. С ним работалось лучше.

Поныне не забыто выступление Кирова в заводском клубе. Сергей Миронович говорил о воле ударников-трактористов, о том, что только с виду грозен железный довод маловеров: выполнить программу-де технически невозможно. Быть может, Сергею Мироновичу вспомнились февральские дни и ночи 1921 года, доводы специалиста, который не верил, что бойцам по силам перебраться через заснеженные, оледенелые кручи, и утверждал, кажется:

— Это невозможно даже теоретически.

Красноармейцы тогда перешагнули Мамисон.

На «Красном путиловце» тоже предстояло взять неприступный перевал, и Киров бросил в замерший зал:

— Не знаю, готовы ли вы технически овладеть десятитысячной программой, но коммунистически вы к этому готовы и сможете не только выполнить ее, но и перевыполнить, на то вы и краснопутиловцы…

Вместо десяти тысяч за год сошло с конвейера двенадцать тысяч тракторов.

Взяв разгон, краснопутиловцы в следующем, 1931 году дали стране почти втрое больше прежнего — тридцать две тысячи тракторов, выпуская одновременно и турбины, и драги, и паровозы, и вагоны, и двигатели для комбайнов, и подъемные краны, и транспортеры, и оборудование для электростанций, для металлургии, судостроения и химии.

Даже старым путиловцам вряд ли известно, что была тайна, которую Киров велел работникам обкома и горкома тщательно хранить в конце двадцатых годов. Завод делал тракторы марки «ФП» — «Фордзон-Путиловский», а в обиходе «Федор Петрович». Медлить с выпуском «Федоров Петровичей» было нельзя, а массовое производство не налаживалось. Новая техника соседствовала с допотопной. Всюду царила кустарщина. Не хватало квалифицированных рабочих, и в цехи, все еще называвшиеся мастерскими, нанимали обутых в лапти неповоротливых крестьянских парней. Как рассказывал краснопутиловец Герой Социалистического Труда Владимир Якумович Карасев, все валилось у них из рук.

— Эх ты, ухо от лоханки, — бывало, в сердцах обругают такого парня, а он только мелко крестится, молча озираясь на поломанный им станок.

Потомственный рабочий Петр Дмитриевич Никитин, бывший помощник командира легендарного путиловского бронепоезда № 6, говорил, что тракторные мастерские походили на боевые участки фронтов гражданской войны. Только бойцов тракторного фронта враг донимал иной — брак. Из-за него краснопутиловцы по месяцу, по целому кварталу не выполняли плана и на три четверти. Партийная и комсомольская организации звали атаковать план: «Все на производственные баррикады!» Газета-многотиражка подхлестывала трактористов: «Возьмем время за горло!» Душу бередили кумачовые лозунги: «Умейте революционно ненавидеть всякое зло, вредящее производству!»

Краснопутиловцы гордились своими, рождавшимися в муках, первыми тысячами «ФП». Однако земледельческие работники отказывались от них. Преклоняясь перед заграничной техникой, требовали валюты, лицензий — разрешений на ввоз американских «Фордзонов», «Катерпиллеров». Скандалили в сбытовых организациях, спорили в правительственных учреждениях. На одном из пленумов ЦК ВКП(б) Анастас Иванович Микоян раскритиковал любителей иностранщины, которые покупают «ФП» лишь из-под палки. На другом пленуме Валериан Владимирович Куйбышев предостерег тех, кто наплевательски относится к «ФП»:

— Это абсолютно неверная и вредная точка зрения.

Краснопутиловокому трактору настойчиво прокладывали путь на поля, где он, по выражению Куйбышева, сыграл огромную роль в коллективизации сельского хозяйства.

Пока же было условлено, что о нескончаемых сбытовых злоключениях «ФП» краснопутиловские рабочие ничего знать не должны. Это предложил Киров.

Он оберегал боевое настроение всех, кому приходилось туго на великой стройке, когда создавалась мощная индустрия, закладывался фундамент социализма.

Краснопутиловцам дали ответственное задание: выпускать автомобили «Л-1». Легковых машин прежде не делали у нас. Нужно было в кратчайший срок освоить иностранный опыт. Киров, как обычно, обратился к коммунистам:

— Впереди должны быть вы.

В производство включились триста человек, из них двести пятьдесят — коммунисты. Они сконструировали, изготовили две тысячи деталей. Собрали, не применив ни единого импортного винтика. Выпущенные в срок первые шесть «Л-1» ни в чем не уступали «линкольнам» и «бьюикам», наилучшим заграничным автомобилям. Испытательный пробег по маршруту Ленинград — Москва — Ленинград блестяще подтвердил это.

«Впереди должны быть вы», — этой мыслью с самого начала индустриализации проникались коммунисты, комсомольцы.

Ленинград превращался в город массового трудового героизма и ценнейших починов.

Осенью 1926 года молодежь «Красного треугольника» создала первую ударную бригаду. Ее примеру, одобренному губкомом партии, Кировым, последовали почти на всех предприятиях и стройках страны.

Летом 1927 года на Пролетарском заводе провели День индустриализации. Устроив воскресник, пролетарцы трудились сверхобразцово. С тех пор День индустриализации, 6 августа, отмечался всюду, был всесоюзным производственным воскресником.

Весной 1929 года «Красный выборжец» первым откликнулся на призыв XVI конференции ВКП(б), поднял знамя соревнования. Укореняясь, социалистическое соревнование и ударничество стали всенародным движением.

Летом 1930 года рабочие завода имени Карла Маркса взяли на себя гораздо большие обязательства, чем намечалось контрольными цифрами, — выдвинули встречный промфинплан. Это положило начало широко развернувшемуся вскоре соревнованию крупных фабрично-заводских коллективов за перевыполнение государственных планов.

В начале 1931 года в Ленинграде, зародились хозрасчетные бригады. Через год их в СССР насчитывалось уже свыше полутораста тысяч.

Первая пятилетка ознаменовалась в Ленинграде замечательными достижениями и в подготовке кадров: квалифицированных рабочих, мастеров, техников, инженеров. Особенно сложно было с инженерами. Создать новую, советскую техническую интеллигенцию, в кратчайший срок — к этому стремилась партия в борьбе за индустриализацию страны. И ленинградская партийная организация добилась того, что только в 1930 году открылось в городе двенадцать вузов: инженерно-техническая академия, машиностроительный, металлургический, котлотурбинный, электромеханический, текстильный и другие институты. Лесной институт преобразовали в лесотехническую академию с шестью институтами-филиалами. Учиться в вузы пошло по партийной мобилизации несколько сот коммунистов, и каждую кандидатуру обсуждало бюро обкома ВКП(б). Профсоюзные и комсомольские организации в 1930 году направили в вузы десять тысяч человек, преимущественно рабочих от станка. В Ленинграде возник первый в стране завод-втуз. Основал его коллектив Металлического завода. По

определению Кирова, это был почин чрезвычайной важности: будущие инженеры обучались непосредственно на производстве.

Первая пятилетка преобразила народное хозяйство страны. Она превращалась из аграрной в индустриальную. Ленинград оставался форпостом индустрии. Во второй пятилетке он был по-прежнему единственным поставщиком наиболее ответственных машин и агрегатов для черной металлургии, топливной промышленности, электростанций, железных дорог. Турбины И котлы большой мощности, блюминги и печи «Миге-Перрон» давал только Ленинград. Благодаря ленинградцам были сняты с импорта генераторы, электросварочная и нефтяная арматура, запасные части к агрегатам, завезенным извне, а также линотипы, сложные обувные и текстильные машины.

Киров заботился, чтобы техническим победам сопутствовала высокая культура труда во всех отношениях. Не уставал в беседах и выступлениях отмечать все то, что получилось хорошо, не хуже или лучше зарубежного. Пренебрежение к качеству продукции вызывало у Сергея Мироновича удивление, огорчение, тревогу, возмущение. Он говорил с трибуны XVII съезда ВКП(б):

— На вопросы качества надо навалиться нам всем, и партийцам и хозяйственникам, самым зверским образом. И заметьте, что у нас выходит: есть продукция, которую мы вывозим за границу. Например, мы в Ленинграде делаем машины на экспорт, для заграницы, и не такие простые машины, но я вам должен сказать, что если нужно машину для заграницы, — сделают как следует, а когда для себя, так совсем не то. Возьмите более простую продукцию — скажем, пищевой промышленности. Тоже порядочное количество делаем для вывоза за границу, вплоть до всякой конфетки и прочего. Так если вам показать заграничные наши конфетки, — просто от одного вида приятно становится, не говоря уже о том, когда ее скушаешь. А возьмите наши. Вот наши рабочие на тех же заводах говорят: сырье, материал другой. Насчет материала тоже можно поспорить. Тут ведь так: немножко послаще, немножко поменьше — не решает дела, а самый вид и качество этой продукции — за это надо приняться по-настоящему. Я знаю «а примере Ленинграда, как мы добиваемся наших успехов. Там, где мы навалились, — там выходит.

И сам же подавал пример, как надо относиться к упущениям, если они даже не ведут к массовому выпуску брака, а представляют собой хотя бы редкое исключение из правила.

В караульном помещении какой-то воинской части обнаружился недоброкачественный патрон. Единственный. Проверили еще много патронов — все было в порядке. Тем не

менее Киров глубоко заинтересовался и производством, и транспортировкой, и хранением боеприпасов. Командующий войсками Ленинградского военного округа Иван Панфилович Белов писал, что и с ним об этом единственном недоброкачественном патроне Киров разговаривал несколько раз. С командующим и еще с десятками товарищей. Все о том же: изучить до конца, как это негодный патрон прошел через технический контроль, как попал в воинскую часть, как предотвратить малейшую возможность повторения подобного случая.

Сергея Мироновича волновали жалобы и на продукцию второстепенного, третьестепенного значения. Рабочие сообщили, что артель белодеревцев делает негодную мебель. Жалобу проверили. Она была справедливая. Киров сделал суровый вывод:

— Эта артель объединяет белодеревцев, это верно, но нужно посмотреть, нет ли там белогвардейцев у руководства этим делом.

Хозяйственников, кичившихся выпуском новой продукции, но забывавших о качестве ее, Сергей Миронович, бывало, осмеивал:

— Мы же люди теперь культурные, занимаемся вопросами искусства, в том числе музыкой; наша музыкальная промышленность не только гармошками занимается, но делает и сложные вещи, например, такой симфонический инструмент, как флейта… Привезли эту флейту в торговую сеть, там, прежде чем продать, испытали, и оказалось — пустяковое дело: флейта как флейта, все клапаны отполированы, на вид — красота, но один лишь «маленький недостаток» — не играет.

Курьез с флейтой облетел все предприятия Ленинграда. Стало крылатым словом:

— Флейта как флейта, на вид красота, только не играет.

3

Наряду с повседневным выполнением производственных планов на заводах и фабриках были важны для Кирова изобретения и открытия, узкие места промышленности, в том числе ленинградской, вроде ее обостряющейся нужды в электроэнергии и топливе, местном сырье. Все это он крепко держал в орбите своего внимания и влияния — всегда искать, искать и находить, находить и действовать. Энергетика: реконструировать электростанции Ленинграда, построить новые, Свирскую и Дубровскую, затем на заполярных реках Ниве и

Туломе. Топливо: добывать торф в Синявине, сланец под Гдовом, разведать селижаровский и боровичский уголь. Сырье: пусть всех, как магнитную стрелку, тянет на север области, там есть руды, там есть апатит, чудо-камень, который можно перерабатывать в удобрения.

Север. Суровый, необжитой край, который местные жители, саами, называют «умптэк», что в переводе на русский означает: дважды неприступный. Киров встречался с учеными, прежде всего с академиком Александром Евгеньевичем Ферсманом. Изучал доклады исследователей, отчеты экспедиций, книги путешественников. Записывал все обнадеживающее, выигрышное. Перечитывал Ломоносова. Нашел у него пророческие строки о богатстве северных недр и выписал их — автограф сохранился в личном архиве Сергея Мироновича. Позднее, в начале 1932 года, напомнил о предвидении великого ученого ленинградским коммунистам:

— Еще Ломоносов в свое время звал на Север посмотреть, что там делается. Этот проницательный человек, который жил двести лет тому назад, сокрушался: «По многим доказательствам заключаю, что и в северных земных недрах пространно и богато царствует натура, и искать оных сокровищ некому!» «А металлы и минералы, — добавлял Ломоносов, — сами на двор не придут. Они требуют глаз и рук в своих поисках». Я думаю, что все наши просвещенные организации, начиная с Академии наук, и все практические работники должны последовать примеру Ломоносова и действительно глазами и руками прощупать все, что имеется в этом богатом и обширном крае.

Не на догадках был основан призыв, брошенный в 1932 году. Многое удалось сделать раньше, особенно в 1929 году; индустриализация прибавила стране сил, а партия уже ясно видела, что в близком будущем потребуются сельскому хозяйству удобрения во все возрастающих количествах. Нельзя дальше мириться с низкой урожайностью полей, да и уходят в прошлое времена, когда крестьянин мог довольствоваться навозом от своей сивки-бурки. Ее заменяют тракторы.

Пока в Хибинах, в тундре, где разведали запасы апатита, трудились геологи, Сергей Миронович знакомил в Москве десятки партийно-государственных работников с чудо-камнем. Как поскорее наладить добычу и переработку апатита — это обсуждалось и в ЦК ВКП(б), и в Госплане СССР, и в Комитете по химизации при Совнаркоме СССР, и в Госплане РСФСР, и в Совнархозе РСФСР, и в Экономсовете РСФСР. В ноябре это обсуждалось и на пленуме ЦК ВКП(б). Едва Валериан Владимирович Куйбышев в докладе о дальнейшем развитии

народного хозяйства коснулся производства суперфосфатов, председатель ВУЦИК Григорий Иванович Петровский нетерпеливо подал реплику:

— А про апатиты вы ничего не сказали.

Куйбышев отозвался:

— Мы имеем здесь дело с огромной находкой, которая будет иметь величайшее значение для всего нашего народного хозяйства. Качество этих самых апатитов, то есть процентное содержание фосфора, оказывается рекордным с точки зрения всех мировых запасов. Поэтому мы будем иметь находку и для нашего сельского хозяйства и для экспорта.

Все были того же мнения, что и Киров: не терять ни единого дня.

Создали трест «Апатит».

На исходе 1929 года Сергей Миронович поехал в Хибины. На месте все-таки виднее. Необходимо посоветоваться с геологами, осмотреться самому, а тогда уже решить, что лучше: то ли строить фабрику в Хибинах, то ли возить сырье в Ленинград, на туковый завод, сооруженный для переработки апатита, импортируемого из далекого Марокко.

Киров и его спутники сошли с поезда на разъезде Белом, Пересели в грузовик. Приближалась новогодняя ночь. Все тонуло в полярной мгле. Бушевала метель. Машина застревала в снегу. Не дружно вытаскивали. Она застревала все чаще, ее больше толкали, чем ехали на ней. А метель бушевала и бушевала. По воспоминаниям привычного ко всему академика Ферсмана, не было сил идти по незащищенному полю. Наконец сели в присланные розвальни. Достигли единственного жилища, домика геологов и буровых рабочих.

Полночь. Новогодняя полночь у подножия горы Кукисвумчорр, сокровищницы апатита. За самодельным столом из нестроганых досок Сергей Миронович склонился над картами и схемами. Говорили разведчики, буровики. Киров слушал, изредка спрашивал кое о чем. Все понятно. Сергей Миронович поднялся. Все говорили сидя. Он говорил стоя: из уважения к присутствующим, знаменитым и рядовым. Надо строиться всерьез. Рудник, фабрика, город. Только не разбрасываться. Не забыть о тепловой электростанции, о шоссе, кроме железной дороги.

Совещание длилось несколько часов. Наступило новогоднее утро. Метель стихала. Сергей Миронович вышел наружу. Сквозь снежную порошу увидел огромный палаточный лагерь, вышки буровых скважин, крутые взлеты величественной, мрачной, богатой горы Кукисвумчорр. Вершина утопала в снегу, в облаках.

Сергей Миронович застыл, о чем-то думая. Улыбнулся:

— Крутая гора как наука, и наука как крутая гора. Посмотришь со стороны, не взять, а осмелеешь, подойдешь поближе да начнешь взбираться, то в одном месте, то в другом сыщешь тропинку.

Тепло простившись с остающимися, пожелав удачи и счастья каждому и всем, Киров уехал.

Тот день считают днем второго рождения Хибин.

Вслед за новогодним днем пришли будни. Партия и правительство, полностью поддерживая Кирова, дали неосвоенному краю путевку в жизнь, в социалистическое строительство. В тундру прибывали строители, горняки. При свете факелов взрывали недра, прокладывали штольни, добывали руду.

1 июля 1930 года торжественно открыли движение на новой железной дороге, ведущей от. нового рудника к новой станции Апатиты.

В первый же год было добыто около трехсот тысяч тонн руды. Суперфосфатные заводы в Ленинграде, Одессе, Виннице, Вятке получили хибинскую руду.

Импорт апатита прекратили.

Наоборот, начали экспортировать советский апатит.

Первая партия его, прибывшая в Германию, произвела сенсацию: не верилось немцам, будто все, что писалось в газетах о Хибинах, не выдумано большевиками. Ведь немецкий ученый Крюгель утверждал, будто в Хибинах жить невозможно и гордые надежды большевиков ни к чему не приведут.

Как сообщалось в корреспонденции из Гамбурга, трюм советского парохода, доставившего апатит, стал местом паломничества — и конкурентов, и любопытных, и писак, тщившихся найти что-либо такое, что уличило бы советских людей в неправде.

Со всех концов Германии в гамбургский порт стекались профессора, инженеры-химики, спекулянты, биржевые маклеры, юрисконсульты и агенты фирм суперфосфатной промышленности, репортеры, фоторепортеры. Лебедкам не давали спокойно выгружать апатит в причальные баржи. В припадке апатитовой лихорадки людская лавина все запрудила кругом. Кое-кто с риском для жизни повисал над люками, разглядывая в их темных пастях сероватую руду. Желавшие пощупать апатит сбивали друг друга с ног, ползали по выгруженным горам камня.

В 1932 году Сергей Миронович вновь побывал в Хибинах. И не узнал тундру. Годовая мощность рудника перевалила за

полмиллиона тонн. Уже действовала первая очередь огромной фабрики апатитовых концентратов, К железной дороге прибавилась шоссейная. У подножия Кукисвумчорра раскинулся поселок. На берегу озера Вудъявр строился Хибиногорск. Осмотрев все, Сергей Миронович спросил, где тот домик, в котором он некогда был. Ему показали — вот там. Киров всматривался, вновь окинул взглядом поселок:

— Нет, не узнаю. Если бы меня спросили, был ли я здесь, ответил бы, что никогда не был.

Многое восхищало Кирова, но многое и огорчало:

— Все еще живете, как на походе.

Советовал строиться прочно, навечно.

Киров говорил:

— Мы во второй пятилетке покажем, что нет такого места на земле, которое нельзя было бы поставить на службу социализму.

Покоряя Хибины, советские люди покоряли и Монче, Волчью, Ловозерскую тундры. В горах Юкопор, Расвумчорр и Ипполитовых отрогах обнаружили новые запасы апатита и спутника его — нефелина, ценного сырья для множества производств. Открыли также новые месторождения железа, никеля, меди, редких металлов, слюды и других минералов. Создавался мощный промышленный комплекс, в который вошли Хибинский и Кандалакшский комбинаты, комбинат «Североникель», Беломорско-Балтийский канал, гидроэлектростанция на заполярной реке Ниве.

Руководя освоением природных богатств Севера, Киров не переставал заботиться о тысячах людей, которых партийные, комсомольские и профсоюзные организаций посылали в этот необжитой край. По свидетельству многих ученых и хозяйственников, Сергей Миронович неизменно допытывался, как получше наладить быт и прежде всего питание рабочих, как добиться того, чтобы они не страдали от сурового климата. Допытывался и действовал, требуя: насущные нужды покорителей тундр должны удовлетворяться сполна. Он поверил передовым ученым, утверждавшим, что это требование отнюдь не чрезмерно, если всерьез отнестись к северному земледелию. Поверил и поддерживал их.

Профессор Иоганн Гансович Эйхфельд, будущий президент Академии наук Эстонской ССР, считал, что заполярное сельское хозяйство своим развитием никому столько не обязано, сколько Кирову. По его предложению вопреки нареканиям рутинеров в Хибинах создали совхоз «Индустрия» с тысячами гектаров угодий и крупными животноводческими фермами.

Уже в начале тридцатых годов коллектив новаторов,

возглавляемый Эйхфельдом, выращивал в совхозе и помидоры, и огурцы, и картофель, и цветную капусту, и морковь, и щавель. За Полярным кругом рабочие получали свои, местные, свежие овощи, а также молочные продукты.

Сбылось то, что многим представлялось непростительной вольностью воображения.

4

Выдающийся советский ботаник и агроном, академик Николай Иванович Вавилов писал:

«Киров был первым, кто не только ясно осознал необходимость одновременного развития промышленности и сельского хозяйства Севера, но и возглавил борьбу за создание социалистического земледелия в Ленинградской области».

Сельское хозяйство и промышленность Ленинградской губернии, преобразованной в область, были совершенно несоизмеримы, несравнимы по своему значению для страны.

Как писал Вавилов, нигде в царской России разрыв между промышленностью и сельским хозяйством не был столь огромен и нелеп, как в Ленинградской области. В дореволюционное время деревня здесь была заброшенной, нищей. Отставала она и в советские годы. Даже крестьянам в некоторых районах своего хлеба хватало лишь до января-февраля.

Сергей Миронович с первых недель и месяцев работы в Ленинграде глубоко изучал деревню, и это дало свои плоды, особенно в пору, когда бурно развернулась коллективизация.

На этом фронте четко проявились важнейшие черты Кирова как партийного руководителя-ленинца. Он любил и умел работать в быстром темпе. Порой к этому побуждали не столько свойства его характера, сколько обстоятельства. Но и тогда поспешность была чужда Сергею Мироновичу. Он не допускал ничего противоестественного, противоречащего ленинским заветам. Киров однажды сказал секретарю обкома Чудову:

— Нельзя таскать людей на аркане в рай.

В марте 1930 года, на пленуме обкома и областной контрольной комиссии, Киров, хотя и в других словах, недвусмысленно повторил это:

— Вот когда тут товарищ сказал, что во всех документах ЦК подчеркивалась мысль, что мы колхозное движение строим на добровольных началах, то как будто бы вздох вышел. А как же вы думали иначе? Вы думали, что колхозное объединение можно

построить на принудительных началах?

Он добавил: если на пленуме имеются перегибщики — бегуны за процентами, по его выражению, то пусть запомнят, что ценен лишь крепкий процент, настоящий, действительно социалистический, действительно организованный. Из показателей, хотя и высоких, но добытых неподходящим способом, построенных не на железобетоне, а на киселе, ничего не выйдет. Все развалится и будет лишь дискредитировать дело.

Коллективизация проводилась в Ленинградской области иначе, чем во многих других местах. Размер вовлечения крестьянских хозяйств в колхозы, или процент коллективизации, выглядел очень скромно.

В 1934 году, когда опыт передовых колхозов стал все сильнее привлекать единоличников, пошли навстречу их тяге к артельной жизни. Тех, кто все еще колебался, убеждали. Тем, у кого решение уже созрело, помогали: в частности, облегчили вступление в колхозы единоличникам, которые разбазарили свое крестьянское добро, но осознали ошибку и захотели честно трудиться в коллективе. Колхозы принимали этих единоличников без лошади, без семян.

На 1 января 1931 года — 6,6 процента
На 1 января 1932 года — 45,1 »
На 1 января 1933 года — 45,4 »
На 1 января 1934 года — 54,2 »

На 1 октября 1934 года было вовлечено в колхозы уже 65,7 процента крестьянских хозяйств области.

Все это никак не означает, что у Кирова были какие-то свои взгляды на колхозное движение, обособленные от общепартийных взглядов. Ничего похожего. Киров в точности придерживался выработанной при его участии генеральной линии партии, каждодневно помня наказ Ленина: крестьян, особенно середняков, можно и должно перевоспитывать только очень длительной, медленной, осторожной организаторской работой, а насилия в отношении трудящихся-единоличников при создании колхозов недопустимы.

В течение 1931 года ленинградские большевики вовлекли в колхозы всех, кто был раньше подготовлен к совместному социалистическому труду, — коммунистов, комсомольцев, сельсоветских активистов и остальных передовых крестьян.

Затем, не позволяя себе идти напролом, закрепляли достижения. Давалось это трудно, в острой борьбе против бухаринско-рыковских оппортунистов и их подголосков.

Естественно, проводя такое сложное дело, как коллективизация, и ленинградцы допускали ошибки. Некоторые из них быстро устранялись, и навсегда, некоторые повторялись. Но издержки были гораздо меньшими, чем в других местах. Когда из-за перегибов и кулацких махинаций животноводство в годы коллективизации почти всюду понесло урон, Ленинградская область пострадала не очень круто. В начале 1934 года Киров говорил об этом, приводя некоторые сведения. Например, он отмечал, что в 1933 году поголовье скота выглядело так в процентах к 1929 году:

	Всего по СССР	По Ленинградской области
Лошади . . .	48,8	57,7
Крупный рогатый скот .	56,7	85,2
Овцы	34,4	87,2
Свиньи	58,4	233,7

Количество, свиней по Ленинградской области не только не снизилось, но возросло, в два с лишним раза возросло.

Что касается остального поголовья, то львиная доля урона падала не на колхозы, а на единоличников, — скот резали, продавали по наущению кулачества.

Ленинградцы постепенно развивали коллективизацию. Развивали с терпеливостью, совершенно необходимой, если считаться хотя бы с привязанностью крестьян — прежде всего опять-таки середняков— к своему хозяйству. Ведь именно об этом напоминало написанное Лениным решение VIII съезда РКП(б):

«Чрезмерная торопливость в этом деле вредна, ибо способна лишь усиливать предубеждения среднего крестьянства против новшеств».

Развитие сельского хозяйства наталкивалось на такую трудность: укрепилось мнение, будто земледелие в Ленинградской области лишено серьезных перспектив, будто почвы здешние неплодородны. Кирову приходилось убеждать и партийную организацию, и сельскохозяйственных работников, и крестьян:

— В отношении нашей области мы привыкли считать, что мы, дескать, живем в сыром, болотистом крае, где в лучшем случае растет клюква или другая болотная ягода. Но это все только на первый взгляд. Совершенно неправильно думать, что природные

условия нашей области будто бы таковы, что она не сможет сама удовлетворить свои потребности в сельскохозяйственной продукции.

По воспоминаниям десятков ленинградских работников, для них было подлинным открытием, что не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве области таятся огромные богатства. Было открытием, когда Киров опровергал взгляды, считавшиеся незыблемыми:

— Многие еще думают, что зерно у нас в области производить невозможно и не следует. Я с этим решительно не согласен.

Было открытием, что область, не страдая от засух и суховеев, имеет даже преимущества перед хлебными краями. Действительно, на ленинградских землях урожайность злаков была устойчивей и в среднем за несколько лет гораздо выше, чем в черноземной полосе и на юге страны, — Киров неопровержимо доказывал это с цифрами в руках, опираясь на исследования ученых. Было открытием, что вопреки канонам целесообразно выращивать пшеницу, — Киров настаивал на этом. Было открытием, что, если партийная организация наляжет на сельское хозяйство, крестьянству области вскоре не понадобится ни единый пуд завозного хлеба, — в этом заверял всех Киров.

В 1933 году Сергей Миронович мог поделиться своей радостью с делегатами съезда колхозников-ударников:

— Если бы нам сказали годов пять тому назад, что в Ленинградской области мы не только сельское хозяйство, вообще говоря, будем успешно развертывать, но будем выращивать такую культуру, как пшеница, — мы вряд ли поверили бы… Оказывается, что наша ленинградская пшеница лучше южной пшеницы. Вы побывали в других краях, укажите мне край, где можно было бы получать двести пудов с десятины по пшенице, а мы у себя в северных районах получаем.

Тогда же, в 1933 году, ленинградская деревня впервые в истории полностью обеспечила себя хлебом до будущего урожая, да еще заготовила некоторое количество зерновых культур для городского населения.

Уже ясно определилось, в каком направлении должно развиваться сельское хозяйство области: лен, зерно, картофель, овощи, корма, молочное животноводство, свиноводство. Но одну отрасль сельского хозяйства недооценивали:

— Когда мы говорим о свиноводстве, об этой породе скота, то как-то всегда появляется веселая улыбка на лицах… Эту почтенную особу нужно взять под самое высокое партийное руководство…

В пору продовольственных трудностей Сергей Миронович все чаще требовал, чтобы, по его выражению, все надежды и вожделения обратили на животное, которое из ругательного нужно переименовать в почтенное и которому коммунисты должны посвятить свое партийное внимание. Выступая перед партийными активистами, он, не грех сказать, вдохновенно хвалил свинью за ее плодовитость:

— Если эту невзыскательную скотину поставить в сколько-нибудь подходящие советские условия, то в отношении всех возможностей ее размножения, о которых я вам говорил, дело пойдет гораздо дальше, чем это кажется возможным на первый взгляд.

Свиноводство развивалось. Это выручало ленинградских рабочих в долгие месяцы, когда продовольственные поставки из других областей слабели.

Туго было с. картофелем, с овощными культурами, и Киров говорил ленинградским коммунистам:

— Пройдет еще годик, может быть нам привезут огурцы из ЦЧО[2], из Дагестана, а потом и скажут: «Пора и честь знать. Никто вас кормить огурцами, хотя вы и почтенные и очень уважаемые строители социализма в Ленинграде, не будет, никто вам за тысячи верст огурцы возить не будет».

В последнем году жизни Кирова колхозы области дали Ленинграду в четыре раз больше овощей, чем давали до первой пятилетки, картофеля — в десять раз больше. Сергей Миронович был уверен, что года через два-три нужда в завозе всего этого извне отпадет.

Колхозы не могли успешно развиваться без помощи города. Киров многое сделал, чтобы изжить высокомерное отношение горожан к сельскому хозяйству — индустриальное чванство, по его выражению. Он высмеивал людей, которые охотно откликаются лишь на зов крупных строек и заводов:

— А вот когда дело доходит до свиноводства, огородничества, до посева трав, до того, чтобы капусту сажать, огурцы разводить, — тут дело поворачивается уже совсем иначе, тут, когда подходишь к человеку с подходящим стажем, с большевистской выдержкой, с фабрично-заводским опытом и когда ему намекаешь насчет свиноводства, он нос воротит очень далеко: «Это дело не наше». И если приходится подбирать соответствующих людей и посылать их в какое-нибудь объединение, скажем, «Союзмолоко», то тут сплошь и рядом слышишь в ответ, что, мол, извините, все что угодно, но коров доить — это ниже моего достоинства.

Киров не переставал внушать горожанам, что работа в

деревне ничуть не менее почетна и даже более важна, чем на фабрике, заводе, стройке гиганта.

Секретарь обкома ВКП(б) Петр Андреевич Ирклис рассказывал, что он осенью 1934 года по заданию Кирова подытоживал проделанное в деревне за несколько лет. Итоги радовали. Но очень значительны были и неиспользованные возможности, упущения. Обратив внимание именно на это, Сергей Миронович пришел к суровому обобщению: от приятных цифр кое-кого клонит к дреме, к самоуспокоенности. 10 октября он, выступая на пленуме обкома и горкома ВКП(б), взволнованно говорил о недостатках партийного руководства сельским хозяйством, о вреде самоуспокоенности. На всех произвела исключительно сильное впечатление речь Кирова и особенно его призыв:

— Нужно, чтобы нам в повседневной практической работе всегда сопутствовала большевистская, честная, благородная внутренняя тревога за дело партии.

5

Когда в начале тридцатых годов возросли продовольственные трудности, Киров часто занимался неполадками и в заготовках и в рабочем снабжении. Если было плохо, он с обычной, своей прямотой обрисовывал обстановку, призывая к действию:

— Я должен сказать, что на сегодняшний день, на завтрашний день существенного улучшения продовольственного положения рабочих не будет, для этого нет реальных объективных данных. Но, товарищи, это не значит, что нужно сидеть сложа руки, это говорит об обратном, о том, что нужно нажимать на это дело, как только можно.

Особенно показательно выступление Сергея Мироновича на пленуме Ленинградского обкома партии в октябре 1932 года. Решалось, как устранить недочеты, нелепости и безобразия в рабочем снабжении.

— Если по-честному сказать, то мы рабочим снабжением занимаемся тогда, когда у нас получается прорыв на том или другом участке… Я берусь доказать где угодно, что это так… Я думаю, что йсе-таки пленум довольно самокритично обсуждал этот вопрос, но какая-то либеральность в этом вопросе тем не менее проглядывала. Скажем, так: на кооперацию мы навалились всею тяжестью, торги наши государственные мы тоже обстреливали достаточно, советские власти — уже осторожнее, а о наших партийных учреждениях, в том числе обкоме партии,

говорят больше положительного, а об отрицательном говорят маловато. Это неверно. Вопрос рабочего снабжения нужно ставить в лоб и говорить, что, если есть соответствующий прорыв на этом участке, за это отвечают все, в том числе то высокое собрание, которое тут присутствует. К сожалению, повторяю, рабочим снабжением даже более «высокие сановники» занимаются так: едешь по своим на пятьдесят процентов бюрократическим делам и видишь — стоит очередь, раз проехал — очередь, второй раз — очередь, десять дней проезжаешь мимо — очередь, и тогда поднимаешь вопрос.

Сергей Миронович отметил, что снабжению очень мешает уравниловка, которую следовало устранить еще года два назад. Не менее вредно и бездумье в мясозаготовках. Особое внимание Киров обратил на снабжение ленинградцев хлебом:

— Когда здесь говорили о хлебе, я не знаю, как другие, но я себя чувствовал очень плохо, должен это сказать по совести. Есть хлеб или нет, чтобы прокормить рабочих, работниц и все трудящееся население Ленинграда? Безусловно, есть, и тем не менее что получается? Получаются тысячные очереди. В чем дело? Хлеба не хватает? Пекарен не хватает? Кое-где не хватает. Но я не знаю, даже слов нет выразить, — конечно, механизированный завод по последнему сло-ву техники в два дня не сделаешь, но чтобы нельзя было в сравнительно короткий срок разрешить вопрос хлебопечения хотя бы кустарным способом — этому я не поверю… Выступили два ведомства и до сих пор не могут определить, сколько хлеба надо дать… Пока этот спор разрешается, пока наши бюрократы и бухгалтера будут подсчитывать, пока они эти цифры подытоживают и согласовывают, очереди продолжаются… Давайте вот просто, для примера, условимся все здесь сидящие в течение ближайших дней ликвидировать очереди и поднять это дело… Нужно, товарищи, сказать, что тут есть отрыв, мы перестали быть настолько чуткими, насколько мы должны быть чуткими к нуждам рабочего, его снабжению и быту. Это факт. Вы скажете, что это чересчур, но это так…

Киров, волнуясь, говорил о хищениях, о равнодушии работников к хищениям и прочим безобразиям:

— При таком отношении к нашему делу, к нашему рабоче-крестьянскому добру никогда ни черта не получится, никаких аппаратов мы не сумеем перестроить и вообще ничего не сумеем сделать. Если товаров нет, если не вовремя привезли или если в совхозе начался мор кроликов или свиней, нужно, чтобы ты, мерзавец, ночи не спал и дрожал за это добро. Этого надо добиться. А у нас, видите ли, ночи не спят в том случае, если о

тебе что-либо в газете на-писали, как-то изобразили, чуть ли не оппортунистом назвали. А он на самом деле оппортунист, но только не формальный. Вот он мечется, с боку на бок переворачивается, утром придет в Смольный и заявляет, что нельзя работать, описали на всю страну… Работа у него хромает на обе ноги, в этом он не разобрался, работа не ладится — это пустяки, пока его персоны ничем не затронули…

Заканчивая выступление, Киров говорил:

— Сейчас и поросенок, и кролик, и малая живность, которыми мы должны питать рабочих, все это нисколько не имеет меньшего значения, чем любой Магнитогорск, Я уверяю вас в этом совершенно определенно,

6

При встречах с людьми Сергей Миронович обычно на разные лады осведомлялся об одном и том же: как живете, как работаете? Было хорошо известно, что это не только дань вежливости. Кирова действительно интересовали работа, быт, радости, невзгоды всех честных тружеников, с которыми приводилось общаться, и тысяч, сотен тысяч, миллионов советских людей. Забота о людях была его внутренней потребностью. Он с увлечением занимался самыми что ни на есть прозаическими делами, в частности нуждами коммунально-бытового хозяйства, и много сделал для обновления города Ленина.

В 1931 году ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР приняли решение о реконструкций Ленинграда, и душой развернувшегося строительства был Киров. Он призывал архитекторов, строителей до тонкостей овладеть наследием прошлого, умножать его и в то же время критиковал пустое оригинальничание, модернистское штукарство. Осмотрев новостройки Крестовского жилищного массива, Сергей Миронович огорчился:

— Надо хорошенько прочистить мозги всяким загибщикам, у которых не разберешь, что они предлагают, — где должны быть окна, где двери…

Критиковал Киров и работников, увлекающихся гигантоманией, но забывающих о повседневных, насущных нуждах города, населения:

— Я, грешный человек, думаю, что, если мы хотим по-настоящему преобразовать Ленинград, то должны дело так поставить, чтобы, куда ни посмотришь, чувствовалось во всем, что кипит напряженная работа, а у нас этого пока что нет: то мы ждем, пока снег растает — нельзя мостовые чинить; но вот снег растаял, снега нет, будто бы все в порядке, а мы все ждем, планируем, а посмотрите на наши мостовые вплоть до Невского — на хороших улицах шашки понемногу вываливаются, а мы ходим около этого дела с большими портфелями под мышкой и спрашиваем: где генеральный план реконструкции всего города?

А чтобы попробовать эти шашки на место поставить — этого нет.

У рабочих, у членов их семей узнавал Сергей Миронович, что им нравится и что не нравится в городском хозяйстве, что терпимо пока и что требует немедленного улучшения. Он

неизменно советовался и с архитекторами, и с художниками, и со строителями, и с коммунальниками, и с другими специалистами, как побыстрее устранять недостатки. На социалистическую реконструкцию города он поднял всю партийную организацию. Нужды и трудности жилищ-но-коммунального и культурно-бытового фронта не сходили с повестки дня и в бюро обкома и горкома ВКП(б), и на пленумах, и^в комитетах комсомола, и в коммунистических фракциях советских, профсоюзных, хозяйственных, кооперативных организаций.

Уже в 1932 году ленинградские рабочие получили полмиллиона квадратных метров новой жилой площади. Мощение улиц, прокладка водопроводных сетей и трамвайных путей, ремонт старых домов и озеленение, производство строительных материалов и машин — объем всех работ возрос вдвое, втрое, вчетверо, а то и в пять-шесть раз по сравнению с 1931 годом.

При жизни Кирова реконструкция Ленинграда длилась лишь три года. Срок небольшой. Но ленинградцы за этот срок, кроме Крестовского, возвели Батенинский и Бабуринский жилищные массивы. В рабочих районах, запущенных и вечно грязных при царизме, не осталось незамощенных, неосвещенных улиц. Трамвайные и автобусные линии связали самые отдаленные уголки окраин с центром. Невская, Нарвская, Московская заставы, Выборгская и Петроградская стороны, Васильевский остров поистине преобразились. Они обогатились прекрасными домами культуры, школами, фабриками-кухнями, универмагами, фабриками-прачечными, кинотеатрами, лечебницами. Были сооружены Центральный парк культуры и отдыха, стадион имени Ленина. Проспекты — Международный, Карла Маркса, Лесной, Газа, Пролетарской победы — превратились в отличные магистрали.

— У нас, например, ленинградские рабочие говорят, что в Ленинграде остались старыми только славные революционные традиции петербургских рабочих, все остальное стало новым.

В этих словах Кирова из его речи на XVII съезде ВКП (б) не было преувеличения.

7

Член Политбюро, избранный в 1934 году секретарем ЦК ВКП(б), член президиума ЦИК СССР, Киров был одним из виднейших вдохновителей и организаторов социалистического строительства.

В 1926–1934 годах Сергей Миронович участвовал в разработке и осуществлении важнейших общепартийных и государственных решений, благодаря которым Советский Союз, следуя ленинским заветам, стал в кратчайший срок экономически независимой и цветущей индустриальной державой, несмотря на неимоверно сложную обстановку, вызванную и естественными трудностями, и внутрипартийной борьбой, и постоянной угрозой нападения империалистических клик. Все достигнутое за эти годы великих свершений и в народном хозяйстве, и в обороне страны, и в ее культурной жизни, и в здравоохранении, и в международной политике Советского правительства неразрывно связано с именем Кирова.

За советом и содействием к Сергею Мироновичу часто, обращались товарищи, с которыми он прежде работал, которыми некогда руководил, — и секретарь ЦК Компартии Белоруссии Гикало, и секретарь Казахстанского крайкома Мирзоян, и секретарь Кабардино-Балкарского обкома Калмыков, и начальник Магнитостроя Ильдрым, и начальник Азнефти Серебровский. Азербайджанские, грузинские, армянские работники, случалось, после неудачной командировки в Москву на обратном пути делали крюк в шестьсот с лишним километров, чтобы выложить Кирову свои служебные горести:

— Помоги, Мироныч.

Обращались и незнакомые — с годами большевики всей страны, все советские люди узнали Кирова, увидели в нем исключительного по масштабности партийного деятеля, до конца отдающего свои способности, свой опыт, свое сердце строительству социализма, нуждам страны, народа. Обращались партийно-советские работники, хозяйственники, ученые. Из республиканских, краевых, областных организаций. Со строек, из больших и малых городов. Обращались как к члену Политбюро или просто потому, что он Киров. Было известно — он охотно вникнет в любую проблему, правильно всех поймет. Скажет; да, проблема серьезная, — считай, что все препоны рухнули. Скажет: нет, преждевременно или нецелесообразно, — убедит в этом неопровержимо. А то предложит тебе что-либо свое, совершенно неожиданное, такое, до чего сам ты вовек бы не додумался. Заместитель наркома тяжелой промышленности Иосиф Викентьевич Косиор, будучи в 1933 году на Дальнем Востоке, удивлялся, слыша то и дело: Киров, Киров. Оказалось, с чьей-то легкой руки местные работники со своими нуждами нередко обращались в Смольный, и Киров всячески помогал развитию молодой индустрии далекого края. В конце ноября 1934 года в Смольный поступила телеграмма из Орджоникидзе: пленум

горсовета благодарил Кирова за постоянную помощь этому городу. Прочесть телеграмму Сергей Миронович, кажется, не успел.

Крупный и многогранный политический деятель, Сергей Миронович был подлинным трибуном партии и народа. Оратор всепокоряющей силы, он захватывал любую аудиторию. Старые ленинградские рабочие вспоминают: позови Мироныч с трибуны куда угодно, на подвиг, в бой, за ним пошли бы, не мешкая, без сомнений и страха, прямо от станка, из клуба, дворцового зала или из Смольного. Будь то в Москве, на общепартийных съездах и конференциях или пленумах ЦК ВКП(б), будь то в Ленинграде, среди коммунистов или комсомольцев, рабочих или колхозников, — выступления Кирова имели всесоюзное значение. Они находили отклик повсюду. Их влияние было очень велико.

Киров говорил:

— Чем крепче, чем шире мы будем внедрять во все звенья нашего огромного партийного организма, во все звенья нашего огромного советского аппарата принципы ленинизма, тем тверже, тем надежнее пойдет наше движение вперед по укреплению и расширению позиций социализма.

Доклады и речи Кирова, чему бы ни были они посвящены, всегда и прежде всего служили торжеству принципов ленинизма.

Основу воспитания не только коммунистов, но и комсомольцев, миллионов трудящихся Киров видел в овладении марксизмом-ленинизмом.

— Еще раз и еще раз повторяю, глубокую ошибку сделаем мы, если будем думать, что чем ближе к победе, тем меньше мы нуждаемся в марксистско-ленинской теории.

Овладение теорией ни в коем случае не должно быть отвлеченным, начетническим.

— Можно знать наизусть азбуку коммунизма, но если она у тебя не лежит в сердце, ничего не выйдет, ты будешь псаломщиком коммунизма, а не бойцом. Если ты хочешь быть живым коммунистическим борцом, ты должен со всей большевистской яростью ополчиться против тех недостатков, которые тормозят наше строительство.

Как немыслимо большевистское воспитание вне творческого овладения марксизмом-ленинизмом, так немыслимо оно без революционной критики и самокритики.

— Каждый с пеленок знает критику и самокритику, но надо понимать, какую критику должно осуществлять… Нам нужна критика революционная, которая бы в результате обязательно имела за собой действие, чтобы эта критика была направлена в точку, а не в воздух. Другими словами, наша критика должна

воспитывать. Критика и самокритика — это дело не одного месяца или одного года, ею мы будем заниматься до тех пор, пока не войдем в царство коммунизма.

Далее:

— Преступником будет каждый из нас, кто по тем или иным соображениям станет рассуждать, что вот, мол, неудобно говорить, я лучше помолчу, не буду критиковать. Надо по-честному, по-большевистски, прямо глядя в товарищеские, коммунистические очи, сказать: «Ты, милый человек, запоролся, запутался. Если ты сам не поднимешься, я тебе помогу. Если нельзя за руку поднять, за волосы подниму. Я сделаю все, чтобы тебя исправить, но если ты, милый человек, не исправишься, то пеняй на себя, тебе придется посторониться».

Годы работы Кирова в Ленинграде, как и в Баку, были годами повседневного воспитания строителей социализма, партийных и непартийных, руководителей и рядовых.

Чудов, второй секретарь обкома, член ЦКВКП(б), сложился как видный партийный работник еще до 1926 года и тем не менее, по собственному его убеждению, никому столько не обязан был в жизни, сколько Сергею Мироновичу, — всегда чувствовал его дружескую руку воспитателя. Эту дружескую руку чувствовала вся ленинградская партийная организация. Кирову был дорог каждый настоящий коммунист, каждый хороший партийный работник. Киров умел вовремя поощрить работника и, если надо, вовремя поправить его. Хвалил не захваливая. Критиковал, не давая ни малейшего повода обидеться. Порой в упреке слышались похвала и признательность за все полезное, толковое, что предшествовало ошибке, промаху:

— От вас я этого не ожидал…

Бывает, люди стараются скрыть свои недостатки и оплошности, а Кирову их выкладывали по личному побуждению, как рассказывал секретарь горкома Александр Иванович Угаров. По словам секретаря райкома Петра Алексеевича Алексеева, у него в сложные часы и дни прибавлялось воли и бодрости от одного сознания, что в Смольном есть Киров, справедливый, доброжелательней Киров, который, всегда тебя поймет, охотно и крепко поддержит. Это повторяли, каждый по-своему, многие партийные работники, уверяя: Сергей Миронович зачастую понимал их лучше, чем сами они себя понимали. Начальник политуправления Ленинградского военного округа Иосиф Еремеевич Славин, чуть что у него не ладится, задумывался: как поступил бы Мироныч?

С Кирова брали пример, на него равнялись, у него учились, за ним шли. Партийная организация Ленинграда росла, закалялась.

Она была зрелой, сильной, щедрой. Ее называли кузницей кадров. Когда развертывалась коллективизация, по призыву партии в деревню послали отряд передовых рабочих, главным образом коммунистов, — двадцатипятитысячников. Каждый пятый из них был ленинградец. В МТС и совхозах создали политотделы, и в них почти повсюду работали посланцы Ленинграда. В политотделах на транспорте — тоже. В райкомах и обкомах партии — тоже.

Киров сроднился с ленинградскими рабочими, преклонялся перед их трудовым героизмом, жертвенностью во имя победы ленинизма. Но не заигрывал с ними, всегда говорил им правду, и если необходимо — правду, колющую глаза. Рабочие видели в нем друга. Между ним и рабочими не было никакого расстояния.

Клуб. Киров опаздывал, что случалось редко. Когда он показался, раздалось:

— Ай да секретарь, полчаса прождали.

Он, торопливо шагая по проходу в зале, бросил:

— Конечно, бюрократизм, боремся, но еще не совладали с ним!

Аплодисменты проводили Сергея Мироновича до самой трибуны.

Профсоюзная конференция во Дворце труда. Едва Киров приехал, делегаты попросили его выступить. Он был, вероятно, очень утомлен, слова произносил медленно, ровно. Его прервали из глубины зала:

— Мироныч, веселей!

Заскрипели стулья, кругом зашикали. Все искали взглядом того, кто позволил себе эту вольность. Киров же на миг замолчал, улыбнулся. И как бы заново начал речь. Она стала теплой, искристой, кировской.

В начале февраля 1933 года, после пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), Киров прямо с вокзала отправился на «Красный путиловец». За два месяца завод должен был выпустить триста тысяч поршневых колец, позарез нужных для ремонта тракторов к весеннему севу. Но еле-еле давал шестьдесят тысяч в месяц. Сергей Миронович беседовал и с хозяйственниками, и с партийными вожаками, и с инженерами, и с рабочими на цеховом участке поршневых колец. Судили-рядили. Толку никакого. Программу не осилить. Прощаясь, Киров попросил еще и еще раз поразмыслить, как быть:

— Знаете, товарищи, ведь я обещал Политбюро и правительству, что Ленинград выполнит программу по запасным частям.

Он ушел, но незримо присутствовал. Задание разбросали по разным участкам. Где брали тем, что к новичкам приставили

умельцев. Где тем, что ночами у станков стояли мастера. Где выручала смекалка. Где возвратили кое-кого из отпуска. Где тем брали, что лучшие токари по нескольку суток не покидали завод.

Отгрузку трехсот тысяч поршневых колец закончили досрочно, 28 марта.

Киров очень высоко ценил передовых рабочих, которые, как путиловцы, всегда готовы к трудовым подвигам. Далеко не безразличны были ему и честные труженики, которые, терпя лишения, падали духом, поддавались отсталым взглядам, вредным влечениям, как произошло на фабрике «Красная нить», В цехах почти сплошь женщины. Они устали от нехваток, от бытовых неурядиц. Самые несознательные, строптивые, крикливые разжигали среди подруг недовольство, безрассудно подбивали их на шкурническую забастовку. Казалось, позорная, преступная забастовка неминуема. Казалось, не обойтись без крутых мер. Но в Смольном был Киров:

— Случается, с женщинами нужно толковать по-женски.

Вмешательство извне ограничилось лишь тем, что руководителей фабрики, мужчин, заменили выдвиженками. Доводы, внушения, увещевания этих вчерашних цеховых работниц образумили недовольных, уняли безрассудных. В цехи «Красной нити» возвратились спокойствие и порядок.

Позерн, свидетель множества подобных решений-находок Сергея Мироновича, безболезненно сводивших на нет всяческие осложнения, говорил:

— Он понимает даже тех, кто опускает руки перед препятствиями, кто пасует перед трудностями, и он находит мысли и огненные слова для того, чтобы победить эту усталость, чтобы сломить это уныние или отчаяние, чтобы опрокинуть временно возникшее недовольство и повести людей вперед во имя того дела, в правильности, законности, величии которого он уверен до глубины души, до последнего нерва своей мощной, исполненной неукротимой энергии натуры.

8

Киров был тесно связан с молодежью, с комсомолом. Комсомол Сергей Миронович считал основным помощником партии:.

— Самой лучшей, самой надежной, самой революционной школой для нашего подрастающего поколения является комсомол.

Заслугам комсомола в день его пятнадцатилетия, осенью 1933 года Сергей Миронович посвятил вдохновенную речь:

— Товарищи, я думаю, что едва ли мы располагаем нужным арсеналом слов для того, чтобы полностью изобразить героическую пятнадцатилетнюю историю нашего комсомола. Я говорю это не потому, что сегодня у нас праздник, не потому, что юбилярам принято говорить только хорошее, — нет, а потому, что всей своей борьбой, всем своим существованием комсомол действительно вписал в историю высокие, героические, подымающие, возвышающие трудящееся человечество страницы.

Он и в праздник не поскупился на критику недочетов комсомольской работы, как в будни не скупился на похвалы коммунистической молодежи, сочетая справедливую оценку достоинств со строгой требовательностью:

— Мы не найдем людей с большим самопожертвованием, чем наше подрастающее поколение. Но это не дает нам права закрывать глаза на наши недостатки.

Недостатков было немало. И ухарство, которым «новая оппозиция» сумела заразить определенную часть комсомольцев. И пренебрежение к учебе, главному ленинскому завету. И увлечение танцульками.

— Нам нужна мобилизация всех сил партии и комсомола, чтобы воспитать настоящих ленинцев. Надо так поставить воспитание, чтобы оно гарантировало нас от какого бы то ни было обволакивания буржуазными предрассудками, чтобы не разжижались мозги нашего подрастающего поколения.

И на предприятиях отнюдь не вся молодежь шла вровень с лучшими тружениками.

— Надо сделать комсомольца действительно передовым рабочим на фабрике и заводе. Если мы этого не сделаем, я скажу прямо, мы поставим под угрозу всю нашу дальнейшую работу. Если мы не найдем средств и возможности поставить воспитание комсомола таким образом, чтобы на фабриках и заводах они служили образцом, то дело социализма окажется под большой угрозой.

Ответом на внимание Кирова была и возросшая тяга юношей и девушек к знаниям, и молодежные ударные бригады, и самоотверженная работа на производстве.

Строилась в Ленинграде электростанция «Красный Октябрь». Импортные водотрубные котлы такой мощности, каких в СССР еще не видывали, монтировала германская фирма «Бютнер». Она прислала своих, специально подготовленных рабочих. Сборка каждого из первых двух котлов длилась пять с половиной месяцев. Долго. Немцы считали, что ускорить работу нельзя.

Сергей Миронович подал мысль: пора юным ленинградцам поучиться у немцев да посоперничать с ними. Выполнить ударное задание взялась бригада в двадцать юношей. Они смонтировали три котла, потратив на каждый лишь два с половиной месяца. Технический директор фирмы признал работу советских монтажников безукоризненной. Успех был столь серьезным, что о нем на очередном пленуме ЦК ВКП(б) рассказал Куйбышев.

О возникновении и буднях известной некогда молодежной бригады турбостроителей недавно напомнила «Комсомольская правда» в статье Петра Ивановича Старосельцева:

«Песня о «Встречном» — песня моей комсомольской юности.

В то время я только пришел на ленинградский Металлический завод. «Даешь энергию!», «Даешь лампочку Ильича!» — этот клич из тысячекилометровых далей громче всех был слышен в наших цехах… Мы выдвинули свой встречный план, значительно превышающий государственное задание.

Однажды меня вызвали в цеховой комитет ВЛКСМ.

— Ты знаешь, что одна из турбин в прорыве? — спросил меня секретарь Яша Цвик. — Так вот, — продолжал Яша, — комитет комсомола решил организовать ударную молодежную бригаду на сборке этой турбины. А тебя рекомендуем бригадиром…

— Да как же так, Яша? Смогу ли?

— Сможешь. Всем заводом будем помогать.

Работали тогда на сборке слесарями четверо моих друзей, Борис Левин и трое Алексеев: Забалуев, Корсаков и Ермаков. Поговорил я с ними, а на другой день уже весь завод знал, что в сборочном создана первая ударная молодежная бригада… Некоторые скептики не верили: «Молодо-зелено, провалят дело».

А мы вечером после работы поехали на завод «Русский дизель», представились в комитете комсомола и прямо так и рубанули: что же вы, такие-раз-этакие, подводите нас, литье не даете?

Они на дыбы: как так? Не может быть! Побежали куда-то проверять. «Ваша правда, — говорят, — срочно примем меры. Сегодня вечером литье будет». И точно, пока мы ходили ужинать, привезли литье. Обрадовались мы. Чуть не в пляс припустились. Такая победа. Но только Борис Левин говорит:

— Эх, хорошо бы к утру иметь готовые шаровые вкладыши.

Яша Цвик — он тоже здесь оказался — предложил:

— А давайте сходим к Максимову. Может, согласится выйти в ночь.

Замолчали ребята. Токарь Максимов был старым производственником, опытным мастеровым, но еще дореволюционной закваски. Все секреты держал при себе, ни с

кем не делился и всегда в сторонке держался. Согласится ли? Э, была не была, пошли! Два часа упрашивали, убеждали. Наверное, весь курс политграмоты перед ним выложили. Уломали. К утру вкладыши были готовы.

Установили мы цилиндр, отцентровали. И снова загвоздка — нет дисков, которые должен дать Путиловский завод. Нарядили мы снова комсомольскую делегацию, но не тут-то было».

Путиловцы соглашались помочь молодым турбостроителям лишь после того, как выполнят свой план. Бригада Старосельцева обратилась к Кирову:

«Принял он нас. Внимательно выслушал.

— Хорошо, — говорит, — буду я завтра на Путиловском, разберусь.

Два дня прошло. Мы уж, честно говоря, и ждать перестали, хотели снова ехать на Путиловский, вдруг звонок оттуда.

— Что же вы, — говорят, — Сергею Мироновичу на нас нажаловались?

— Ладно, — говорим, — хватит разговаривать. Диски присылайте…

— Да, они уже, наверное, у вас. Сегодня после обеда отгрузили…

И вот он наступил, последний день года. Утром мы предъявили директору, мастерам собранную турбину.

Нас поздравляли, жали руки, обнимали, а вечером в Выборгском доме культуры должен был состояться вечер, посвященный выполнению плана.

Когда уже все разошлись, решили мы еще раз испытать турбину. Поставили ее на стенд, пустили пар. Стала она набирать обороты. И вдруг — бабах! Выбило фланец. Тугая струя пара ударила в стену.

И в этот момент трогает меня вдруг за рукав Леша Корсаков:

— Смотри!

По пустому цеху, между станками, прямо к нам шел Сергей Миронович Киров.

Все-таки я успел схватить рукоятку и перекрыть пар.

— Вы что здесь делаете? — строго спросил нас Киров. — Весь завод на празднике, а вы в цехе.

— Да вот, — объясняем, — решили еще раз попробовать турбину, а тут фланец вырвало.

— Ну что ж, исправляйте, — говорит, — я зайду в другие цехи, а на обратном пути снова буду у вас, и чтобы все было закончено. Поедем вместе в Дом культуры.

Через полчаса, уже в присутствии Сергея Мироновича, мы снова дали пар. Турбина пошла все быстрее и быстрее. И когда

количество оборотов достигло двух с половиной тысяч, он улыбнулся и помахал рукой:

— Можете останавливать. Все в порядке.

Так подарили мы стране первую комсомольскую турбину.

А вскоре был снят фильм «Встречный». Мы узнавали в нем все — и историю турбины, и старого мастера, взятого «на — переплавку» молодыми, и наш комсомольский натиск, радость, труд. Нашею стала и песня:

Не спи, вставай, кудрявая.
В цехах звеня,
Страна встает со славою
Навстречу дня».

То, что молодые турбостроители узнавали себя в героях «Встречного», не удивительно. Когда фильм еще только задумывали, Сергей Миронович, беседуя с начальником главного управления кинопромышленности Борисом Захаровичем Шумяцким, просил передать авторам: фильм очень выиграет, если сюжет связать с определенным, существующим в действительности предприятием и его людьми. Авторы остановили свой выбор на Металлическом заводе.

На некоторых участках социалистического строительства самое важное, самое трудное Киров доверял молодежи. Звал ее туда, где она всего нужнее. Она шла всюду, куда Киров звал. А он часто бывал там, где жила, трудилась молодежь, — не только в Ленинграде, конечно. В колхозах, МТС и совхозах. В портах и на рыбных промыслах. На торфоразработках и в тундре. В городах, крестным отцом которых его называли после смерти. Среди комсомольцев, именовавшихся позднее в юных городах ветеранами кировского призыва. В Хибинах, На Мурмане. Близ старинного Гдова, где на болотистых пустошах сооружали шахты и где пока не было в помине будущего города Сланцы.

Электростанциям области не хватало топлива. Было нужно вовсю развернуть добычу гдовских сланцев. Послали ленинградских комсомольцев. Киров обещал проведать их. В назначенный день и час у центральной проходной командиры стройки подготовили встречу. Когда они и ждать устали, им сообщили: не теряйте зря время. Сергей Миронович давно проехал прямо к той шахте, где уже был однажды. Его разыскали в шахте, в штреке, в окружении рабочих.

Поднялись на поверхность, снова конфуз. Только что пущенная теплоэлектроцентраль бездействовала, закапризничал котел новой конструкции. Начальник строительства станции

сокрушался:

— Вы бы вчера приехали, Сергей Миронович. Хорошо сланец горел…

Киров рассмеялся.

— Был на Кавказе один осетин. Он тоже говорил так. Ты бы, мол, вчера пожаловал. И вино было, и шашлык был, и деньги были…

Повернулся к энергетикам. Видимо, достаточной тщательности нет. Котел системы Шухова хороший. Но Владимир Григорьевич Шухов и сам просил присмотреться к тому-то и тому-то. Сергей Миронович углубился в технологические тонкости. Как добывать, как на электростанциях сжигать сланцы, он изучал в течение нескольких лет.

Киров присутствовал на производственном совещании, выступил на собрании актива. Остальное время отдал комсомольцам. Ходил с ними в общежития, в столовую, в кооператив. Расспрашивал ребят о том, о сем. Хватало и шуток, и смеху, и песен, а Сергей Миронович свое:

— Сдается, скучно вам здесь.

Даже очень стеснительные расшевелились, посыпались жалобы. Взяв жалобы на заметку, Сергей Миронович опять рассудил по-своему:

— Не по-ленинградски жизнь налаживаете.

Улыбаясь, пояснил, в чем суть. Сланец нужен из умелых рук, это верно, но еще и из рук людей высокой культуры. Они же, комсомольцы, под землю глядят да ожидают сверху манны небесной. Оттого и скучно. Гораздо веселее, врубаясь в недра, ворочать горы и на земле. Кому под силу такое, если не им, посланцам Ленинграда. Их ведь отбирали, прежде чем вручали путевки сюда. Отбирали не слабых, не плохоньких. Наоборот ведь. И не ошиблись, в шахтах-то ребята иногда чудеса делают. Выходило, что каждый на чудо способен во всем, лишь захоти. Наверно, в тот день задумали юные шахтеры построить и комсомольские жилые дома, и столовую, и школу, и клуб, и стадион — все, чем обогатился вскоре город, еще городом не став. Во всяком случае, встреча с Кировым дала заряд энергии на годы.

А взятое на заметку Сергей Миронович не забыл. Миновало с неделю, и в продажу поступила первая партия музыкальных инструментов, шашек, шахмат, промышленных товаров первой, необходимости. Зачастила на шахты кинопередвижка. Приезжали ленинградские артисты. Получили комсомольцы и письмо от Кирова, письмо и подарок, четыре фотоаппарата,

Когда Киров погиб, секретарь ЦК ВЛКСМ Александр

Васильевич Косарев вспоминал:

«Их много, ярких, незабываемых страниц, Которые вписал Сергей Миронович в историю партийного руководства комсомолом. Нелегко только сейчас, в часы острой боли, писать.

Годы моей работы в Ленинграде, в Московско-Нарвском райкоме комсомола, — это годы незабываемых встреч с товарищем Кировым. Сколько глубоких и душевных бесед!

Сергей Миронович любил молодежь большой, умной, большевистской любовью. Он умел ценить ее и отыскивать среди комсомола нужные партии силы. Немало бывших комсомольских работников выдвинуто на руководящую партийную работу лично товарищем Кировым».

Косарев не приводил имен. Их и не счесть. Но два комсомольских имени, почти легендарных, заслуживают обязательного упоминания. В начале двадцатых годов, при жизни Ленина, секретарем ЦК комсомола был Петр Иванович Смородин. Направленный на учебу, он потом несколько лет работал с Кировым, стал одним из руководителей ленинградской партийной организации. Смородина в ЦК ВЛКСМ сменил Николай Павлович Чаплин, избранный на высший комсомольский пост по рекомендации Кирова и Орджоникидзе. Впоследствии, после учебы, работал с Кировым и Чаплин, назначенный начальником политотдела Мурманской железной дороги.

9

Точно так же, как с молодежью, был Киров тесно связан с интеллигенцией. Потребуются серьезные исследования, прежде чем удастся проследить, сколь обширными, разветвленными были его связи хотя бы с деятелями науки, которых Сергей Миронович всячески поддерживал, приобщал к социалистическому строительству. Когда он погиб, группа виднейших советских ученых во главе с президентом Академии наук СССР Александром Петровичем Карпинским писала:

«Киров был воплощением всего лучшего, что создала партия революционного пролетариата — единственного двигателя прогресса всего человечества… Имя Кирова для ученых Ленинграда навсегда останется символом организующей воли великой ленинской партии, ее творческой инициативы, ее глубокой отзывчивости на нужды трудящихся… Но особенно близко наблюдали мы, ученые Ленинграда, Сергея Мироновича как друга науки, как активного борца за культуру, за ее мощный

расцвет в нашей социалистической стране…

Сергей Миронович с неиссякаемой энергией продвигал дело освоения богатств Севера и проблемы синтетического каучука, занимался новейшими изысканиями в области физики, химии и постановкой геолого-разведочного дела, мельчайшими деталями работы исследовательских институтов и Академии наук, улучшением бытового и материального положения ученых.

Это он помогал снаряжать великие исторические походы в Арктику, двигал вперед научные изыскания новых видов топлива, повседневно следил за строительством Всесоюзного института экспериментальной медицины, с любовью и радостью отмечал каждое достижение науки и техники».

Долголетние деловые узы, общие заботы о развитии земледелия во всей стране, и в частности в Ленинградской области, связывали Кирова с Николаем Ивановичем Вавиловым, членом ЦИК СССР, основателем ряда научно-исследовательских институтов, ученым, которого характеризует уже один его титул: советский академик, лауреат Ленинской премии 1926 года, член Королевского общества в Лондоне и Эдинбургского королевского общества, член-корреспондент Академии наук в Галле и Чехословацкой академии сельскохозяйственных наук, почетный член Индийской академии наук, член Нью-Йоркского географического общества, почетный доктор университетов в Брно и Софии,

Киров всегда с признательностью говорил об одной из учеников и сотрудников Вавилова, пионере заполярного земледелия профессоре Эйхфельде, о почетном члене Академии наук СССР Шухове, замечательном творце новой техники. Научные организации представили к ордену академика Генриха Осиповича Графтио, строителя Волховской и Свирской гидроэлектростанций, — Киров поддержал ходатайство решением секретариата обкома партии и телеграфно просил ЦИК СССР ускорить награждение выдающегося энергетика. Когда семидесятилетнего ученого-языковеда академика Николая Яковлевича Марра сразил паралич, врачи каждое утро передавали в Смольный телефонограмму о ходе заболевания. Каждая такая телефонограмма была первым документом, который Киров тогда читал на работе. Иван Петрович Павлов до конца своих дней так и не узнал, как заботился Сергей Миронович о том, чтобы великий физиолог и его сотрудники не страдали от лишений в трудные времена.

По-особому сложились отношения Кирова и академика Александра Евгеньевича Ферсмана.

Во второй половине двадцатых годов ученый, сам о том не

подозревая, настроил против себя немало ленинградских работников, отнюдь не склонных к спецеедству. В частности, руководителей существовавшего при Ленинградском облисполкоме Карело-Мурманского комитета, ведавшего проблемами развития северной экономики. Суждения члена этого комитета Ферсмана о хибинском апатите, о промышленных перспективах Севера были расплывчаты. Возникло впечатление, переходившее в убеждение, что Александр Евгеньевич чего-то не договаривает. Общавшиеся с ним советские и партийные работники даже не намекали ему, как вредна его медлительность. Однако в узком кругу, между собой, они порицали Ферсмана за эту медлительность, а кое-кто и ошибочно истолковывал ее.

К счастью, был человек, который глубже всех проник во внутренний мир ученого, разгадал подоплеку драмы, одиноко переживаемой Ферсманом, помог ему полностью отбросить тягостные сомнения, грозные опасения. Это был Киров.

Спустя десятилетие академик Ферсман рассказывал, что, по его выражению, в конце двадцатых годов долго метался среди трех огней.

Александр Евгеньевич не очень-то верил, что наша небогатая тогда страна с ее бездной прорех и нужд способна быстро создать горнопромышленный центр на диком Севере, где каждый шаг сопряжен с колоссальными затратами средств:

— Казалось, выгоднее пока вкладывать деньги и силы в обжитые края.

Ученые реакционного толка с самого начала, с 1920 года, мешали Ферсману изучать северные недра. Ассигнования на геологические экспедиции урезывались до жалких подачек. Вскоре после того, как в Ленинград перевели Кирова, с этим было покончено. Но академические мужи-рутинеры оставались по-прежнему в весе. В Ферсмане, своем коллеге — академике, они видели и хотели видеть лишь директора минералогического музея, путешественника-наблюдателя или теоретика, далекого от практической деятельности. Случись любая неудача, они не преминули бы опорочить идею освоения Севера, а заодно изобразить Ферсмана прожектером, авантюристом:

— Казалось, лучше выжидать, пока изыскания накопят материалы, неопровержимые сверх меры.

А пуще всего прочего, как говорил Ферсман, удручали его вылазки оппозиционеров. Беспартийный, совершенно непричастный к борьбе с ними, ученый в ее перипетиях не слишком тонко разбирался. По выражению Александра Евгеньевича, то и дело рушились авторитеты, вчерашние политические столпы вдруг низвергались в оппозиции да уклоны,

затем каялись и вновь нападали на генеральную линию партии:

— Эта лихорадка не позволяла определить, насколько устойчив азартный интерес ленинградских большевиков к Северу. Казалось, лучше выжидать.

Тогда и случилось так, что Киров стал часто приглашать Александра Евгеньевича в Смольный. Беседовали подолгу. То на отвлеченные, то на практические темы. О законах общественного развития. О партии. О партии и пятилетке. Об индустриализации, продиктованной не чьим-то пристрастием к машинам, а историческими обстоятельствами. О тракторизация и химизации как двуедином залоге подъема сельского хозяйства. Об удобрениях как основе химизации земледелия. Об отечественном апатите, без которого не насытить землю удобрениями. Снова о партии, ее стратегии и тактике в экономическом развитии страны. Об интеллигентской привычке персонифицировать события, пренебрегая объективными истинами, непреложными закономерностями. Об умении мыслить исторически, не утопая в мелких фактах, преходящих событиях и неприятностях. И еще о многом.

— Сергей Миронович влюблял меня в дела и думы партии, а я влюбился в него. Я и впрямь привязался к нему. С ним было спокойно и светло.

Александр Евгеньевич словно выздоравливал после недуга. Никакого одиночества. И никаких неодолимых преград.

— Чуть что, звонишь, приходишь в Смольный.

Сергей Миронович помогал больше, чем Ферсман просил, ожидал.

Чтобы ослабить влияние маститых рутинеров от геологии, промышленные запасы хибинского апатита разведывали и Ленинградский совнархоз и Институт удобрений, а обслуживало, обстраивало их в безлюдном краю управление Мурманской железной дороги. Все туманное прояснялось в кировском темпе: да, изученные месторождения руды вполне позволяют немедленно начать разработку их. Все, что тянулось годами, завершилось в несколько месяцев созданием треста «Апатит».

Спустя еще несколько месяцев, в июле 1930 года, когда отгружались первые эшелоны с апатитом, в Хибинах распахнулись двери научной станции «Тиэтта», что по-саамски означает: наука. Станцию эту Ферсман хотел основать еще в 1925 году, но академия отказала в необходимой для строительства скромной сумме, в десяти тысячах. Теперь все было по-иному. Академику Ферсману открылся путь к новым серьезным изысканиям.

Но своей песнью песней он считал апатит.

С декабря 1934 года Ферсман называл хибинский апатит камнем плодородия великой кировской земли.

Своя песнь песней была и у профессора, будущего академика Сергея Васильевича Лебедева.

Еще в молодости он после двухлетних опытов, в 1910 году, первым в мире получил первые граммы искусственного каучукоподобного вещества. Практически же петербургский ученый ничего не достиг, так как российские фабриканты и заводчики не заинтересовались открытием, не хотели финансировать Дальнейшие исследования. Промышленное изготовление каучука, не уступающего по качеству естественному, оставалось тайной. Раскрытию тайны Лебедев смог посвятить себя лишь на шестом десятке лет, после Октября, начиная с 1926 года.

Возобновление заброшенных, полузабытых исследований требовало внимания, средств. Сергей Васильевич и его сотрудники, в том числе коммунист Валентин Петрович Краузе, решили искать опоры и помощи в партийных организациях. Обратились в Василеостровский райком ВКП(б), к Петру Ивановичу Струппе, одному из виднейших впоследствии ленинградских большевиков. Струппе связал ученых с новым секретарем губкома ВКП(б) Кировым. Сергей Миронович откликнулся тотчас же: обеспечить полнейшую поддержку, если и нет гарантии успеха. С тех пор лаборатории Ленинградского университета и; Военно-медицинской академии, где профессор Лебедев преподавал химию, были к его услугам для любых опытов. Резинотрест выделил столько денег, сколько Лебедев просил.

Давая деньги, Резинотрест допустил ошибку — запретил Лебедеву и его сотрудникам участвовать в объявленном ВСНХ СССР конкурсе на промышленный способ производства каучука. Запрет был необоснованным и вредным. Лебедев и его сотрудники и так безвозмездно занимались исследованиями и, совмещая их с преподавательской работой или учебой в аспирантуре, трудились по вечерам и в выходные дни. Незамедлительное вмешательство Кирова пресекло бюрократическую ошибку, граничащую с преступлением. 30 декабря 1927 года, за сутки до истечения срока конкурса, Лебедев под девизом «Диолефин» представил в ВСНХ итоги исследований и опытов, приложив наглядное доказательство их ценности — два килограмма синтетического каучука.

«Диолефин» премировали по конкурсу. Научно-технические консультанты ВСНХ СССР признали исследования Лебедева классическими.

Победа. Открытие мирового масштаба.

Все же оно для СССР имело пока скорее патриотическое, чем практическое значение. Лебедев еще не разработал ни схем заводских установок, ни точной технологии производства высококачественного синтетического каучука, который по тогдашнему увлечению аббревиатурами, то есть сокращениями словосочетаний, именовали просто: СК.

Опыты продолжались уже в специальной лаборатории, арендуемой для Лебедева. На нехватку средств он не имел оснований жаловаться — никаких ограничений, только дайте скорее наметки и схемы! необходимые для строительства заводов СК.

Опыты продолжались полгода, год, полтора. Лебедев стоял ближе, чем кто-либо, к цели, но у цели все еще не стоял.

В ноябре 1929 года Куйбышев был вынужден огорчить участников очередного пленума ЦК ВКП(б):

— Работа по искусственному каучуку, которая производилась в некоторых лабораториях нашего Союза, пока не привела к сколько-нибудь благоприятном результатам. Доказано уже, что можно получить каучук из спирта и из других источников, но этот каучук страшно дорог, и фабричное его производство абсолютно не оправдало бы себя.

Коротко и ясно. Строить предприятия рано. Заминка. Обычная и естественная в новой отрасли науки заминка, но чреватая опасными последствиями. Производство автомобилей, множества машин, агрегатов, приборов и некоторых видов вооружения — все увеличивало спрос на резину. Ее вырабатывали из каучука. Из натурального, импортного каучука. В этом советская экономика и оборона страны целиком зависели от мирового каучукового рынка. Зависимость была поистине жестокой, кабальной. Если над жадностью к наживе у монополистов возобладает ненависть к СССР, они способны когда угодно ударить по нему резиновой дубиной. Надо было поскорее избавиться от резиновой кабалы. Советские ботаники искали, изучали растения-каучуконосы. Химики в лабораториях пытались разными способами добыть СК приемлемого качества, приемлемой стоимости. Но единственная реальная надежда — СК профессора Лебедева.

Что переживал тогда Киров, можно лишь догадываться. Об опытах по синтезу каучука ему докладывали часто. На разных стадиях опытов ему приносили пробирки с продуктами химических реакций, поясняя, в чем ученые шагнули вперед и в чем никак не стронутся с места. Сергей Миронович внешне был непроницаемо спокоен, иногда шутил. Пробирки оставлял у себя.

Размышлял над ними. После гибели Кирова все неказистые пробирки нашли у него в смольнинском кабинете. Пока ученые бились над своими опытами, Киров, очевидно, старался найти основную причину неудач, общую причину опасной заминки.

Киров нашел ее. Лебедев, человек изумительных достоинств, был чрезвычайно щепетилен, скромен, что побуждало его десятки раз проверять, перепроверять себя. Его стремление к совершенству не ведало границ. Он хотел в лаборатории сотворить идеальный завод СК. Только идеальный. И ученый, так сказать, мыслил лабораторно, а надо было мыслить политически. Обстоятельства требовали, кричали — не теряйте ни часу. Ученый слышал зов обстоятельств, трудился по десяти, по двенадцати и четырнадцати часов в сутки, но лабораторной скованности не преодолел.

Между тем Киров был убежден, что Лебедев уже вправе торопиться. Верил в близость успеха больше, чем сам Лебедев. У Кирова вызрело четкое намерение. Быстро выстроить опытное предприятие, прообраз будущих крупных заводов СК. Во главе поставить хозяйственника, у которого все будет гореть в руках и который, оставаясь помощником ученого, поведет его за собой в заданном темпе. В строго заданном большевистском темпе.

Подобрать работника Киров не поручал ни Резинотресту, ни обкому партии. Наметил кандидатуру сам — Пеков. Выбор да первый взгляд странный. Ни инженерного диплома, ни технических знаний. Лет сорока окончил курсы хозяйственников при ВСНХ. Директор заурядного желатинового завода. С наукой ничего общего. Но вряд ли возможен был выбор лучше. Имя потомственного питерского рабочего, коммуниста с 1917 года, участника гражданской войны Григория Васильевича Пекова вскоре звучало с академических кафедр, с высоких трибун в дни торжеств, оно навечно вписалось в историю советской каучуковой промышленности.

Пекову передали, что есть для него у Кирова сверхважное задание. Григорий Васильевич, по его воспоминаниям, волновался, придя в Смольный. Сергей Миронович это заметил.

— Задание простое, надо, чтобы вам понравился один мой тезка.

— Постараюсь, Сергей Миронович.

— Полдела готово, но вторая половина в три раза труднее. Надо, чтобы вы понравились ему.

Беседовали долго. Все пояснив, Киров добавил:

— Назначить вас можем только с согласия профессора Лебедева. Сейчас он в университете, вот телефон.

Часа через два Пеков позвонил Сергею Мироновичу.

— Когда мы прощались, профессор пожал мне руку обеими руками.

В январе 1930 года было это.

26 февраля намерение Кирова — выстроить опытный завод — стало правительственным решением.

Пусковой срок установили такой, что ученые сочли его фантастическим.

7 мая уже действовал агрегат по переработке спирта в дивинил — газ, преобразуемый затем в СК.

5 июля на заводской площадке открылась превосходная лаборатория, ставшая всесоюзным научно-ис-следовательским центром по синтезу каучука.

1 августа начались занятия на курсах, где обучался персонал будущего завода.

18 декабря, досрочно, основные цехи вступили в эксплуатацию.

Но январь 1931 года принес неудачу. Скорее провал: есть завод, есть дивинил, а каучука нет. Неделя миновала, вторая. СК из дивинила не получался.

Тяжкое наступило время. Раньше Киров мог влиять на ученых, увлекавшихся бесконечными рационализациями, в которых крайней необходимости не было. Сергей Миронович увещевал ученых — держитесь графика, не упуская главного, а второстепенные усовершенствования берите пока на заметку, они никуда не денутся. Но чрезмерное увлечение второстепенным не прошло даром. Что-то упустили в главном. И теперь оставалось лишь осведомляться:

— Как дела?

— Стараемся, — отвечал Пеков. — Когда же вы спите, Сергей Миронович? Три пробило.

— А вы когда спите?

— Когда придется.

— И я тогда же.

Сергей Миронович не скрывал тревоги. На успехе Лебедева основывалось правительственное решение о сооружении крупных заводов СК в Ярославле, Воронеже и других городах. Уже наметились строительные площадки. Уже трудились сотни проектировщиков. Хотя в решениях отвели кое-какие месяцы на возможные осложнения с экспериментами изобретателей СК, в пору было бить отбой, удлинять сроки. Но, тревожась, Киров нисколько не терял уверенности в ученом, успокаивал его. Действительно, Сергей Васильевич уловил все капризы технологии и, заставив все агрегаты подчиниться его воле, прихватил лишь малую толику резервного времени,

предусмотренного правительством.

С 15 февраля Ленинградский опытный завод бесперебойно давал стране СК.

Сергей Миронович просил, напоминал: теперь думайте вовсю о Ярославле и Воронеже. Ученые из скромности опять роптали, настаивая на отсрочке, и опять покорялись вере Кирова в их силы и способности.

А будни Лебедева, по-прежнему насыщенные неутомимым трудом, были подобны триумфальному шествию.

7 августа 1931 года его наградили орденом Ленина за особо выдающиеся заслуги.

29 марта 1932 года его избрали в академики.

7 июля 1932 года вступил в строй Ярославский завод СК.

19 октября 1932 года вступил в строй Воронежский завод СК

Проектировались, сооружались еще и еще заводы СК по методу академика Лебедева.

Но весной 1934 года нагрянула беда. Сергей Васильевич захворал. Он где-то заразился сыпным тифом. Болезнь протекала своенравно, ее распознали с опозданием. 2 мая великий ученый скончался.

Его жена, художница Анна Петровна Остроумова-Лебедева, впоследствии рассказывала, что Сергей Васильевич очень хотел при случае выразить Кирову свои чувства к нему. Но не находил слов, которые Киров не счел бы совершенно излишними.

Лебедев медлил и с желанием повидать Сергея Мироновича, чтобы просить содействия в дальнейших, с большим размахом задуманных исследованиях. Последнее желание покойного мужа исполнила Анна Петровна.

Свое посещение Смольного она бегло запечатлела в автобиографических записках. В приемной секретаря обкома ждать долго не пришлось. Анну Петровну пригласили в кабинет. Там за письменным столом сидел Киров:

«Увидев меня, он поднялся и пошел навстречу. Мы очень внимательно, серьезно и молча посмотрели друг другу в глаза. Его наружность: среднего роста, широкоплечая фигура могучего сложения. Лицо широкое, скуластое. Прямой короткий нос. Энергично и резко очерченный рот. Небольшие, глубоко сидящие черные глаза. Кожа на лице огрубевшая, красноватая, как у матроса или воина, который много дней провел на воздухе и в ветер, и в мороз, и на пекле солнца, Лицо чрезвычайно умное. Взгляд проницательный и наблюдательный. Вся фигура отважная, стремительная, со скованным до нужного момента темпераментом.

Он молча указал мне на кресло. Мы сразу стали говорить о

делах. У меня была бумажка, на которой я записала то, что мне надо было сказать, я ее положила на стол и, справляясь с ней, стала говорить. Он молча внимательно слушал, потом пододвинул записную книжку и стал в нее записывать, иногда переспрашивая, когда хотел подробнее узнать о том или о другом.

При окончании разговора, который продолжался около часа, он мне сказал, что придает большое значение науке, ученым, которые участвуют в развитии страны. И, между прочим, спросил меня, получал ли что-нибудь Сергей Васильевич за свое изобретение. «Нет, — ответила я, — он ничего не получал. Ни он, ни его сотрудники». Сергей Миронович спросил меня: «Как же это так вышло?»

Тогда я рассказала ему, что Сергей Васильевич еще в 1929 году заключил договор с Резинотрестом о получении за свое изобретение им и его сотрудниками известного процента с производства и до сих пор, до 1934 года, не предпринял ничего для осуществления этого договора».

За несколько месяцев до смерти Сергей Васильевич отказался от ежегодных доходов с производства, поскольку получалась очень большая, многомиллионная сумма. Было условлено, что он и его сотрудники получат единовременное вознаграждение, и все. Притом свою долю он хотел перечислить лаборатории, которую наметила построить для него Академия наук. Зная это, Анна Петровна, законная наследница прав академика Лебедева, решила отдать его долю вознаграждения на оборудование запланированной лаборатории и набросала о том письмо, которое прочла Кирову. Он спросил, окончательно ли она решила так поступить. Анна Петровна ответила: да. Сергей Миронович тогда взял письмо, обещав отослать его по назначению.

Прощаясь, Киров говорил, что очень уважал Лебедева, верил ему, его объективности, и не ошибся.

«Он вспомнил, как однажды пришли к нему химики и сообщили, что ими получен каучук нового, ранее неизвестного состава. Сергей Миронович предложил организовать комиссию для оценки и рассмотрения его качества и пригласить в эту комиссию Лебедева. Ему ответили: «Да зачем Лебедева? У него свой каучук, он наш захает». Но Сергей Миронович настоял на своем. И что же? Сергей Васильевич был в комиссии и высказал такое мнение: каучук хорош и в некоторых своих особенностях лучше изобретенного им. И чем больше будет разных каучуков, тем лучше для государства. Сергей Миронович Киров оказался прав, веря объективности и справедливости Сергея Васильевича.

Через несколько времени началась постройка лаборатории

высокомолекулярных соединений имени Сергея Васильевича Лебедева».

О советской культуре Киров заботился не менее деятельно, чем о науке и технике. Любовь к искусству, зародившуюся в уржумской «Аудитории», он пронес через всю жизнь. Во Владикавказе никто не сделал больше, чем Сергей Миронович, для популяризации передового искусства, особенно театрального. В Азербайджане никто до Кирова не сделал столько для развития национальной культуры, в том числе театральной, сколько он. Естественно, его руководство культурным строительством в Ленинграде было чрезвычайно плодотворным.

Народная артистка СССР Екатерина Павловна Корчагина-Александровская писала, что Киров с исключительным вниманием относился к людям искусства. Актеров поражало, как он при всей свой загруженности выкраивает время, чтобы бывать в театрах, просматривать новые спектакли и фильмы, беседовать с авторами о самом существе произведения, нацеливать их на ту или иную тему. В театре имени Пушкина, где Корчагина-Александровская играла, Киров видел все значительные премьеры. Посещал он театр этот часто:

«Бывало, придет на спектакль, внимательным взглядом окинет все наше «хозяйство» и заметит: вот, мол пообтерся бархат на ложах в одном месте, надо бы это отремонтировать, — в театре все должно быть празднично, образцово, привлекательно. Или пожурит за кустарную технику перестановок, длину антрактов — «переставляете вы долго, публика устает в темноте сидеть». Ему в равной степени были близки и интересы актеров и интересы зрителей.

Киров горячо приветствовал каждую попытку театра дать спектакль, непосредственно откликавшийся на политическую злобу дня. Он рекомендовал агитаторам использовать в своих выступлениях материалы пьесы, входившей в репертуар нашего театра, — «Ярость» (на тему о коллективизации деревни); несколько раз побывал на этом спектакле, внимательно следил за реакцией зрителя…

Для меня лично лучшей рецензией, которую я получила за свою полувековую работу в театре, был одобрительный отзыв Сергея Мироновича об исполнении роли Клары в пьесе Афиногенова «Страх»…

Величайший похвалой для меня было замечание Сергея Мироновича о том, что исполнительница «сумела найти в нас, большевиках, правдивые, простые, человеческие черты».

Высоко ценил Сергей Миронович искусство кино, много раз подчеркивал его политическое значение. Он деятельно помогал

ленинградской студии «Ленфильм» в создании таких замечательных картин, как «Встречный», «Чапаев». Повседневной помощи Кирова мы обязаны рождением фильмов, прославивших на весь мир советскую кинематографию и ленинградскую киностудию».

Кирова радовало, что писатели, музыканты, художники, композиторы, как он говорил, все активнее включаются в общее дело рабочего класса и что в трудовой среде растут новые таланты, которые при другом общественном строе были бы раздавлены и обречены на гибель.

Писатели часто наведывались в Смольный, Сергей Миронович приглашал их на заседания секретариата и бюро обкома. На письма писателей — впрочем, как и на все другие письма, — пусть и о весьма скромных нуждах, откликался немедленно. Судя по датам пометок Сергея Мироновича на письмах, они прочитывались буквально в тот день, когда их доставляла почта.

Киров дружил с Алексеем Максимовичем Горьким. Как писателя Сергей Миронович любил его с юношеской поры. Работая в «Тереке», не раз писал о произведениях Горького.

Познакомились они в 1928 году: после длительной жизни в Италии, на острове Капри, Алексей Максимович приехал в СССР. Несколько раз виделись они в 1929 году, когда писатель дважды побывал в Ленинграде. Киров и Горький присутствовали на собрании городского профсоюзного актива, а также при спуске на воду двух лесовозов со стапелей Балтийского завода. Сергей Миронович навестил Горького в гостинице, и Алексей Максимович несколько часов подряд делился впечатлениями о недавнем путешествии по стране.

Крепли и деловые отношения. Киров поддерживал многие начинания Горького — создание «Истории гражданской войны и интервенции в СССР», серий книг «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей», журнала «СССР на стройке» и так далее. Горький же помог осуществить замысел ленинградских писателей — выпускать журнал «Литературная учеба».

Первый том «Истории гражданской войны и интервенции в СССР» подготавливался при участии Сергея Мироновича, члена главной редакции этого издания. Горький неоднократно обращался к Кирову за советом, когда писались первые книги из серии биографий замечательных людей. Журналистка Елизавета Захаровна Крючкова и ее муж Петр Петрович Крючков, секретарь писателя, рассказывали, что однажды Киров по просьбе Горького сформулировал, к эк надо писать эти биографии и чем они должны отличаться от подобных произведений, издававшихся в

дореволюционной России. Формулировка восхитила Алексея Максимовича своеобразием и предельной ясностью. В конце 1933 года выяснилось, что не выделили достаточного количества бумаги для бесперебойного выпуска серии «Жизнь замечательных людей». Киров обещал Горькому уладить возникшее недоразумение, хотя с бумагой было очень трудно. И слово свое, конечно, сдержал.

Произведения Горького любил Киров по-прежнему, все новое читал незамедлительно, как бы ни был занят. Пьесу «Егор Булычов» смотрел дважды в Московском театре имени Вахтангова, а до того — в Ленинградском имени Горького. Ленинградская постановка была неудачна. Киров говорил редактору «Красной газеты» Петру Ивановичу Чагину:

— Это ж нужно ухитриться так испортить пьесу. Просто больно за Алексея Максимовича…

Глубокими были чувства великого писателя к Кирову. В траурные декабрьские дни 1934 года Алексей Максимович, находясь в Крыму, телеграфировал в Москву:

«Убит прекрасный человек, один из лучших вождей партии, идеальный образец пролетария, мастера культуры. Всей душой разделяю горе партии, горе всех честных рабочих».

Позднее Горький писал Константину Александровичу Федину:

«Я совершенно подавлен убийством Кирова, чувствую себя вдребезги разбитым и вообще — скверно. Очень я любил и уважал этого человека».

10

В последние годы жизни Кирова его слава политического деятеля и трибуна росла по всей стране. Сергея Мироновича называли любимцем партии. Он знал эго, искренне относил восхваления к заслугам партии и оставался таким же скромным, непосредственным и простым человеком, как прежде.

Михаил Попов после первой русской революции виделся с другом юности в 1912 и 1915 годах. Виделся в двадцатых, тридцатых годах. И не заметил ни единой новой черты в общении Сергея Мироновича с товарищами и знакомыми или с окружающими — та же приветливость, та же обходительность, что и в юные годы. Товарищ по тюремной отсидке и нелегальной работе в Новониколаевске, инженер Фортов, бывая в Ленинграде, наведывался к Кирову. Однажды покидали они Смольный втроем:

Фортов, Сергей Миронович и только что побывавший у него на приеме хозяйственник. Навстречу — сгорбленная старушка. Никто из выходящих-входящих не обратил на нее внимания. Никто, кроме Сергея Мироновича. Он остановился, придерживая тяжелую дверь. Послышалось:

— Батюшка, где тут…

Вдруг Киров исчез. Оказалось, исчез он за тяжелой дверью. Возвратился в вестибюль, где что-то растолковывал старушке. Фортов обрадовался: точь-в-точь как в юности, ничуть не изменился в душе Сергей. Только волевой мощи прибавилось. И жизнелюбия еще больше прежнего. В сорок семь лет Киров сказал Фортову:

— Скоро я свои годы начну считать обратно.

Рихтерман, с которым в 1918 году Киров общался в Пятигорске, переселился в Москву, раньше времени состарился из-за нажитых на каторге хворей, но не сидел сложа руки. Была у него своя страсть. Он постоянно за кого-нибудь о чем-нибудь хлопотал — бескорыстно, разумеется. Кирова он осаждал такого рода письмами:

«А теперь, дорогой Сергей, у меня к тебе, как и всегда, имеется небольшая просьба в отношении товарища… Надеюсь, как и всегда, удовлетворишь просьбу товарища…»

По собственному выражению, Рихтерман иногда спорил со своей совестью, отнимая время у столь занятого человека, и был счастлив до слез, услышав однажды от Кирова слова благодарности за хлопоты о чужих людях. Сергей Миронович тогда сказал, что пробудет в столице неделю, и что есть у него автомашина, которой почти не пользуется: телефон гаража такой-то, пусть он, Рихтерман, вызывает ее, коли надо.

Сергею Мироновичу часто звонили приезжие товарищи. Долго напоминать, где и когда вместе с ним работали в подполье или воевали, было незачем. Он отзывался тотчас же — ну как забудешь, и приводил обычно яркую подробность десятилетней, двадцатилетней давности.

Только все, что касалось его самого, былой жизни его, словно туман застилал, хотя память у Кирова была потрясающая и на лица, и на книги, и на музыку, и на факты, и на цифры, и на даты.

Попов рассказывал, что Сергей Миронович начисто забыл многое из того, что делал в Томске, делал талантливо и смело. Помимо печального, в голове удержалось лишь кое-что смешное. Как Поповы взламывали двери, когда юный Костриков спал у них осенней ночью в 1905 году. Как близ какой-то купеческой усадьбы спасся от ареста, легко перемахнув через каменную ограду, а

полицейский, следом взлезая на нее, сорвался, покалечился и закричал «караул». Как в тюремных спектаклях мужчины, исполняя женские роли, вдруг терялись и подавали свои реплики басом.

В 1926 году Кирова обязали написать для печати автобиографию. В ней он отметил, что, учась в Казани, начал почти самостоятельную жизнь, прежде всего ввиду ограниченности стипендии: девяносто шесть рублей в год. Но получал шестьдесят. Забылось, что о земской стипендии в девяносто шесть рублей старшие друзья лишь ходатайствовали, не добившись ее. Сергей Миронович написал, будто в последний раз был арестован в 1915 году. В действительности же — раньше. Забылось, что в 1915 году донимали другие неприятности. Кирова хотели забрать в солдаты, ему угрожала кара за то, что он не отбыл воинской повинности.

В некоторых анкетах Кирова, делегата съездов и конференций, мелькает дата рождения 1888 вместо 1886. Забылось, что томские конспираторы в его паспорт из шестерки мастерски сделали восьмерку. Позаботились очень кстати: когда Кострикова впервые судили, он в двадцать один год числился девятнадцатилетним, благодаря чему несколько смягчился приговор.

Автобиография набрасывалась второпях. Делегатские анкеты заполнялись мимоходом. Однако не в спешке суть, ведь во всем, кроме автобиографических мелочей, был Сергей Миронович исключительно точен при любых обстоятельствах.

Сергей Миронович сетовал подчас — впрочем, шутя — на несовершенство человеческого организма. Руки, говорил, не поспевают за мыслью. Говорил, что делу никак не угнаться за мыслями и что мысли, вынужденные толпиться в очереди у дела, вянут, пропадают. Мысли переполняли его. Бывало, он отдает распоряжение. Если спросят, что да как, Сергей Миронович лишь спустя две-три секунды уловит вопрос — его мысль уже улетела дальше. Чтобы не нарушалась стройность мыслей, он, звоня из дому в секретариат Смольного, обычно задавал вопросы и уже потом добавлял: здравствуйте. Анастасия Андреевна Платонова, Вера Павловна Дубровская и другие сотрудницы секретариата тоже приучились к этому. Точно отвечали на вопросы и только в заключение здоровались с Кировым.

С годами его мозг был все более загружен. Именно поэтому Сергей Миронович, равнодушный раньше к охоте, в тридцатисемилетнем возрасте увлекся ею, единственно приемлемой разновидностью отдыха, позволявшей выключаться из работы, избавляться на время от умственного перенапряжения.

Отдыхал Сергей Миронович куда меньше, чем следовало, и мозг в поисках саморазрядки вытеснял из памяти все ненужное, несущественное. Для Кирова самым несущественным было сугубо личное. Оттого и забывались автобиографические факты и даты. А тем, которые оставались в памяти, он не придавал никакого значения, не задумывался над ними. Ему в безмерной скромности его не к чему, некогда и, главное, несвойственно было думать об этом, как и вообще о себе.

Его всегда занимало более важное. Он всегда был в работе и заботах. Кирову, выражаясь его же словами, повседневно сопутствовала большевистская, честная, благородная внутренняя тревога за дело партии. Он целиком принадлежал партии. Был поглощен работой для партии.

Работал Сергей Миронович очень много.

По воспоминаниям его служебного секретаря — помощника Николая Федоровича Свешникова, день Кирова начинался рано. В Смольный он приезжал часам к одиннадцати утра, успев дома прочесть газеты и срочные бумаги, побывать на заводах, фабриках, стройках, в научно-исследовательских институтах. Если направлялся в Смольный прямо из дому, то нередко оставлял машину на полпути: осматривал ремонтирующиеся улицы, заглядывал в магазины, столовые, аптеки. В первые годы жизни в Ленинграде ходил и на базары, которые, по выражению Сергея Мироновича, были хорошей фотографией деревни. Потом перестал — его узнавали, с ним беседовали уже не как с неизвестным, а как с ответственным работником. Была еще помеха: личная охрана. Киров не сразу привык к тому, что его — с конца двадцатых годов — всюду сопровождали посторонние. Да и позднее тяготился охраной. Случалось, выйдет из кабинета после заседания, оживленно беседуя с товарищами. В приемной поднимутся со стульев двое, одетые в штатское или военное. Сергей Миронович, как увидит их, смолкнет, грустно кивнет им, досадливо махнув рукой:

— Ладно, двинули.

С сотрудниками секретариата у Кирова сложились товарищески-строгие отношения. Требовательный к себе, он был требователен и к ним. Не терпел, когда не могут разыскать нужного работника. Скажут, нет работника в его учреждении и никто не знает, где он. Киров нахмурится:

— Это не ответ. Раз в Ленинграде человек, значит найти его можно.

Не терпел малейшей неаккуратности, вплоть до редких машинописных опечаток, которые обязательно исправляй. Не терпел, когда подевается куда-нибудь бумажка, хотя бы

третьестепенная. Сам он ничего не терял, все у него лежало на своем месте. Кроме махорки, которую он держал в жестяной коробочке из-под машинописной ленты. Придет утром, хлопает, хлопает ладонями по грудам бумаг, оставшихся с вечера на столе, пока не набредет на неказистую свою табакерку.

Сергей Миронович не терпел и промедлений с заданиями, пусть даже незначительными. Сердился:

— Черт знает что такое!

Пожурит или отчитает сотрудника за канцелярскую провинность, а попозднее или назавтра улыбнется:

— Что, попало вам…

У сотрудников секретариата не было в жизни ярче времени, чем период работы с Кировым. Они впоследствии писали, что прошли у Сергея Мироновича замечательную школу и что его обаяние, его щедрая улыбка, смеющиеся глаза, звонкий голос, выразительные жесты — все располагало к нему, превращая каждую встречу с ним в праздник.

Обычно день Кирова был распланирован заранее. Вызывал ли он работников или назначал встречу по их просьбе, Сергей Миронович всех принимал в точно обусловленное время. Если разговор с посетителем длился дольше предположенного, через секретаря или сам извинялся перед ожидающими в приемной. Как бы ни был Киров занят, дверь кабинета распахивалась, если о встрече просил родственник товарища, погибшего в царском застенке или на фронте в годы гражданской войны.

Сотни людей рассказывали, как хорошо умел Сергей Миронович выслушивать собеседников, считаясь с их характером, возрастом, состоянием здоровья, настроением. Слушал заинтересованно, молча. Изредка делал пометки в блокноте. Еще реже переспрашивал что-либо. Пока собеседник выговорится, у Кирова созревали выводы. Тут же отдавались необходимые распоряжения.

Совещания, заседания проходили во второй половине дня. Прерывать выступающих репликами Киров не любил. Но останавливал, прерывал работника, если тот не ладил с правдой. Уважительно относился к честно высказанному деловому мнению, если оно и неприемлемо, не вполне правильно. Кодацкий писал:

«С удивительной чуткостью и тактом умел подходить к людям Сергей Миронович… Этот же такт проявлялся им во время заседаний бюро и различных совещаний. Обладая огромным, непререкаемым авторитетом, он никогда не подавлял им, никогда не навязывал своего мнения, а убеждал ошибающихся, незаметно для них самих подводя их к правильному пониманию

вопроса».

Убеждал ошибающихся спокойно. Все же несколько раз Киров выходил из себя.

Заседание. Огласили повестку дня. Встал кооператор, вызванный для доклада.

— Я только вчера получил извещение. Не успел продумать вопрос.

Сел. В напряженном молчании, опершись руками о стол, тяжело поднялся Сергей Миронович. Не философских изысканий ждали от кооператора. В городе мало овощей. Очереди. Столовые без капусты. А она есть, ее только не завезли вдосталь. Припасены и помидоры — сумейте завезти. Добросовестный работник, если его и среди ночи разбудить, скажет, что им сделано для снабжения рабочих овощами и что не ладится, что наболело. А кооператор осмеливается твердить, что за сутки не подготовился к докладу. Значит, и к работе не готов. Или сердце каменное.

И так далее. Разнос послужил уроком для многих.

Некоторые хозяйственники, испугавшись сложности изготовления электродомны «Миге-Перрон», положили чертежи на полку: авось в Москве передумают, отдадут заказ иностранной фирме. Это дошло до Кирова. Он, возмущенный, потерял самообладание. Никогда не видели Сергея Мироновича столь рассерженным. И подобный случай: из-за головотяпства были под угрозой заготовки леса, предназначенного на экспорт в Англию. Мало того, что терялась валюта, пострадал бы престиж страны. Заготовители потом наверстали упущенное время. Лес отгрузили за границу в срок.

7 августа 1932 года был издан декрет о суровой ответственности за хищения. Вскоре поступили сигналы, что этот декрет, который Сергей Миронович считал вполне правильным, необходимым, в нескольких районах Ленинградской области применяется бездумно. Судебных работников вызвали в Смольный. Докладчик приводил факты, цифры. Киров слушал, слушал и вдруг, побурев от гнева, вскочил:

— Вы так пол-России пересажаете, а толку что!

Взяв себя в руки, Сергей Миронович заговорил о том, что над матерыми расхитителями надо проводить показательные процессы и, широко, но без визга освещая их в печати, учить несознательных, предупреждать нестойких, запугивать падких на преступлений…

Были заседания и совещания, нет ли, Сергей Миронович работал в Смольном допоздна. Уезжал часов в десять-одиннадцать, порой за полночь. Дома продолжал трудиться,

просматривал почту, читал журналы и книги.

Жил Сергей Миронович на улице Красных Зорь — ныне это Кировский проспект — в большом доме, где больше ста квартир, заселенных рядовыми рабочими и служащими. Кабинет — просторная комната с книжными шкафами вдоль стен. На письменном столе, кроме фотоснимков, — слитки металла, разноцветные минералы. Эти подарки с новых заводов и рудников Киров бережно хранил.

Готовясь к докладам, занимался в столовой, за длинным обеденным столом, потому что на письменном столе не хватало места для бумаг и книг. Докладов никогда не писал, составляя лишь краткие тезисы-конспекты. Эти тезисы-конспекты набрасывал крупно, размашисто, чтобы на трибуне все отчетливо видеть без очков. Занимаясь в очках, Сергей Миронович на людях почему-то не любил их носить.

Перед большими выступлениями волновался, дома долго шагал по комнате, держа руки за спиной или в карманах. Попову как-то сказал, что, бывает, ночью проснешься, холодом обдает. На трибуну Киров поднимался совершенно спокойным, голос звучал с каждым словом все сильнее, взволнованнее, горячее.

Полагалось иметь личного секретаря, но Сергей Миронович от этого отказывался. Серго Орджоникидзе уговорил жену Кирова оставить службу и секретарствовать дома. В 1934 году Мария Львовна хворала: ее изводили головные боли, временами затруднялась речь, ослабевала память. Сергей Миронович уже и слышать не хотел о том, чтобы взять кого-либо в домашние секретари. Сам разбирал, сортировал всю объемистую почту.

Домашняя библиотека Кирова насчитывала двадцать тысяч томов. Книги стояли в шкафах и на полках по разделам: политическая, научно-техническая литература, русская классика, иностранная, произведения современных советских и зарубежных писателей. Где какая книга стоит, всегда помнил, долго не искал. Среди книг накопилось немало дублетов, и Сергей Миронович хотел отобрать их, чтобы передать какой-нибудь библиотеке. Но не успел. В 1935 году Мария Львовна передала все вторые экземпляры библиотеке Кировского завода, бывшего «Красного путиловца».

Сергей Миронович любил шахматы, но играл редко. Любил бильярд, но бильярда не имел. Занимаясь или отдыхая, слушал музыку в граммофонной записи и по радио. Старался не пропускать трансляции из театров. Если пьеса исполнялась посредственно, начинал своеобразно комментировать игру. По голосу того или иного актера угадывал, как он ходит, стоит, сидит, жестикулирует. И пояснял жене, в чем несуразность

мизансцен, истолкования роли. Выключал приемник: приятно только талантливое.

В столовой стоял аквариум с зеркальными карпами. Сергей Миронович бросал им поживу, приговаривая:

— Ну, конечно, вас тут не кормят, а вы сказать об этом не можете.

Жена усмехалась. Для нее аквариум был обузой.

Были у Кировых кот Барсик и собака Стрелка, мирно уживавшиеся друг с дружкой, пока Сергей Миронович отсутствует. Едва он переступит порог, собака с котом, словно взапуски, кидались навстречу. И разыгрывались забавные сценки. Приласкает Сергей Миронович кота, Барсик зажмурит зеленые глаза от удовольствия, а Стрелка поеживается, нервничает. Потреплет собаке ухо, Стрелка замрет от удовольствия, а Барсик мечет в нее зеленые молнии. Киров умывался, переодевался, садился за стол. Барсик и Стрелка ревниво поглядывали на него. Сергей Миронович, пряча улыбку, отворачивался. Кот с собакой успокаивались, засыпали. Из Стрелки вышла хорошая гончая, и Сергей Миронович радовался:

— Теперь я полный охотник.

Отдыхая, он чаще всего работал в комнатушке, где у него были верстак, слесарные и столярные инструменты. Сергей Миронович выглядел там как мастеровой прежних времен: на нем передник, рукава сорочки закатаны, в руках то напильник, то паяльник, то плоскогубцы. Киров что-то пилил, строгал. Чистил свои ружья, приводил в порядок охотничьи принадлежности, чинил домашнюю утварь.

Здоровье у Кирова было завидное. Однако в конце 1933 года произошло что-то неладное. Внезапно пульс упал до сорока четырех. Работоспособности никакой. Ехать в Кисловодск или лечь в больницу Сергей Миронович не захотел. Согласился отправиться с женой в загородный дом отдыха, пустовавший зимой. Там находился один только человек, профессор Виктор Александрович Вальдман, будто бы писавший научный труд. Оказалось, все было подстроено, чтобы профессор Вальдман мог лечить Сергея Мироновича. Пришлось подчиниться. Помимо всего прочего, профессор велел кататься на коньках. Сергей Миронович свободно ходил на лыжах, но коньков никогда не имел. Профессор предложил помочь или вызвать из Ленинграда физкультурника-инструктора. Сергей Миронович возразил: обойдемся как-нибудь. И в тот же день встал на коньки, держа в руках огромную дворницкую метлу. Катал Марию Львовну в высоких финских санках, толкая их впереди себя: тоже крепкая опора. Несмотря на суровые морозы, Сергей Миронович проводил

на катке ровно столько времени, сколько предписано. Профессор похвалил его за это. Киров проронил:

— Я бы еще больше катался, будь у меня шерстяные носки.

Профессор обомлел. Киров пожал плечами: шерстяных носков нет в продаже, по карточкам они тоже не выдаются.

После тридцати восьми дней отдыха Сергей Миронович вновь приступил к работе.

Детей у Кировых не было. А любил детей Сергей Миронович очень — шутя называл их пузырьками. Когда ввели карточную систему и ежемесячно судили-рядили, какие продукты выдавать населению, Киров первым долгом осведомился у снабженцев:

— Что выкроили для пузырьков?

Киров многое делал для школы, для детей. Готовясь летом 1934 года к выступлению на очередном пленуме горкома ВКП(б), Сергей Миронович собирал материалы о школе. В речи на пленуме он высмеял людей, по вине которых ребята в десять-двенадцать лет изучают и даже не изучают, а «прорабатывают» труды, доступные лишь взрослому. Киров беседовал с этими ребятами.

— Мы, говорят они, проработали Маркса, Энгельса до половины, проработали и перешли к Ленину, Это не что иное, как издевательство и над Марксом, и над Энгельсом, и над Лениным. Спросите у школьника, который «прорабатывает» Маркса, где находится Германия и какие речки в Европе, — и он не знает.

Доказательства плохого преподавания географии были налицо. Киров имел на руках запись ответов третьеклассников и четвероклассников, с детской настойчивостью утверждавших, что на земном шаре есть триста шестьдесят полюсов и триста шестьдесят экваторов, а Волга и Днепр протекают через пустыню.

Киров говорил и о воспитании школьников:

— Двенадцатилетние ребята разбираются в своих. поступках и могут за них отвечать. Нужно только к ним умело подойти. Нужно регулировать поведение учащихся и вне школы, потому что если ребенок вне школы проводит время на трамвайной кишке, то и в школе дисциплину установить трудно. Тут многое зависит и от родителей. Если мамаша занимается еще кое-как детьми, то папаша не знает даже порой, кто когда родился, кому сколько лет… Нужно взять ребят в руки, сделать так, чтобы класс был похож на класс.

Между прочим, трамвайная кишка — резиновый шланг, идущий от пневматического тормозного устройства, — приводила к несчастным случаям. Мальчишки, катаясь на коньках, цеплялись за нее и попадали под трамвай. По просьбе Кирова конструкцию тормозов изменили, и кишка исчезла.

Часто бывать среди детей Сергей Миронович не мог, но, встречаясь с ними, радовался не меньше, чем они. Много часов провел он на школьном празднике в Центральном парке культуры и отдыха. Шутил, смеялся, ходил в обнимку то с одним мальчуганом, то с другим. Фотографировался со школьниками, катался на лодке. По предложению Кирова в Ленинграде устроили олимпиаду юных дарований, в которой участвовало тридцать шесть тысяч детей. На итоговом концерте Сергей Миронович восторгался и победителями конкурса и всей детворой в переполненном зале Таврического дворца.

Впоследствии Позерн вспоминал, что после концерта Сергей Миронович говорил об олимпиаде как об искре, которая не должна угаснуть. И вскоре мысль Кирова претворилась в дело: при Ленинградской консерватории и Академии художеств открылись детские школы, был создан и Дом литературного воспитания школьников.

Самым близким товарищем-другом Сергея Мироновича был Серго Орджоникидзе. Дружба их длилась пятнадцать с лишним лет, до последнего дня жизни Кирова, и никогда не омрачалась какими-либо разногласиями, спорами. Серго говорил жене, Зинаиде Гавриловне, что, несмотря на свою вспыльчивость, ни разу не сказал громкого слова Кирычу. Дома у Сергея Мироновича письменный стол украшала фотография Серго с его автографом. Орджоникидзе в домашнем кабинете, рядом с письменным столом, над этажеркой с сочинениями Ленина, поместил большой портрет Кирова.

Когда Кирова перевели из Закавказья в Ленинград, а Орджоникидзе — в Москву, они, как и прежде, были тесно связаны по работе, довольно часто виделись, а по телефону им приходилось разговаривать чуть ли не ежедневно.

Приезжая в Москву, Киров жил у Серго. О предстоящем приезде предупреждал с вечера по телефону. По воспоминаниям Зинаиды Гавриловны, Серго наутро нетерпеливо ждал друга. Еще не одевшись, справлялся по телефону, послана ли машина. Иногда ездил и сам на вокзал. Если шел пленум или съезд, оба в перерывы обедали вместе. Когда же Сергей Миронович приезжал по другим делам, они виделись главным образом по вечерам. Поужинав, надолго устраивались в кабинете или столовой. Сидят, потом Серго приляжет, а Киров примостится в ногах. Часа в два или три ночи Зинаида Гавриловна, бывало, приоткроет дверь:

— Близнецы, вас и водой не разольешь. Пора спать.

— Ладно, сейчас, — отвечал Серго,

Киров добавлял:

— Не ворчи, не ворчи, Зина.

В начале двадцатых годов Киров и Серго обычно отдыхали вместе.

Потом Серго, болея, продолжал ездить на юг. Киров же проводил отпускное время, а иногда и предпраздничные, выходные дни на охоте.

Он удалялся в леса, в глухие прибрежья озер. Ночевал в крестьянских избах, в шалашах. Чтобы не оказывали знаков внимания, не говорил чужим, кто он: товарищи и знакомые охотники звали его дядей Васей или Василием Мироновичем. Стрелком был он средней или выше средней меткости. Стрелял с левой руки, так как левым глазом видел лучше, чем правым. Повадки зверей и дичи изучил отлично.

Сидор Михайлович Юдин, шофер Кирова, вспоминал, как они впервые поехали вдвоем на охоту. Осеннее утро. Шли болотом, увязая по колена. Сергей Миронович с рюкзаком за плечами шел по следам собаки. Юдин едва поспевал за ним. Щелкнул курок. Удача.

Позднее очутились на опушке леса. Только что перестал моросить дождик. Хорошо бы костер развести.

— Сейчас запылает, — уверенно сказал Юдин, не думая, что это вовсе не просто. Жег спичку за спичкой, а отсыревший хворост пошипит-пошипит — и потухнет. Озябли руки, от дыма слезились глаза. Оглянулся — Киров добродушно посмеивается. Сергей Миронович в сосняке набрал мелких сухих сучочков, положил под хворост. Костер запылал с одной спички.

Нередко спутником Кирова на отдыхе был охотник Иван Павлович Рется. Он, впервые увидев Сергея Мироновича, принял его за шофера: тот одет был просто, держался скромно. Рется вспоминал, что Киров как охотник был терпелив и неутомим, но больше всего удивляло чувство товарищества — все делал наравне с остальными, готовил на костре еду: то пельмени, то густую-густую уху, то шашлык.

Киров никогда не перебивал охотников, хвастовшихся своими былыми победами, выдуманными, конечно.

В последний раз Киров и Рется охотились 18 ноября 1934 года в окрестностях Дудергофа, близ Ленинграда.

11

25—28 ноября 1934 года в Москве проходил пленум ЦК ВКП(б). Пленум решил отменить карточки на хлеб и некоторые продовольственные продукты. Это было большое событие:

избавляя советских людей от ряда неудобств, отмена карточек служила верным доказательством временности всех трудностей, возникающих на пути к социализму.

29 ноября Сергей Миронович вернулся домой.

30 ноября он объезжал новостройки. Осмотрел виадук на улице Стачек, строительство которого заканчивалось, а также дома Каменноостровского жилищного массива. Побывал на Выборгской стороне, на Лесном проспекте. Дома готовился к докладу:

1 декабря, в шесть часов вечера, Киров должен был выступить с докладом на собрании партийного актива. Занимался до глубокой ночи, делая перерывы, — обедал, ужинал, слушал музыку по радио, перед сном читал XV том «Всемирной истории» Шлоссера.

1 декабря до середины дня продолжал набрасывать конспект доклада. Конспект заполнил шестьдесят шесть броско исписанных страниц блокнота. Оставалось немного свободного времени. Киров читал газеты, потом бальмонтовский перевод любимой поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Руставели в парижском издании. Последние строки, прочитанные Кировым, были:

Кто когда-то сложит где-то две-три строчки, песня спета.
Все же — пламенем поэта он еще не проблеснул.
Две-три песни, он слагатель, но когда такой даятель
Мнит, что вправду он создатель, он упрямый только мул.

И потом, кто знает пенье, кто поймет стихотворенье,
Но не ведает пронзенья сердце жгущих, острых слов,
Тот еще охотник малый, и в ловитвах не бывалый,
Он с стрелою запоздалой к крупной дичи не готов.

И еще. Забавных песен в пирный час напев чудесен.
Круг сомкнется, весел, тесен. Эти песни тешат нас,
Верно спетые при этом. Но лишь тот отмечен светом,
Назовется тот поэтом, долгий кто пропел рассказ…

Ровно в четыре часа Киров вышел из дому. Пешком прошел несколько кварталов. У Троицкого моста, как просил Киров, ожидала автомашина. Он поехал в Смольный, где секретари обкома и райкомов партии вместе с другими работниками совещались, как получше наладить свободную торговлю хлебом.

Около половины пятого вошел в здание Смольного.

Там Кирова сразила пуля убийцы.

Скончался Киров мгновенно — вероятно, без мучений.

С тех пор прошло три десятилетия и время определило свое суждение о Кирове. Во всем, чем мы гордимся в нашей советской жизни, есть доля энергии и одаренности, нравственной чистоты и сердечности Сергея Мироновича Кирова, выдающегося деятеля Коммунистической партии Советского Союза. Уже принадлежа истории, Киров был и остается с нами, как живой с живыми. Он долго будет и с теми, кто придет после нас.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. М. КИРОВА

1886, 27(15) марта — Сергей Миронович Киров-Костриков родился в городе Уржуме Вятской губернии, ныне Кировской области.

1895–1897 — Учился в церковноприходской школе.

1897–1901 — Учился в городском училище.

1901, август — Поступил в Казанское промышленное училище.

1903, лето — Поехал на каникулы в Уржум, познакомился там с политическими ссыльными, которые дали явку к казанским студентам-подпольщикам.

Осень — Вступил в Казани в подпольный юношеский кружок. Участвовал в студенческих волнениях, захлестнувших промышленное училище.

1904, май — Окончил Казанское промышленное училище, получив аттестат механика.

Август — Поехал из Уржума в Томск, где связался с нелегальной социал-демократической организацией.

Конец года — принят в члены партии.

1905, 18 января — Участвовал в уличной демонстрации под вооруженной охраной боевой дружины — был одним из организаторов демонстрации.

2 февраля — Арестован на нелегальной сходке. Первый арест.

6 апреля — Освобожден из тюрьмы, после чего заведовал подпольной типографией.

Июль — Избран членом Томского комитета РСДРП.

Осень — Был партийным организатором на станции Тайга. Был одним из организаторов октябрьской стачки железнодорожников, прошедшей очень успешно.

1906, 30 января — Вновь арестован. Второй арест.

6 апреля — Освобожден из тюрьмы — временно, до суда, под денежный залог, внесенный социал-демократической организацией через частное лицо.

Лето — Участвовал в создании нелегальной подземной типографии.

19 июля — Арестован в типографском доме, хотя типографию полиция не обнаружила. Третий арест.

1907, 14 февраля — После неудачной попытки жандармерии создать дело о нелегальной типографии осужден по своему

прежнему делу (арест 30 января) — приговорен к заключению в крепость на 1 год и 4 месяца.

1908,16 июня — Освобожден из тюрьмы после почти двухлетнего заключения.

Лето — Работал в Обской группе РСДРП в Новониколаевске, нынешнем Новосибирске.

Осень — Переведен в Иркутск, где восстанавливал партийную организацию, разгромленную в 1906–1907 годах.

1909, май — Покинул Сибирь во избежание нового ареста. Уехал во Владикавказ, нынешний город Орджоникидзе.

Лето — Поступил на работу в редакцию местной газеты «Терек».

1910 — Создавал нелегальные рабочие кружки, постепенно восстанавливая партийную организацию, разгромленную в 1906–1907 годах.

1911, 31 августа — Арестован по делу о томской нелегальной типографии. Четвертый, последний арест.

Октябрь — Отправлен по этапу в Томск, где посажен в тюрьму.

1912, 16 марта — Слушалось дело о томской подземной типографии — оправдан за отсутствием улик.

Апрель — Возвратился во Владикавказ.

26 апреля — Опубликовал статью, впервые подписанную псевдонимом — Киров.

Лето — Восстанавливал нелегальные связи. С тех пор нелегальная партийная деятельность продолжалась беспрерывно до Февральской революции.

3 ноября — В газете «Терек» опубликовал резкую антиреакционную статью «Простота нравов», за которую привлечен к судебной ответственности.

1917, март — Участвовал в создании легальной партийной организации, в создании Совета. Вел агитационную работу. Октябрь — Делегат II.Всероссийского съезда Советов, участвовал в Великой Октябрьской социалистической революции, в боях за пролетарскую власть, в разработке Декрета о земле, проект которого написал Владимир Ильич Ленин.

1918, 25 января — 1 февраля — Участвовал в работе съезда народов Терской области-. Добивался и добился предотвращения войны контрреволюционного казачества против ингушей и чеченцев..

29 февраля[3] *— 18 марта* — Участвовал в работе II съезда народов Терской области. Съезд провозгласил советскую власть на Тереке.

Май — август — Организовал в Москве военную экспедицию

для войск Терека.

Ноябрь — декабрь — Организовал в Москве вторую военную экспедицию — для войск Северного Кавказа.

1919, 25 февраля — Избран председателем временного Военно-революционного комитета Астраханского края.

26 апреля — Перейдя на военно-политическую работу, продолжал руководить обороной Астраханского края. Наименование должности неоднократно менялось, Основное — член Реввоенсовета XI армии.

1 декабря — Доложил Владимиру Ильичу Ленину о полном разгроме астраханского белоказачества. Оборона Астрахани завершилась.

1920, январь — Введен в состав вновь организованного Северокавказского ревкома.

17 марта — После 14-месячного безотлучного пребывания в Астраханском крае вылетел на Северный Кавказ.

8 апреля — Включен в Кавказское бюро ЦК РКП (б), созданное решением ЦК РКП (б) 8 апреля.

Конец мая — Назначен полномочным представителем РСФСР в меньшевистской Грузии.

20 июня — Прибыл в Тифлис как полпред РСФСР.

4—12 октября — Участвовал в советско-польской мирной конференции, проходившей в Риге 1—12 октября.

Ноябрь — Участвовал в работе съезда народов Терской области. Съезд учредил Горскую республику.

1921, февраль — Организовал героический переход советских войск через недоступный зимой перевал Мамисон, чтобы оказать помощь трудящимся Грузии, восставшим против меньшевистского владычества.

8—16 марта — Впервые участвовал в работе партийного съезда — X съезда РКП (б). Впервые избран кандидатом в члены ЦК РКП (б).

2 мая — Избран в члены президиума Кавказского бюро ЦК РКП (б), преобразованного затем в Закавказский крайком РКП (б).

Июль — Избран секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

1922, декабрь — Избран членом ЦИК СССР. Впоследствии постоянно переизбирался в члены ЦИК СССР.

1923, апрель — На XII съезде РКП (б) впервые избран членом ЦК партии. На следующих пяти партийных съездах переизбирался в члены ЦК.

1926, 13 февраля — Избран первым секретарем Ленинградского губкома ВКП(б), преобразованного затем в обком ВКП(б).

25 июля — Избран кандидатом в члены Политбюро ЦК

ВКП(б).

1930, 13 июля — Избран членом Политбюро ЦК ВКП(б).

1934, 10 февраля — Избран секретарем ЦК ВКП(б).

1 декабря — Кирова злодейски убили.

6 декабря — Похороны Кирова в Москве, на Красной площади. Урну с прахом замуровали в кремлевской стене.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Наиболее точное представление о Сергее Мироновиче Кирове дают документы, широко публикуемые в последние годы. Его жизнь и деятельность непосредственно и косвенно освещают, в частности, следующие издания:

Активные борцы за советскую власть в Азербайджане. Сборник биографических справок. Баку, 1957.

Борьба за власть Советов в Астраханском крае. Документы и материалы. Часть вторая. Астрахань, 1960.

Борьба за победу советской власти в Грузии. Документы и материалы. Тбилиси, 1958.

Борьба за советскую власть в Северной Осетии. Документы и материалы. Орджоникидзе, 1957.

Борьба за советскую власть в Чечено-Ингушетии. Документы и материалы. Грозный, 1958.

Борьба за установление советской власти в Дагестане. Сборник документов и материалов. Москва, 1958.

Возникновение и укрепление Кабардино-Балкарской областной партийной организации в 1917–1922 гг. Сборник документов и материалов. Нальчик, 1963.

За власть Советов в Кабарде и Балкарии. Документы и материалы. Нальчик, 1957.

Исторический архив. 1956, № 4. С. М. Киров на фронтах Гражданской войны. Документы.

Коммунисты Ленинграда в борьбе за выполнение решений партии по индустриализации страны. Документы и материалы. Ленинград, 1960.

Неделя. 1961, № 46. Письма С. М. Кирова-Кострикова.

Революционное движение в 1905–1907 гг. в Томской губернии. Сборник документов. Томск, 1955.

Славный путь борьбы и труда. Сборник материалов. Грозный, 1961.

Социалистическое соревнование на предприятиях Ленинграда в годы первой пятилетки. Сборник документов и материалов. Ленинград, 1961.

ОТ АВТОРА

Основными источниками материалов для книги послужили:

Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Партийный архив Института истории партии ЦК КП Азербайджана.

Партийный архив Татарского обкома КПСС.

Центральный государственный архив Советской Армии.

Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

Государственные архивы Северо-Осетинской АССР, Татарской АССР и Томской области.

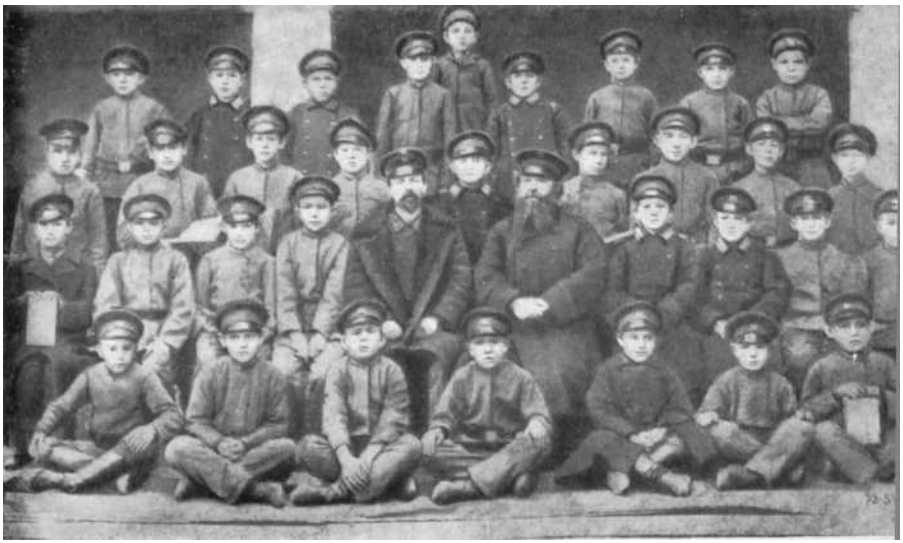
Фонды музеев Кирова в Ленинграде, Уржуме, Новосибирске, Северо-осетинского музея Кирова и Орджоникидзе, Томского краеведческого музея.

Воспоминания, собранные автором.

Фотоснимки — из Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, партийного архива Института истории партии ЦК КП Азербайджана, Ленинградского музея Кирова, Северо-Осетинского музея Кирова и Орджоникидзе, Центрального государственного архива кинофото-документов, Центрального музея Советской Армии.

Автор обращается к читателям с просьбой присылать замечания о книге, а также материалы о Кирове по адресу: Москва; К-9, почтовый ящик 369. Все ценное будет с признательностью учтено в дальнейшей работе над книгой.

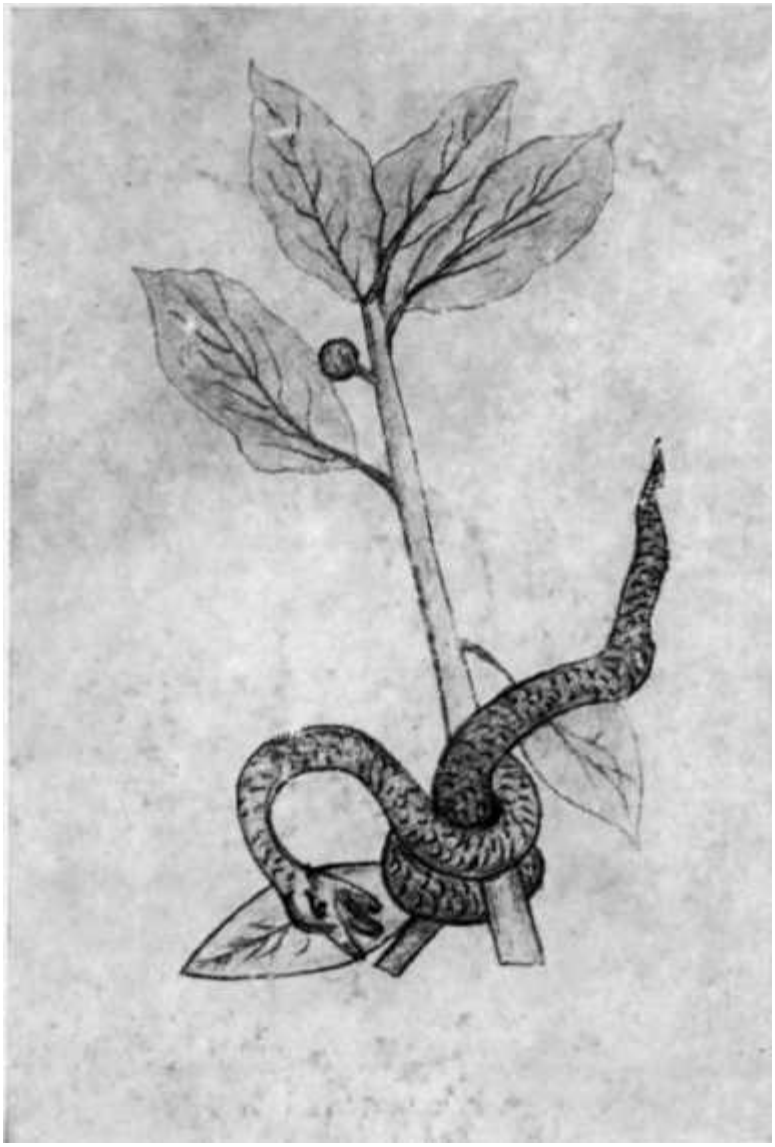
ИЛЛЮСТРАЦИИ



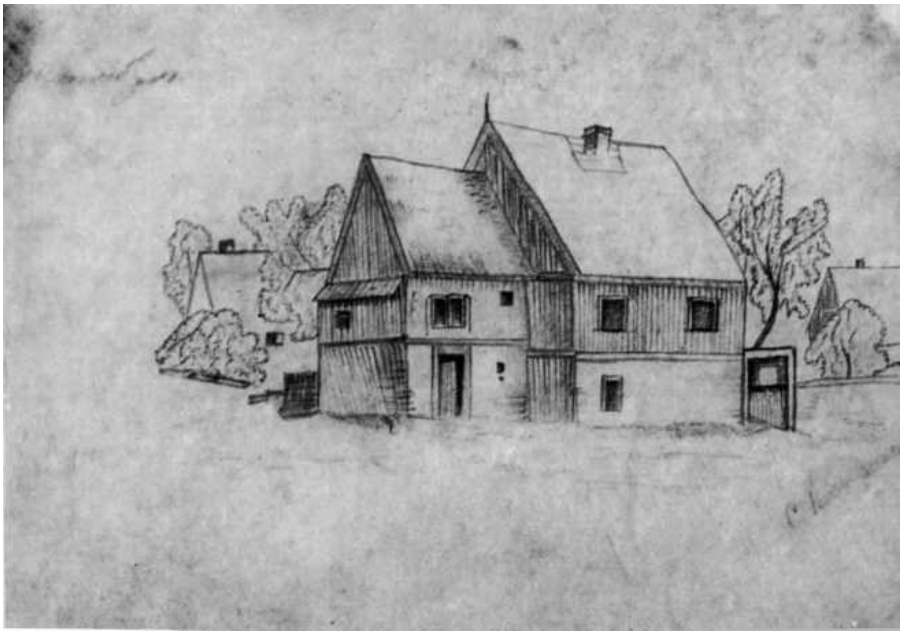
В школьные годы Сережа Костриков — в верхнем ряду, крайний справа. С фотоснимка, принадлежавшего Кирову.

Н. С. Морозов. Уржум, 1902.

Ю. К. Глушкова (слева) и А. К. Глушкова Уржум. 1898.



Детские рисунки Сережи Кострикова



Киров-Костриков и Александр Самариев (справа) Уржум, 1904

Среди политических ссыльных Киров-Костриков — во втором ряду, второй справа. Рядом, крайний — Александр Самариев Уржум. 1904

Рисунок Кирова-Костр[illegible]. Одиночная камера, в которой он отбывал тюремное заключение. Томск, 1906–1908.

9 де сентября 1906 г.

ТЮРЬМА

№ 2.

ВЫХОДИТ НЕПЕРИОДИЧЕСКИ

Редакція для личныхъ открытій ежедневно послѣ первой прогулки до начала второй. Рукописи принимаются во всякое время. Присылаемыя въ редакцію рукописи должны быть четко написаны. Принятые рукописи по усмотрѣнію редакціи могутъ быть сокращены и исправлены. О непринятыхъ рукописяхъ редакція не сообщаетъ. Обратно непринятыя рукописи не возвращаются.

От редакціи.

Настоящій номеръ выпускаемъ съ большимъ запоздалымъ. Благодаря осо-конспиративнымъ, а главнымъ образомъ техническимъ причинамъ. Тѣ обстоятельства, которыя существуютъ тюрьмѣ, на волѣ неизвѣстны, но съ ними приходится очень и очень считаться. Надѣемся, что слѣдующій номеръ выйдетъ въ непродолжительномъ времени.

„Что же дальше?"

Теперь когда вновь Россія объ[ятая] пламенемъ [революціи], мы спрашиваемъ, что намъ дѣлать дальше? Пролетаріатъ добывалъ свободу, за которую онъ такъ долго и такъ храбро проливалъ свою драгоцѣнную кровь. Октябрь, Ноябрь и Декабрь передовой отрядъ революціи, пролетаріатъ стоялъ во главѣ движенія и его лозунгамъ и дѣламъ прислушивались. Россія тогда лишь слѣпая страна, тысячи [лѣтъ] подъ гнетомъ [нищеты] и [невѣ]жества начинала выходить на путь къ свободѣ.

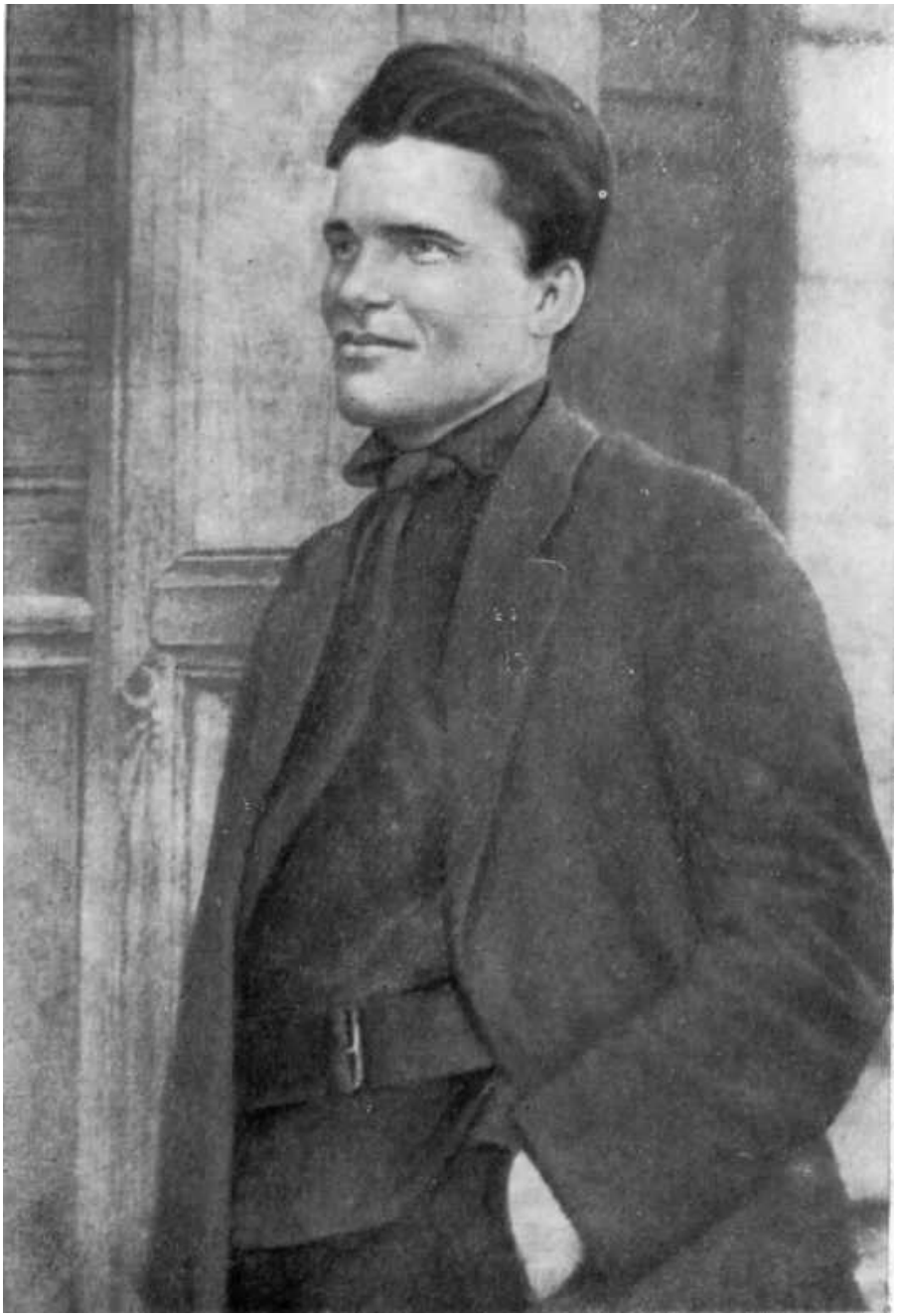
Классовые интересы между группами слабо развивались, а городское населеніе первой давало отрядъ контръ-революціонеровъ, хотя, какъ и въ странѣ, интересы даже такъ называемаго [нашего] [прави]тельства стоятъ въ противорѣчіи со [всѣми] [слоями], какъ с политической стороны, такъ и со стороны эконо-

Заглавный лист второго номера журнала «Тюрьма». Журнал нелегально издавался при участии Кирова-Кострикова. Томск, 1906. Уменьшено.

Политические заключенные, исполнители основных ролей в пьесе «Виноватая» А. А. Потехина, поставленной в тюрьме при участии Кирова-Кострикова. Томск, 1907.

Сцена из пьесы «На дне» А, М. Горького, поставленной в тюрьме при участии Кирова-Кострикова. Томск. 1908.

М. Л. Маркус-Кирова. Владикавказ



Киров Костриков. Владикавказ. 1910

Киров Костриков (слева) и П. Г. Лучков в горах. 1911

И. Я. Турыгин. Владикавказ, 20-е годы

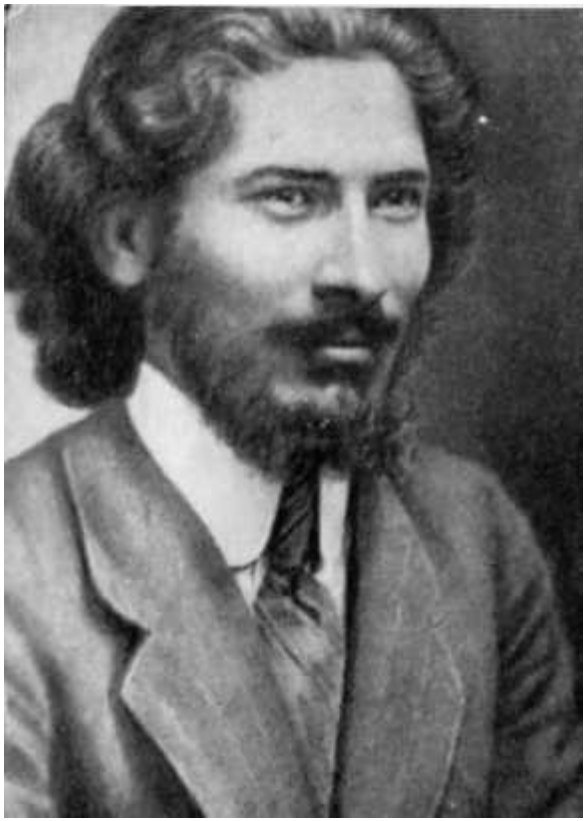
Ф. И. Серобабов. Владикавказ. 10-е годы.

Б. Э. Калмыков. Нальчик, 30-е годы

Г. Г. Буачидзе.

С. Г. Мамсуров Владикавказ. 20-е годы

Г. А. Цаголов. Москва. 1916.



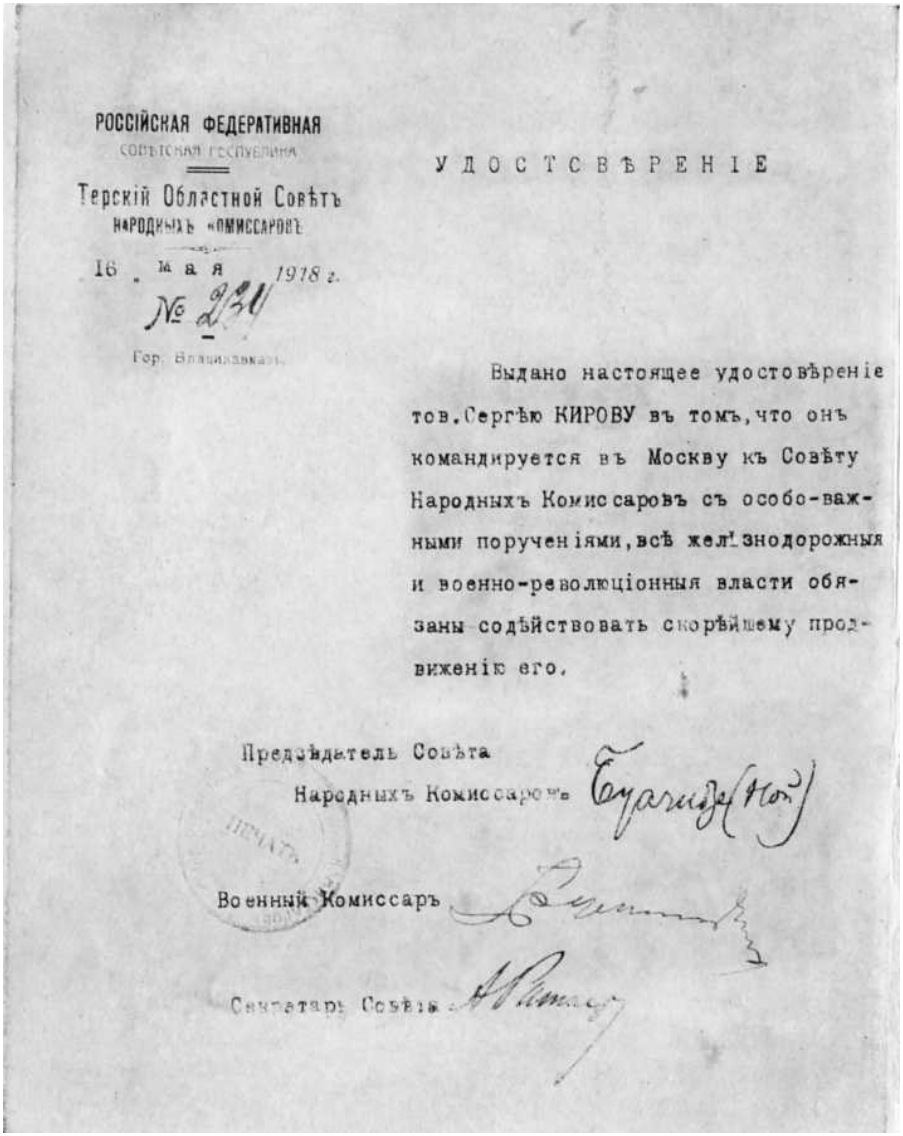
Н. У. Кесаев

А. Б. Гостиев

Г. С. Ахриев. Владикавказ, 1917.

Л. Д. Гибизов.

А. Д. Шерипов Терек. 1918



РОССІЙСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОВѢТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Терскій Областной Совѣтъ
НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ

16 мая 1918 г.
№ 230

Гор. Владикавказъ.

УДОСТОВѢРЕНІЕ

Выдано настоящее удостовѣреніе тов. Сергѣю КИРОВУ въ томъ, что онъ командируется въ Москву къ Совѣту Народныхъ Комиссаровъ съ особо-важными порученіями, всѣ желѣзнодорожныя и военно-революціонныя власти обязаны содѣйствовать скорѣйшему продвиженію его.

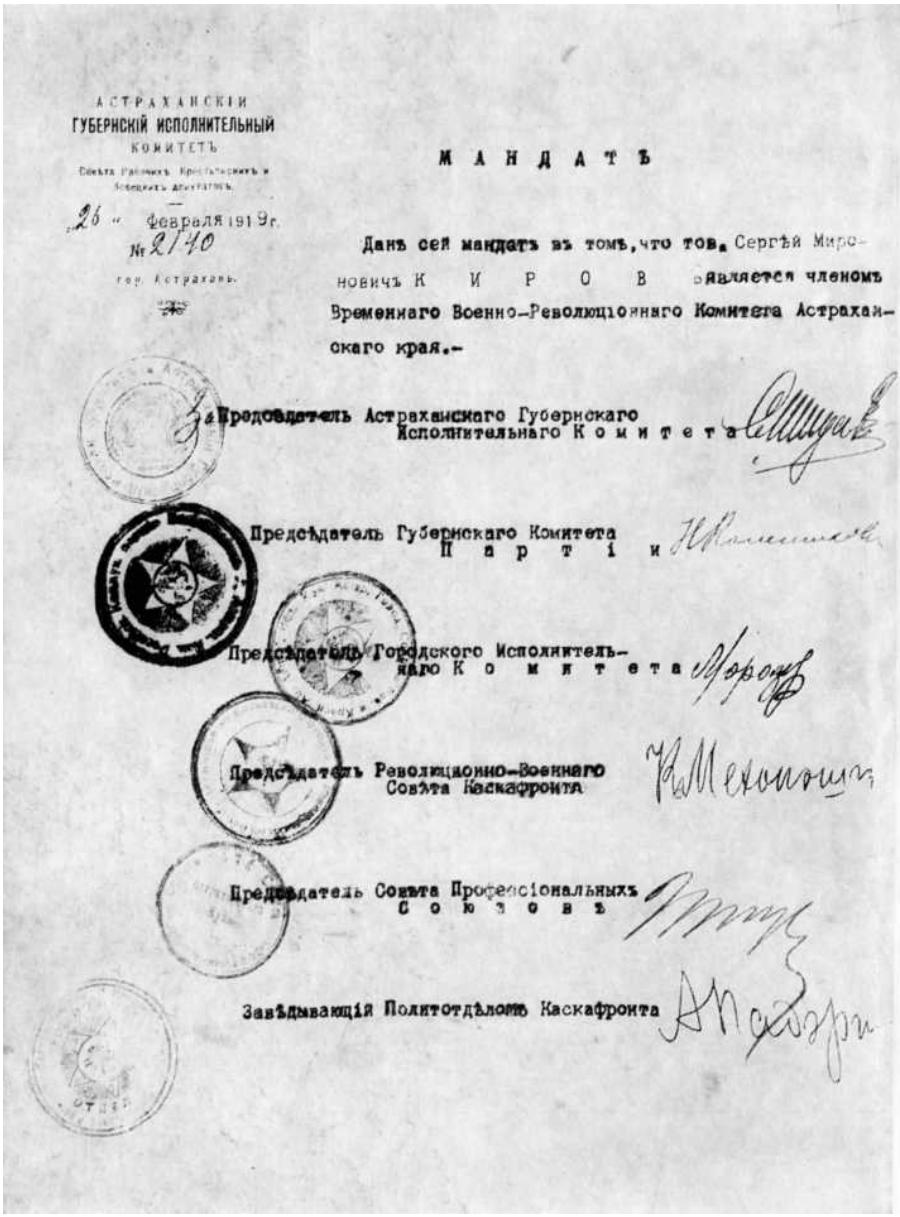
Предсѣдатель Совѣта
Народныхъ Комиссаровъ Буачидзе (Моя)

Военный Комиссаръ

Секретарь Совѣта

Удостоверение Кирова за подписью председателя Совнаркома Терской республики Буачидзе. Владикавказ. 1918.

Киров. Астрахань, 1919. Кинокадр.



АСТРАХАНСКІЙ
ГУБЕРНСКІЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТЪ
Совѣта Рабочихъ Крестьянскихъ и
Красноармейскихъ Депутатовъ.

„26" февраля 1919г.
№2740
гор. Астрахань.

МАНДАТЪ

Данъ сей мандатъ въ томъ, что тов. Сергѣй Миронович К И Р О В является членомъ Временнаго Военно-Революціоннаго Комитета Астраханскаго края.-

Председатель Астраханскаго Губернскаго Исполнительнаго К о м и т е т а

Председатель Губернскаго Комитета П а р т і и

Председатель Городского Исполнительнаго К о м и т е т а

Председатель Революціонно-Военнаго Совѣта Каскафронта

Председатель Совѣта Профессіональныхъ С о ю з о в ъ

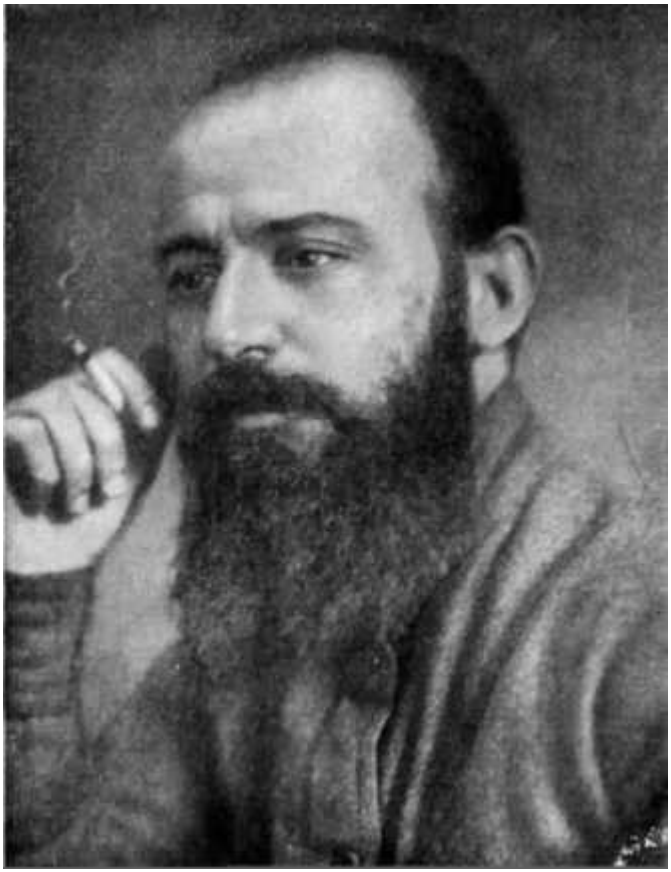
Завѣдывающій Политотдѣломъ Каскафронта

Мандат Кирова, члена Временного военно-революционного комитета Астраханского края. 1919.

У. Д. Буйнакский. 1910.

Д. В. Щекин. Астрахань. 1919.

Г. А. Атарбеков. Тифлис. 1922.



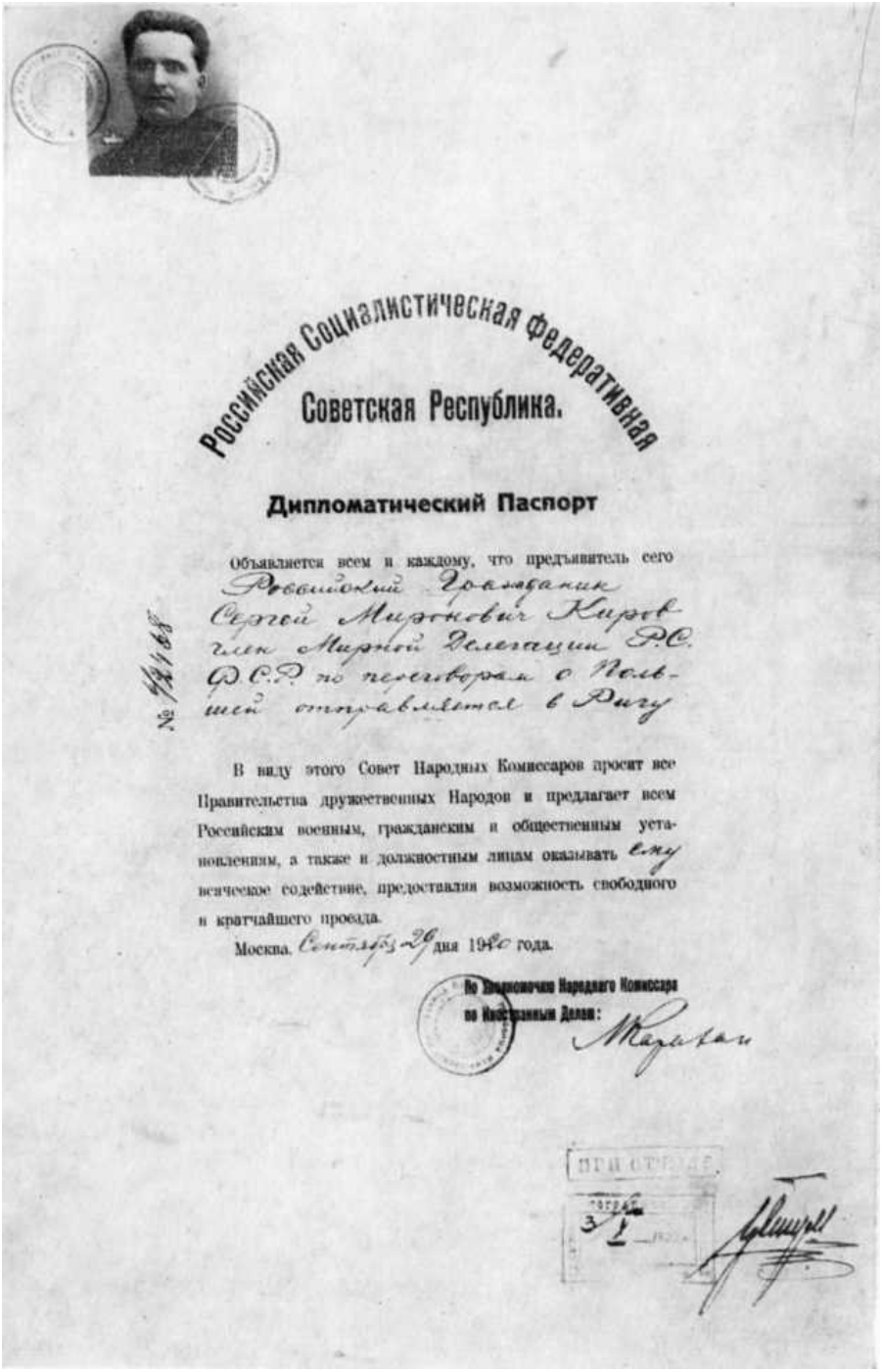
О. М. Лещинский. Париж, 1915.

Киров и Ф. Ф. Раскольников (слева). 1921.

Е. И. Ковтюх. 20-е годы.

Н. А. Нестеровский. 30-е годы.

Среди руководителей и штабных работников XI армии. Первый ряд (слева направо): В М. Квиркелия, М. И. Василенко, Киров, К. А. Механошин, А. К. Ремезов. Астрахань. 1920. С фотоснимка, принадлежавшего, как полагают, Василенко.



Российская Социалистическая Федеративная

Советская Республика.

Дипломатический Паспорт

Объявляется всем и каждому, что предъявитель сего Российский Гражданин Сергей Миронович Киров член Мирной Делегации Р.С.Ф.С.Р. по переговорам с Польшей отправляется в Ригу

№ 22168

В виду этого Совет Народных Комиссаров просит все Правительства дружественных Народов и предлагает всем Российским военным, гражданским и общественным установлениям, а также и должностным лицам оказывать ему всяческое содействие, предоставляя возможность свободного и кратчайшего проезда.

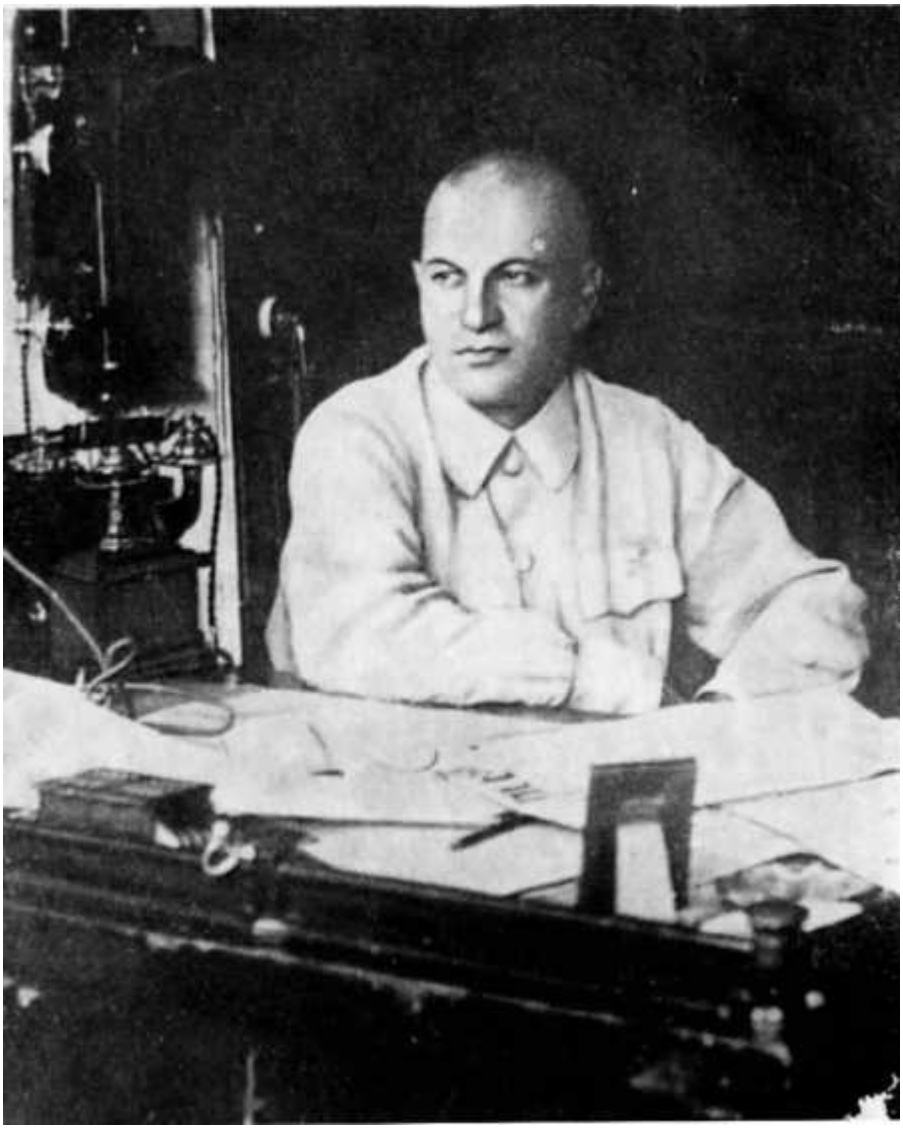
Москва, Сентября 29 дня 1920 года.

По уполномочию Народного Комиссара по Иностранным Делам:

Дипломатический паспорт Кирова, члена советской делегации по переговорам с панской Польшей о заключении мира. 1920.

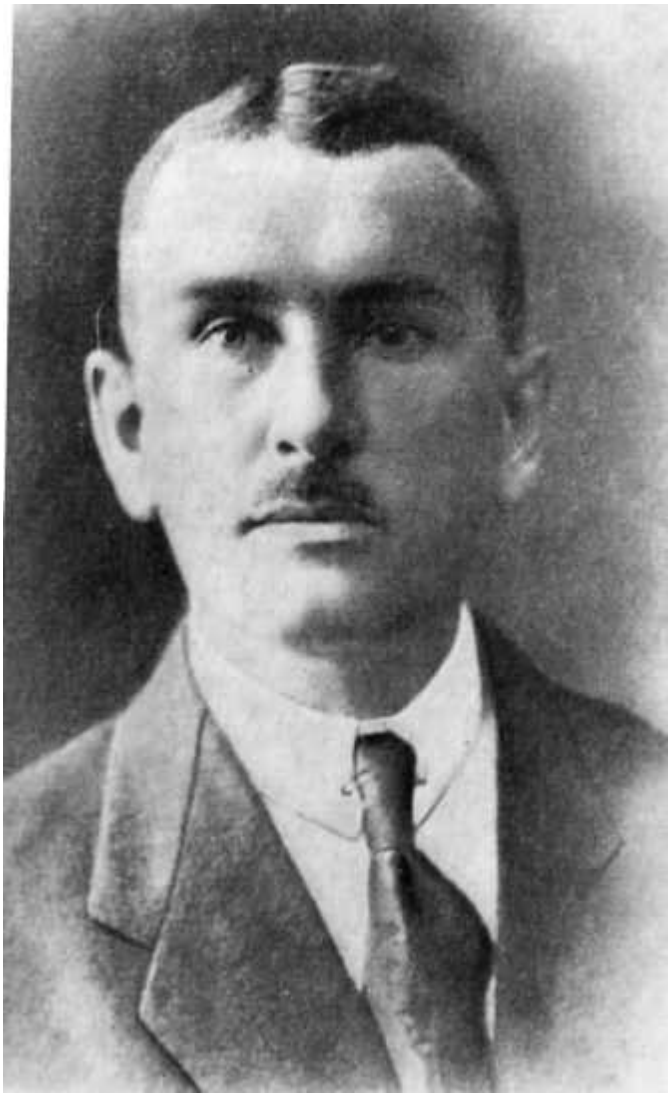
Киров и Г. К. Орджоникидзе (справа) Тифлис, 20-е годы

Г. М. Мусабеков. Баку, 30-е годы.



А. Ф. Мясников. Тифлис, 1924.

Киров на трибуне. Баку, 20-е годы. Кинокадр.



Ч. И. Ильдрым Баку, 20-е годы

Г. Г. Султанов. Баку, 20-е годы

Л. И. Мирзоян. Баку. 1920

А. П. Серебровский. Баку. 20-е годы

Среди секретарей сельских партъячеек. В центре (слева направо): Р. А. Ахундов, Киров, С. М. Эфендиев. Баку, 20-е годы.

Первый Закавказский С'езд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и матросских депутатов уполномачивает тов. Кирова Сергея на заключение договора с РСФСР. УССР и Белорусской Соц. Сов. Республикой о создании „Союза Социалистических Советских Республик" на основаниях, принятых 1-м С'ездом Советов Закавказья.

Президиум 1-го Закавказского С'езда Советов

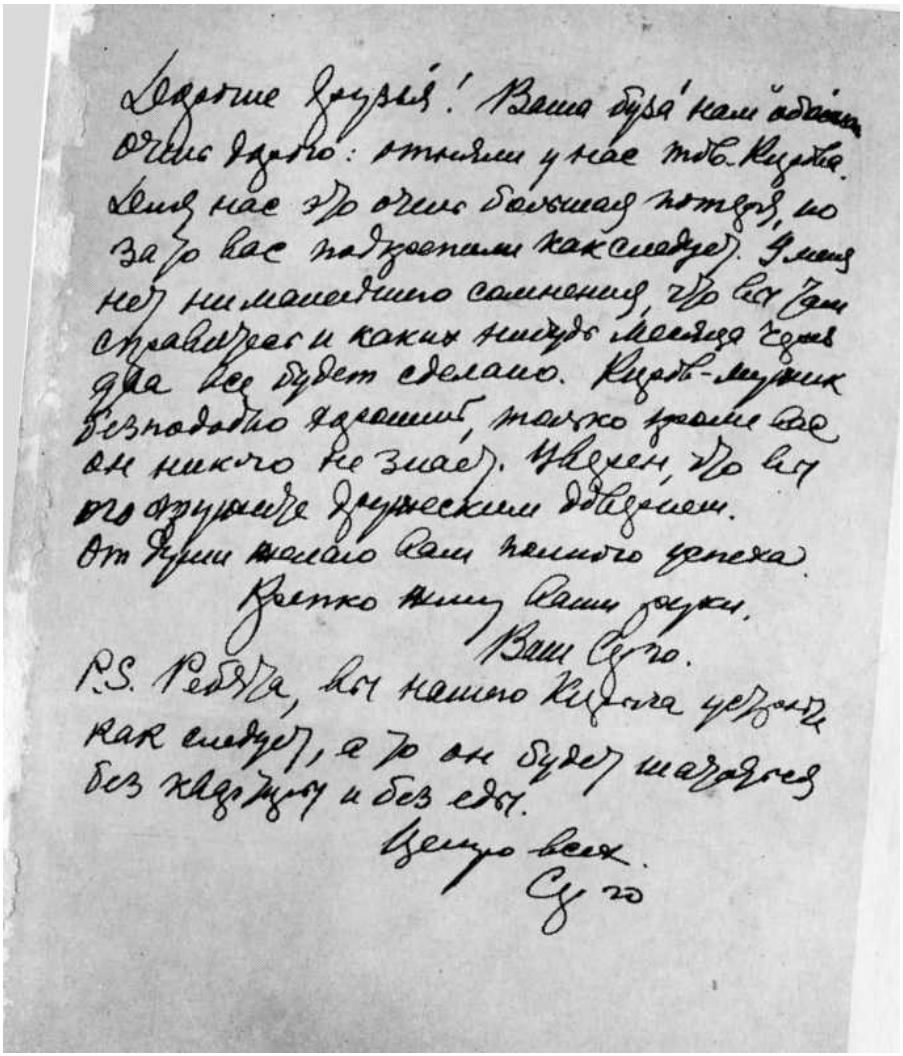
13. декабря 1922 г. гор. Баку

Азербайджанский Центральный Исполнительный Комитет

Мандат Кирова, члена делегации трудящихся Закавказья по заключению договора с РСФСР. УССР и БССР о создании Союза

ССР. От имени президиума Закавказского съезда Советов все такие мандаты подписывали Мясников и Киров, а также секретарь съезда П. И. Чагин. На мандате, выданном Кирову, он свою подпись зачеркнул. Баку. 1922.

М. В. Фрунзе. Баку. 1925.



Записка Серго Орджоникидзе, посланная им в Ленинград. Москва, 1926. Автограф.

Киров и Ф. Э. Дзержинский (слева). Ленинград, 1926.

Киров. Ленинград, 1926.

300-15с
153-28.

Уфа

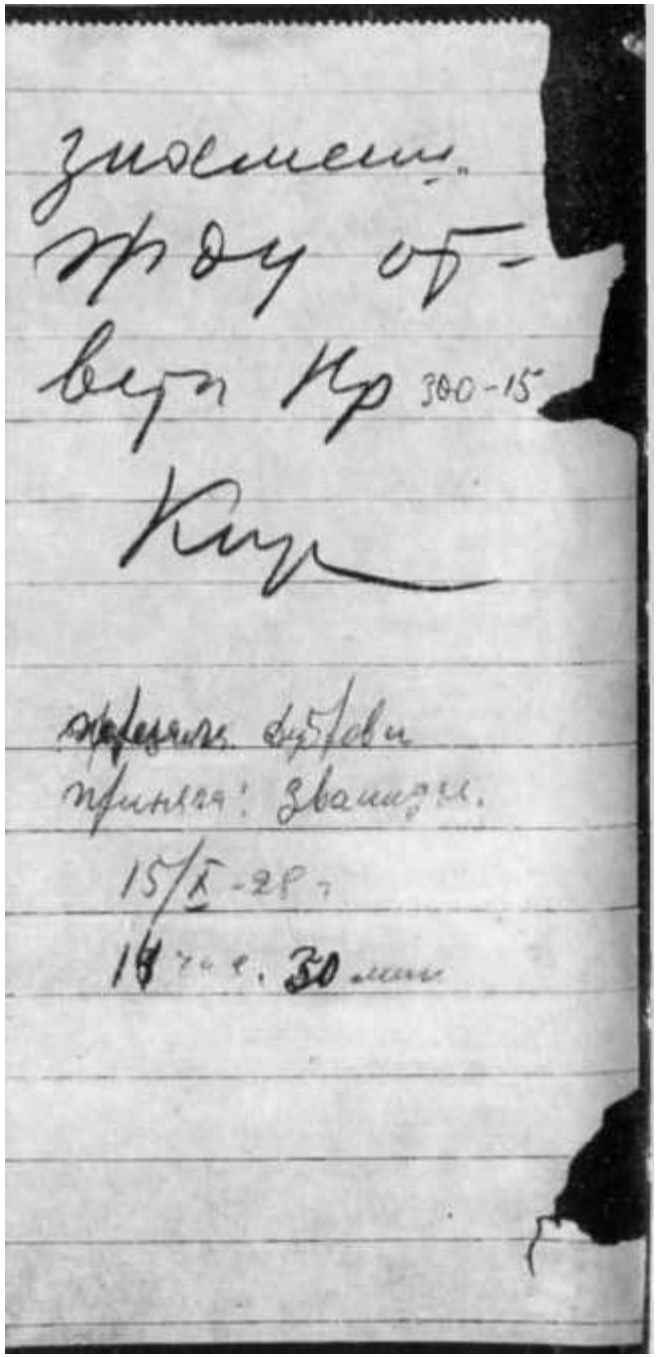
ЦИК СССР.

02

50 Енукидзе

Прошу

Разрешить
вопрос на-
награждения
Грамотою
Президиума
Трудового

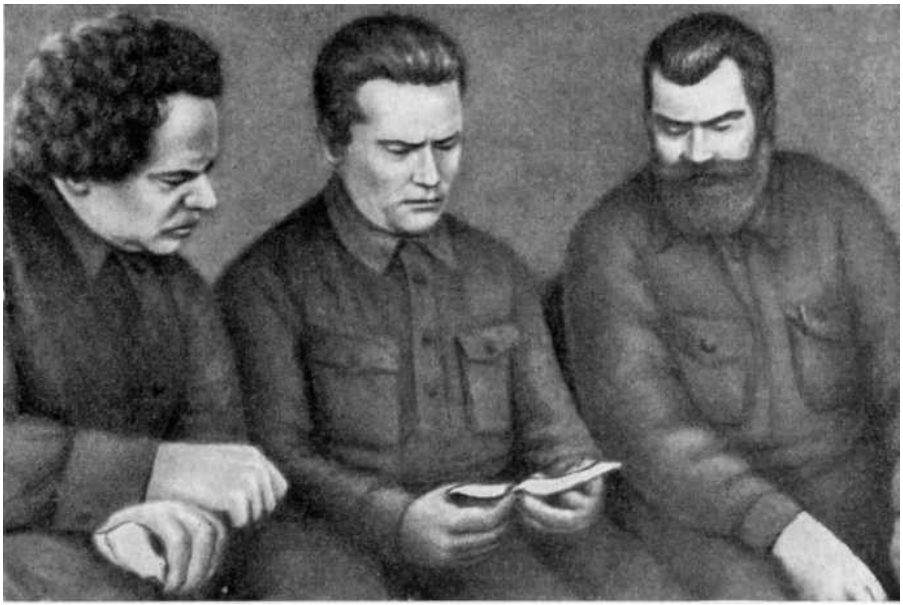


Телеграмма Кирова секретарю ЦИК СССР А. С. Енукидзе с просьбой ускорить награждение орденом ученого-гидростроителя Г. О. Графтио. Ленинград, 1928. Автограф.

Киров и А. М. Горький на Балтийском заводе. Ленинград, 1929.

Киров на Севере. Близ Мурманска. 1929.

Киров. Ленинград, 1929

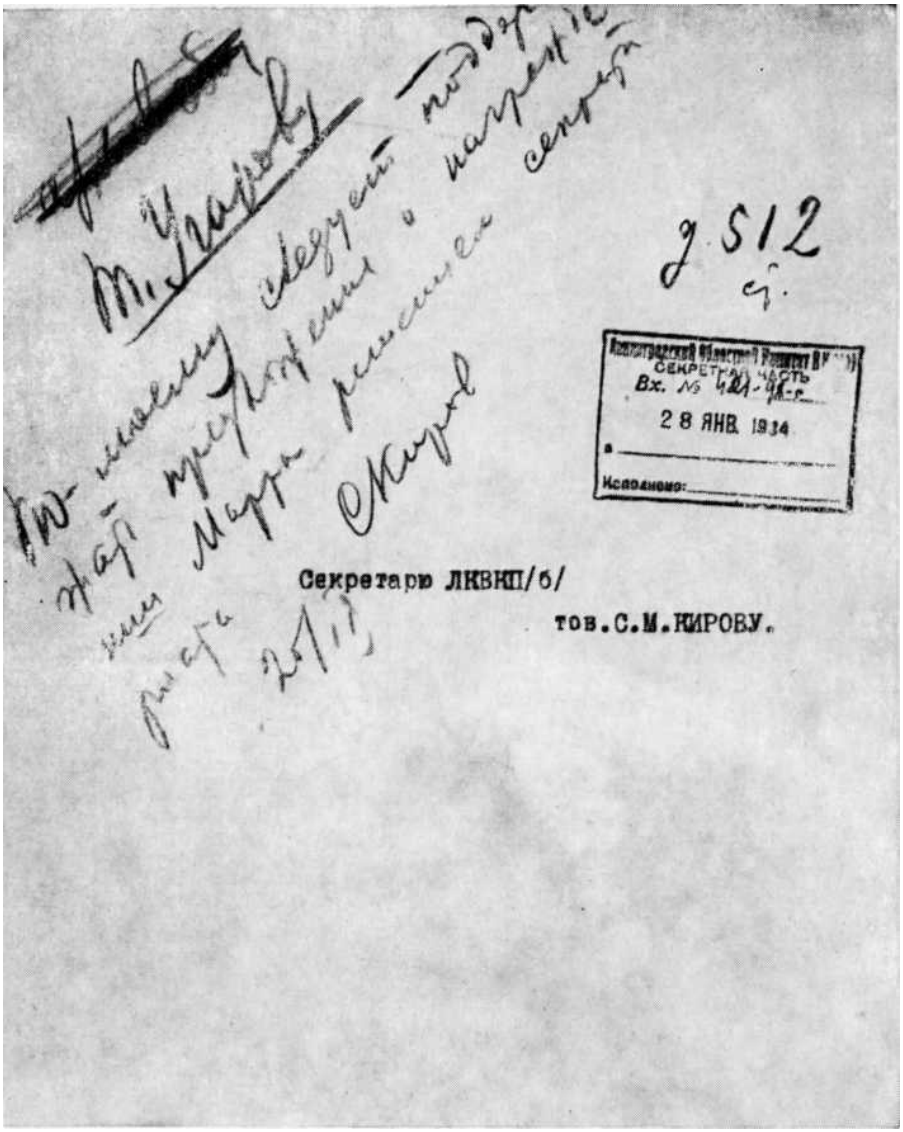


М. С. Чудов (слева), Киров и П. И. Струппе. Ленинград, 1933.

Рабочие слушают Кирова, выступающего в одном из цехов «Красного путиловца». Ленинград, 1933.

Киров среди комсомольцев на сланцевых рудниках. Близ Гдова, 1934

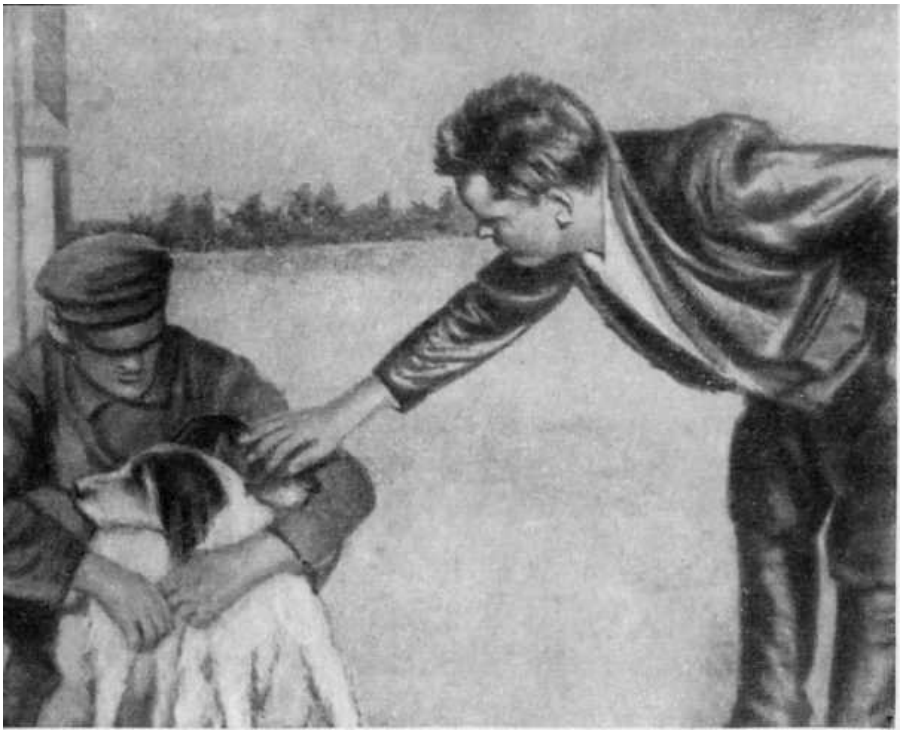
Киров на школьном празднике в парке культуры и отдыха. Ленинград, 1934



Надпись Кирова на ходатайстве ученых о награждении орденом академика Н. Я. Марра. Ленинград, 1934. Автограф.

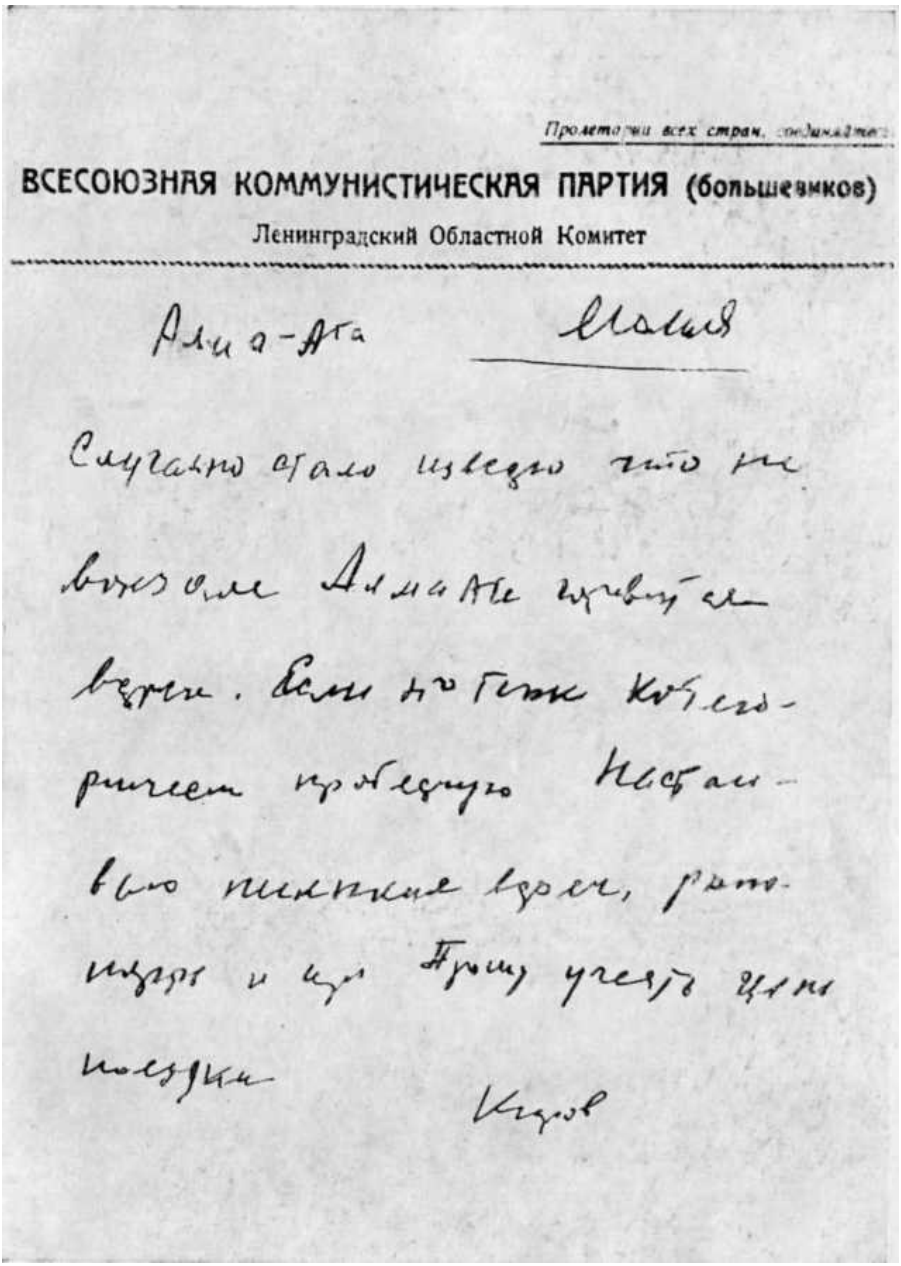
И. И. Газа. Ленинград. 1932.

И. Ф. Кодацкий. Ленинград, 1934.



На отдыхе. Киров и И. П. Рется (слева). Дудергоф, близ Ленинграда, 1934.

На отдыхе. Киров и И. П. Рется (слева). Дудергоф, близ Ленинграда, 1934.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков)

Ленинградский Областной Комитет

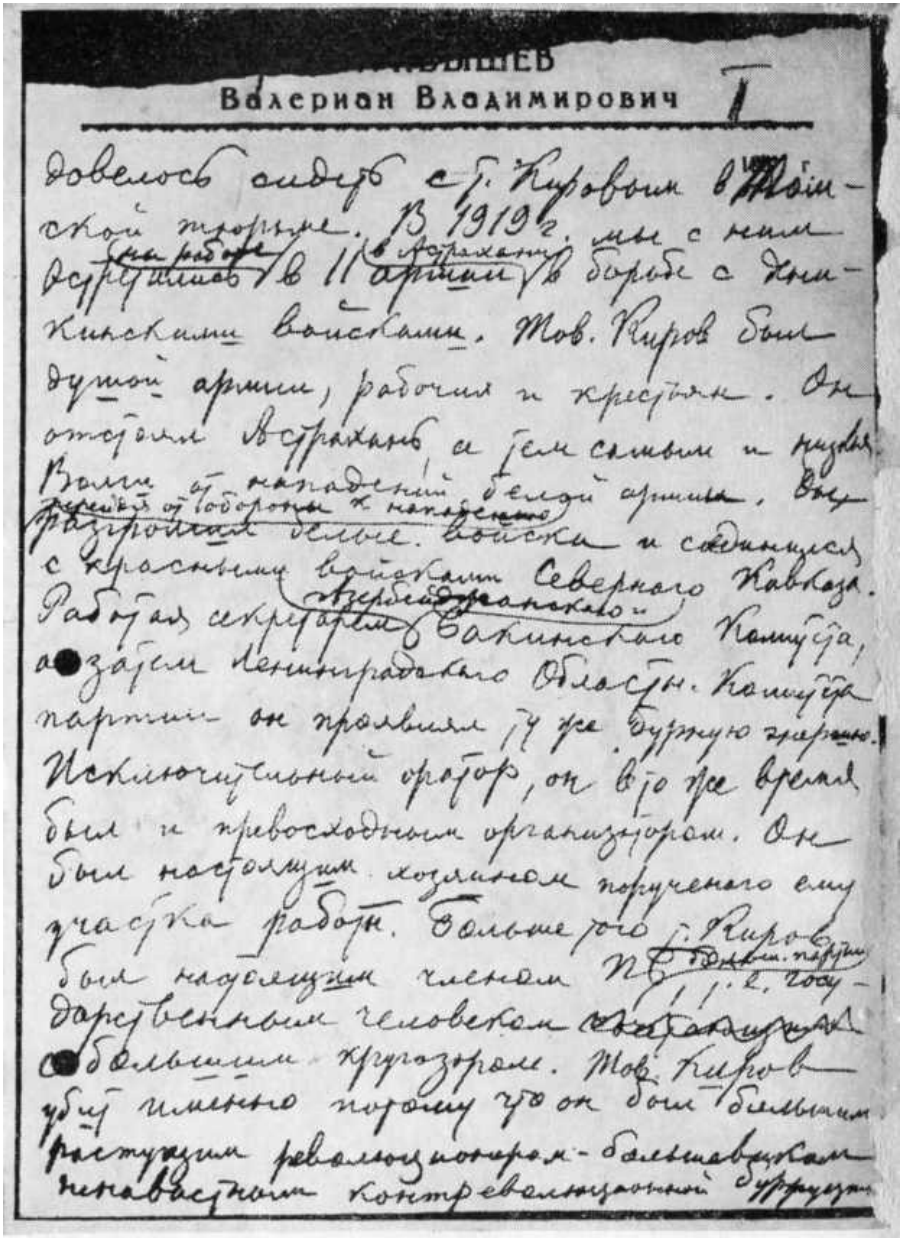
Алма-Ата Молния

Случайно стало известно что на вокзале Алма-Ате готовится встреча. Если это так категорически протестую Настаиваю чтобы никаких встреч, рапортов и пр. Прошу учесть при поездке

Киров

Осенью 1934 года ЦК ВКП(б) направил Кирова в Казахстан, где срывались хлебозаготовки С пути Сергей Миронович послал в Алма-Ату местным руководителям телеграмму-молнию: «Случайно стало известно, что на вокзале Алма-Ате готовится встреча. Если это так, категорически протестую. Настаиваю

никаких встреч, рапортов и проч. Прошу учесть цель поездки». Автограф.


КУЙБЫШЕВ
Валериан Владимирович

довелось видеть с т. Кировым в Тюмени в 1919 г. Мы с ним работали в Наркомпроде, а потом в 11 армии в борьбе с Колчаковскими войсками. Тов. Киров был душой армии, рабочих и крестьян. Он отстоял Астрахань и тем самым и низовья Волги от нападения белой армии, был руководителем обороны и нападения Красной армии. Войска и сам вместе с красными войсками Северного Кавказа. Работая секретарем Азербайджанского ЦК, Бакинского Комитета, а затем Ленинградского Обкома и Горкома партии он проявил себя крупным партийным организатором. Исключительный оратор, он в то же время был и превосходным организатором. Он был настоящим хозяином порученного ему участка работы. Больше того т. Киров был настоящим членом Политбюро ЦК ВКП(б) партии, подлинно партийным человеком, большевиком, большим кругозором. Тов. Киров убит именно потому что он был большим пролетарским революционером-большевиком непримиримым контрреволюционной буржуазии.

Вторая страница статьи В. В. Куйбышева памяти Кирова. Ташкент, 2 декабря 1934 года. Автограф.

notes

1

Здесь и далее все даты по новому стилю.

2

Центрально-черноземная область.

3

Здесь и далее все даты по новому стилю.